

Агагельды
Алланазаров

ПОКЛАЖА
ДЛЯ ИНЕРА

12+

Агагельды Алланазаров

Поклажа для Инера

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=44309516

SelfPub; 2019

Аннотация

В этот том избранных произведений известного туркменского писателя Агагельды Алланазарова вошли почти все прозаические произведения, переведенные на русский язык. Большинство из них переводились и на другие языки мира. По его произведениям сняты полнометражные художественные фильмы «Прощай, мой парфянин», «Дестан». Том получил название по одноименной повести, вошедшей в него. Все произведения отличаются яркостью, самобытностью, увлекательным сюжетом.

Содержание

ПОКЛАЖА ДЛЯ ИНЕРА	6
I	6
III	21
VII	47
VIII	52
IX	56
СЕМЬ ЗЕРЕН	62
Первое увольнение	62
Голос неумолчный	74
Тринадцатый	76
Теплый день	79
Ночь в поле	83
Два письма	88
Самая короткая ночь	91
ДЕСТАН МОЕЙ ЮНОСТИ	94
БЕЛЫЙ КОНЬ	193
II	204
III	213
НЕ ЗАБУДЬ О ДЯДЕ	250
НОВЕЛЛЫ	351
ПЕГАЯ	369
III	374
ДЕРЕВНЯ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА	386

II	390
БЕЛЫЙ ПАРУС	401
ЗАКОН ПУСТЫНИ	425
МАЙОР, ПОХОЖИЙ НА МЕНЯ	449
БАЛЛАДА ПУСТЫНИ	469
I	469
ЧЕЛОВЕК, УШЕДШИЙ НА ВОЙНУ	479
ИНАЯ ЖИЗНЬ	483
МГНОВЕНИЕ	489
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ	512
РАСПЛАТА	517
СЧАСТЬЕ ЕВЫ	522

Для подготовки обложки издания использована художественная работа автора.

ПОКЛАЖА ДЛЯ ИНЕРА

I

Тот взгляд брата я долго не мог забыть. Я и теперь его помню... Раньше Нурли никогда так на меня не смотрел...

Был один из декабрьских дней войны. К тому времени семья наша уже крепко хлебнула из полной чаши военных бед. Война была далеко, а беда близко. Мой старший брат ушел в ее первые дни. Скоро от него пришло три письма, а потом Агамурад замолк. На второго моего брата, Довлета, мы получили похоронку в прошлом году... еще мама была жива...

Только отец продолжал писать – хоть как-то поддерживать нас... Он служил в строительном батальоне.

Нурли четвертым уходил на фронт из нашей семьи. Он был старшим в доме после того, как ушли отец, Агамурат и Довлет.

Обе невестки относились к нему с большим уважением.

Сейчас-то мне ясно, что за таким отношением к Нурли стояло прежде всего уважение обеих гелнедже к своему очагу. Это чувство трудно объяснить. Однако оно должно жить в каждом достойном мужчине и в каждой достойной женщине. Так мы считаем!

Нурли ведь был еще совсем молод и гелнедже ничего не

стоило бы взять да и вовсе его не слушать, не уважать. Жить себе как захочется...

Что бы он им смог сделать?.. Однако ничего подобного ни старшая, ни младшая гелнедже себе не позволяли!

Но и Нурли, конечно, старался! Звание хозяина Нурли оправдывал. Как и отец когда-то, он позже всех ложился и раньше всех вставал... Мы все, конечно, видели, как он старался изо всех сил, чтобы семья не голодала.

Иногда он брал меня на реку – показать свои особые тайные места, где рыба лучше клюет... Когда-то рыбная ловля была для нас скорее забавой. Теперь она сделалась источником пропитания.

Когда удавалось поймать рыбку покрупней – вот это был праздник! Теперь я уж и не знаю как, но обычно как-то удавалось раздобыть немного масла. И тогда все торжественно ели жареную рыбу!

Но чаще мы с Нурли могли наловить мелочь – с детскую ладошку величиной, а то и еще меньше. Тогда гелнедже запекала рыбу на углях, сначала обмазав каждую глиной...

Но все это осталось в прошлом. Сегодня Нурли уходил на фронт. Ему не хотелось лишних слез и причитаний. Он попрощался с нашими женщинами, с племянниками, с дядюшкой Донли ага, со всеми соседями. И все. И мы ушли. Я провожал Нурли далеко за село.

В тот раз, может быть, впервые он назвал моё настоящее имя.

Прежде, в более веселые времена, у меня были прозвища. То – словно был я старший в семье брат – величают Язлы ака. То вдруг крикнут:

– Эй! Мятое ведро! – тоже про меня...

Они все любили меня поддразнивать. Но, с другой стороны, вроде как-то неудобно – все-таки люди взрослые... И каждый тут оправдывался, как умел. Мама, например, всегда говорила, что человек, который имеет всякие клички, может не бояться дурного глаза. И потом давала мне прозвища без всяких сомнений. Только “Мятое ведро» казалось маме длинным. И она звала меня просто Емшик – Мятый.

Во всем доме лишь два человека называли меня по-человечески, без всяких этих шуточек. То были мой отец и старшая гелнедже. Но когда я пробовал жаловаться, отец спокойно отвечал:

– У хорошего парня должно быть несколько прозвищ и несколько имен. Это не нами придумано, не нам и отменять. Знаешь, такая есть страна, далеко отсюда, там живут французы. Так те вообще имеют по пять, а то и по шесть имен!

Между прочим, все мои прозвища появились не просто так. Каждое имело свою “историю». Например, Мятым я стал оттого, что имел проплюснутый нос.

А прозвище Язлы ака получил в три или четыре года, когда очень сердился и сильно плакал, что к моему имени не прибавляют этой “уважительной» частицы. Ну а братья и рады стараться!

В те далекие годы мне это сильно нравилось. Говорят, я даже привставал на цыпочки, чтобы стать настоящим «акой...»

Сделавшись постарше, я счастлив был бы расстаться с проклятушей «приставкой». Стыд и слезы не раз душили меня. Но братья клялись, что очень привыкли так меня называть. Говорили: «Ты сам виноват. Попробовали бы мы не называть тебя Язлы ака, да потом бы реву на целый день!».

Тут надо, конечно, признать и признаться: я стремился стать взрослым... с самого раннего детства. Я и теперь испытывал тайно неудержимое желание как можно скорее повзрослеть. Старался перенять у старших их неторопливую «весомую» походку. И сидеть старался... как-нибудь так, «повзрослее», голову наклонить эдак глубокомысленно... Я хотел походить на отца и братьев – потому что очень ими гордился.

Мой отец, например, был в селе уважаемым человеком. Когда устраивали свадьбу и вдоль улицы выставляли в ряд большие котлы, то готовить плов поручали только моему отцу!

Готовить хорошую праздничную еду – это вообще дело мужское. Так по крайней мере водилось у нас...

Нет, моему отцу не приходилось дважды повторять свои слова. Я втайне был, конечно, жутко горд, что у меня именно такой отец! Такой уважаемый. Такой, действительно, «ага».

В селе у нас было немало ребят, которые завидовали мо-

ему житью... Эх! Если бы не началась война! И жил бы я безмятежно, как любимый котенок... Да и как иначе может жить человек, у которого три старших брата, две невестки, отец и мать...

– Язлы! – сказал Нурли. – Помни, Язлы! Теперь семья остается под твоим присмотром. Тебе уже четырнадцатый, так будь действительно старшим. Прошу тебя, не обойди заботой малышей... – было видно, что он сильно волнуется. – Как говорится, добрая надежда – пол дела. И вы тоже – надейтесь! Старайтесь делать добро. И друг другу и всем людям... Надейтесь на лучшее! А если я уцелею, если вернусь, так все заботы опять станут моими... Но, сам знаешь, загадывать не стоит... И если уж судьба не даст мне больше увидеть родного крова, придется тебе платить мой долг...

Нурли замолчал на какое-то время, сглотнул сухоту в горле:

– Браслеты старшей гелнедже и все украшения младшей... Ты помнишь их? Так ты хорошенько запомни: налобные подвески, браслеты, девичий головной убор... Я все это отдал в фонд помощи фронту.

Мы переглянулись. Невольная и радостная улыбка мелькнула в его глазах. Я хорошо понимал брата: ему представилось, как все эти дорогие и старинные вещи из тяжелого серебра, покрытые золотом, превращаются в танки и пушки, чтобы непроходимой стеной стать на пути у врага.

Но потом взгляд Нурли опять стал твёрдым. И я опять по-

нял брата: когда кончится война и семья опять крепко станет на ноги, я должен пойти в Мары на базар и снова купить украшения для наших женщин. Все точно, как было. Чтобы по справедливости, чтобы ничем не обидеть их!

– Ты ведь знаешь, Язлы, там на базаре, можно все достать. Хоть птичье молоко!

Я кивнул... Пожалуй, только слова про украшения были для меня новостью. Все остальное я уже слышал много раз. О том же говорил отец Агамураду, когда первым уходил на фронт. А потом Агамурад Довлету. А потом Нурли, склонив голову, слушал уходящего Довлета. Теперь пришла его очередь сказать все это мне.

Но, кажется, он еще что-то хочет произнести. Что-то, быть может, самое важное... Что же?.. Нурли молчал. Черные глаза его смотрели на меня с каким-то особым чувством. На душе у меня сделалось беспокойно и тоскливо. Я будто понимал его. И не мог понять до конца. Но взгляд брата навсегда отпечатался в памяти. Он и теперь стоит передо мной, живой взгляд, живого тогда Нурли.

II

Жена Довлета, Айсона – моя младшая гелнедже, я и Сарагыз, девушка из нашего села, поливали хлопчатник. Участок был неплохой, недалеко от села. Весной в бригаде распределяли участки, и этот достался моей гелнедже.

Когда хлопчатник уже заметно подрос и работы прибавилось, к Айсоне приставили меня и Сарагыз. Скоро я выучил-

ся сам ухаживать за полем.

А забот, надо сказать, у поливальщиков всегда предостаточно... Вот, кажется, что и бороздок ты сделал сколько следует и земля будто бы вдоволь напилась водой. Но вдруг видишь: вон в том краю поля головы кустарников поникли. Значит, туда не дошла вода, бороздки остались сухими!

Да. Работы больше чем хватало. И все же у меня бывали приятные свободные минутки. Чтобы дать мне немного отдохнуть, меня отправляли в село за припасами. А то и просто послушать: что там скажет «черноголовый» – репродуктор. Как и по всей стране, в нашем маленьком и далеком, залитом солнцем селе люди хотели знать, что там делается, на фронте...

Вечерами, усталые, мы ложились на деревянный настил, сделанный из жердей. Постепенно воздух становится прохладным и прозрачным. Так спокойно и сладостно было вдыхать его, засыпая. И видеть над собой чистые звезды. И видеть, как поднимается луна, похожая на пиалу, полную молока.

В первые ночи, сказать по правде, мне было не по себе немного, мурашки щекотно и коряво пробегали по телу, когда где-то, и не так уж далеко, вдруг заунывно голосили шакалы.

Плакали, то ли о чем-то просили меня, то ли угрожали... Но скоро я привык к их голосам, как и ко всем другим звукам и шорохам ночной пустыни...

Сегодня мне опять предстояло ехать в село. Что там говорить, я был доволен!

– Уж постарайся, – шутливо наставляла меня Сарагыз, – привези нам радостную весть!

В это время она помогала мне получше увязать тюк травы, которую я собирался отвезти домой... Сарагыз была крепко сбитая рослая девушка. В селе ее за это – на туркменский лад – называли башней.

Сарагыз, между прочим, не зря меня просила. Третьего дня я как раз и привез такое известие. Наши войска, наконец, вышвырнули гитлеровцев за пределы СССР!

И когда я приехал к себе на хлопковое поле, уж я был горд!

И я не просто им рассказывал, а говорил, как настоящий радиодиктор – таким особо твердым и торжественным голосом.

Последние слова, мне кажется, я вообще произнес точно как он, этот невидимый, но такой знакомый нам человек:

– Туркмены тоже совершили на разных участках фронта немало подвигов. Внесли свой вклад в общую победу!

Бедная моя гелнедже не в силах была сдержать слез – и гордости, и горечи.

А Сарагыз, по обыкновению своему, принялась шутить. Делая вид, что приглаживает волосы, словно готовится к встрече, Сарагыз насмешливо посмотрела на меня:

– Хм... Так, значит, теперь пора вышивать тюбетейки в

награду солдатам?

Мне не понравилась ее шутка. Я от чистого сердца старался, чтобы все вышло поторжественней, а она, понимаешь... Или, может, Сарагыз вообще мне не верит?

– Можешь смеяться, можешь издеваться, можешь вообще делать, что хочешь, – сказал я сердито, – а Гитлеру вонючему вставили фитиль в одно место!

Сарагыз вдруг неожиданно посерьезнела:

– Вот и хорошо... И пусть будут твои слова услышаны богом! – Она взяла лопату и пошла туда, где работала моя гелнедже, для которой так коротка была радость, а слезы – куда длиннее. И чтобы скрыть их от нас, гелнедже ушла поскорей...

Сегодня я вернулся из села примерно к полудню. Гелнедже, сидя в скудной тени нашего настила, разрезала дыню. Увидев, что я подъехал, она быстро спрятала под подол ноги в подвернутых шароварах: иначе ведь при поливе нельзя.

– Ну? Как тут без меня поработали? – спросил я важным голосом.

Но гелнедже не стала отвечать на мой вопрос. А сперва сама заставила меня ответить, как дома, и здоровы ли дети, и здорова ли старшая гелнедже.

Лишь когда я ответил ей, что все, слава богу, в порядке, она принялась рассказывать.

Оказывается, прямо перед моим приходом вода прорвала ближнюю запруду, и они едва сумели заделать промоину...

Ничего себе!

Я сейчас же взял лопату, и хотел пойти проверить, как там дела на моем участке, не надо ли получше отрегулировать воду... Но гелнедже мягко остановила меня:

– Погоди, поешь дыни.

– Наши?.. – я с любопытством потрогал дыньки, выставившие кверху свои шершавые морщинистые мордочки. Гелнедже улыбнулась мне, кивнула:

– Знаешь, прохладненького захотелось, я и взяла несколько из тех, что уже были сорваны... В этом году урожай просто отличный... Если б еще удалось как следует... – она опять улыбнулась грустноватой своей улыбкой. – Тогда и навялить хватит, и патоку сделать, и соседей как следует угостить... Когда опять в село поедешь, не забудь, пожалуйста, прихвати с собой – для ребят. Сейчас дыньки – самая сладость!

Она быстро и аккуратно соскребла кончиком ножа остатки сладкой мякоти, выпила собравшийся в чашечке кожуры дынный сок, протянула нож мне:

– Поешь, поешь... И там в хурджуне осталось немного хлеба из джугары... Я раскрыл хурджун, достал кусок кукурузного хлеба:

– А ты, гелнедже?

– Нет, не хочется... Сегодня все на прохладненькое тянет... – Что-то припомнив, она вдруг поднялось с озабоченным видом: – Господи! А где же она-то?

– Кто?

– Да Сарагыз! Ну-ка посмотри, посмотри – не видно?.. Ей ведь тоже досталось сегодня с этой запрудой... Ну? Видишь ее? Тогда махни тельпеком. Пусть отдохнет немного, дыньки поест. А то как с утра молока глотнула, так и все – работает!

Я несколько раз махнул своим тельпеком – барашковой шапкой. Наконец, Сарагыз, которая, казалось, где-то у горизонта шагала среди поливальных бороздок, ответила мне – подняла лопату, что, мол, вижу, поняла...

Дыня была на редкость душиста и хороша, а я устал от жары... Но не мог как следует наслаждаться ни тенью, ни отдыхом. Я все думал о своей младшей гелнедже. Мне хотелось спросить ее, но я не решался. Гелнедже сидела отвернувшись, опустив голову и руки. Было в ее позе что-то от усталой птицы. И в то же время в позе этой видилась словно какая-то вина...

Что уж говорить! С тех пор, как мы получили похоронку на Довлета, Айсона гелнедже изменилась так, что, кажется, вернись сейчас Довлет, он и не узнал ее! Айсона всегда была такой румяной и глаза такие веселые. А теперь лицо ее словно высохло, а глаза поблекли. Только стали еще больше. И она все худела – как говорится, таяла на глазах...

А еще я замечал: вот начнет она что-то делать. Потом вдруг остановится, будто вообще забудет кто она и зачем здесь. Остановится и стоит, глядя куда-то мимо всего на свете... И я не знал, что мне делать, как уберечь ее, бедную! Не дай-то бог, с нею случится то, что случилось с женой Сапара,

нашего пастуха верблюдов... Сапар тоже пошел на фронт, как наш Довлет, да и не вернулся. А вернулось вместо него черное письмо! И вот жена Сапара сошла с ума. Она ходила теперь по селу босая, с непокрытой головой. А если встречала кого, то лаяла и выла, как собака.

Суеверно я твердил про себя заклинание, которому научила нас мама: “Уйди, беда, уйди в камень, в воду уйди, в пустоту, пройди мимо, пройди мимо. Мы не поддадимся тебе!». Много раз повторив эти слова, я ждал помощи, я ждал неизвестно чьей помощи. Но некому было мне помочь, кроме меня самого!..

Подошла Сарагыз – высокая, крепкая, шаг широкий. Я невольно забыл на время свои невеселые мысли.

Она же, как всегда, начала разговор с шуточек, в которых главным героем был – увы! – я, собственной персоной.

– Итак, ты прибыл, о, дорогой начальник!

– Прибыл, прибыл, – ответил я, как можно суровее насупливая брови. – Ты лучше расскажи, что у вас тут стряслось.

– О, дорогой начальник! Расти большой и сильный. И да укрепит господь твою могучую память!

В придачу к соей излишней шутливости она еще имела обыкновение выражаться иносказательно. И последняя фраза в переводе на простой человеческий язык должна была значить: “Ты хорошо поел и попил. Но теперь-то уж хватит. Расскажи, наконец, что ты видел и слышал в селе!».

А еще она как можно чаще старалась ввертывать послед-

нюю свою придумку – прозвище “начальник».

Немногие знали, с чего это я вдруг да стал... “начальником». А ведь кличкой этой меня наградил сам Язмухамед ага, председатель колхоза... В тот самый день, когда моя гелнедже, Сарагыз и я взялись за поливку одного общего участка, председатель сказал – при всей бригаде! – что назначает меня начальником над этими двумя женщинами. И отныне, если что-нибудь с ними случится, я отвечаю головой!

Председатель говорил так весомо и основательно, что сомнения быть не могло: он надо мной посмеивался!

Но тут вдруг Язмухамед ага стал действительно серьезен и сказал, что если с нашего поля соберут хороший урожай, то мое имя будет включено в список, который отправят в Москву, и очень возможно, мне дадут медаль!

Если другие в общем-то не обратили внимания на шутки председателя про “начальника Язлы», то Сарагыз, конечно, этого не пропустила. Не такой она человек!

Сейчас, усевшись на корточки, Сарагыз умылась, утерлась подолом. Села, по-мужски скрестив ноги, взяла кусочек дыни. Но я напрасно понадеялся, что какое-то время ее рот будет занят.

–Слушай, начальник. Что хочу тебя спросить... Ты когда проезжал мимо нашего дома, случайно там не видел на привязи чужого ишака?

Я задумался... Я понимал, что опять ее фраза с двойным дном. В чем же тут подвох? Так ничего и не поняв, я стал

добросовестно припоминать, действительно, не попадался ли мне на глаза какой-нибудь ишак... И вообще: что я увидел необычного у дома Сарагыз?.. Да нет, вроде бы ничего такого...

А моя гелнедже, видно, сразу поняла, на что намекает Сарагыз. Опустив глаза, она теребила кончик своей косы, разбивая ее на множество мелких прядок. Потом вдруг глянула на меня...

– Какой же ты еще мальчик маленький! – Это я прочитал в глазах гелнедже до того ясно, что на сердце у меня как-то странно похолодело. Я посмотрел в глаза Сарагыз, потом в глаза гелнедже... Вот горе какое! Ничего я не мог понять!

– Хе! Видел же я! Старушку какую-то видел. И прямо около твоего дома. Подслеповатенькую такую бабушку...

– Ну и что же она?! – чуть ли не закричала Сарагыз. Даже забыла прибавить своего обычного «начальник».

– Она-то?.. Да ничего вроде. Мимо шла. На плечах вязанка травы... – Сарагыз усмехнулась с грустью и будто с обидой:

– Да нет, видно, мне никогда не суждено постирать мужской одежды... Пропади все пропадом!

Тогда-то, наконец, я понял, о чем так допытывалась она у меня. И почему так грустно и выразительно смотрела на меня гелнедже.

Незнакомый ишак у дома... На нем мог приехать сват. И старуха та могла быть свахой... могла бы... Да только сейчас

некому сватов засылать...

А Сарагыз уже успела взять себя в руки. Сказала, улыбаясь через силу:

– А все же нам очень повезло, что ты с нами, Язлы джан. Даже в такое время можем вдыхать мужской запах, – она весело и быстро повернулась к моей гелнедже, чтоб та продолжила шутку. Но Айсона грустно и смущенно опустила лицо.

Я отложил дыню, взял лопату на плечо. Я старался думать только о поливе, о бороздках, о том, чтобы вода получше пропитала землю. Но грустное обиженное лицо Сарагыз все стояло перед глазами. И грустное, смущенное лицо моей гелнедже... словно я в чем-то был виноват.

III

Вдали, на горизонте, завиднелось три силуэта, три всадника. Кто они были, с такого расстояния не разобрать. И однако я узнал их. Да и кто из нашего села их не узнал бы? Впереди, должно быть, председатель Язмухамед ага на сером коне. Каждый день, как только солнце начинало палить по-настоящему, председатель отправлялся на хлопковые поля.

Я долго не мог понять, зачем он так поступает. И лишь когда сам стал поливальщиком, понял все. Утром, по холодку, оно, конечно, приятнее прокатиться. Да зато в жару куда ясней виден каждый куст хлопчатника, которому из-за неумелости или нерадивости поливальщика не досталось воды!

Вторым всадником, уж наверное, был Меле-шейтан... чтоб с ним случилось то, чего он сам желает людям!

Третий – некто Сумсар-вага... Он “знаменит» тем, что имеет абсолютно круглое лицо, по сравнению с которым даже лепешка показалась бы продолговатой!

Председатель наш известен был как человек довольно мягкий даже, может быть, нерешительный. А эти двое сумели найти к нему подход. И надо сказать, очень неплохо жили да поживали...

И еще я не раз слышал, что Меле-шейтан и Сумсар-вага любят подкатиться к женщинам, мужья у которых ушли на фронт. Это в селе никому не нравилось. В том числе, конеч-

но, и мне. Однако, все мы помалкивали, делали вид, будто ничего не знаем... Друзья председателя - что ты им скажешь!

Сейчас, хотя они были уже близко, я не мог скрыть свою довольно ехидную улыбку – не мог отказать себе в таком удовольствии.

Сам-то я не видал, но жители нашего села любили пересказывать одну и ту же историю – словно мстили двум друзьям-приятелям...

Это случилось в ту пору, когда в селе организовывали колхоз. Однажды у нас появилась настоящая деревянная скамейка! А надо сказать, для туркменских сел того времени это была величайшая редкость.

Уж каким образом достал ее наш председатель, неизвестно. Однако на всех колхозных сходках Язмухамед ага непременно и с особой важностью восседал на этой скамье... А Сумсар вага и Меле-шейтану тоже как-то надо отделиться от «простых» крестьян, показать, что они выше тех, кто роет арыки и сеет хлопок. Но второй скамьи и ничего вообще похожего достать они не могли. Ума на что-то настоящее не хватало. И тогда дружки взяли моду сидеть на долбленных тыквах для воды!

Когда всадники подъехали, я, как и положено младшему, поздоровался первым.

– Здравствуйтесь-здравствуйтесь, начальник, – усмехаясь, отвечал Язмухамед ага. – И где же, интересно, твои многочисленные работники?

– Да вон они, – спокойно ответил я, – готовят землю для следующего полива.

И пока приехавшие смотрели, как моя гелнедже и Сарагыз, не жалея сил, трудились в поле, сам я с восхищением и трудно скрываемой завистью смотрел на председательского коня. Конь действительно был красив – взмыленный, разгоряченный жаркой дорогой.

– А что же ты прохлаждаешься?! – вдруг затараторил Сумсар-вага, и жирное лицо его налилось как бы благородным гневом. – Нет, дорогой председатель, он совсем не похож на человека, который честно трудится. Слоняется тут, понимаешь... Такой маленький, а уже лентяй!

“Вот же болтун”, – сердито подумал я, – вот же правда: “вага-вага...». Так у нас в Туркмении говорят, когда хотят сказать про пустомелю и пустобреха.

Меле-шейтан, который до того безразличным взглядом рыскал по моему лицу, тут же принялся “помогать» дружку...

А ведь я был перед ними всего лишь мальчишка. Не умел сразу да и не смел ответить на несправедливость. Но я не чувствовал за собой никакой вины. Я честно работал! А вот они в самом деле председательские захребетники... Ох, как же мне хотелось схватить с земли камень получше да запустить его в жирный лоб Сумсар вага...

Но не сделал я этого, сдержался... Были бы в селе отец и братья, я бы тогда, я бы... Ходить бы тебе, жирный Сумсар,

с расквашенной физиономией. А старшим я бы после честно объяснил, как было дело, они бы даже ругать меня не стали! Потому что старшие всегда учили меня жить справедливо. А это значит – не обижать невинного. И еще это значит: когда несправедливо обидают или унижают тебя, обидчику спуска не давать!

Да... Если бы братья и отец были здесь... Но тогда разве я занимался бы сейчас этой взрослой, трудной работой, голодный наполовину...

Язмухамед ага, видно, понял мое состояние. Заговорил спокойно, будто и не слышал, что там провыли и пролаяли его подручные.

– Ты, начальник, будь внимателен. Я ведь не даром тебя здесь поставил... Вон, видишь, кустики повяли. Их надо поскорее полить. Вдоволь их напои. А та сторона, где сейчас женщины, может подождать и до завтра, ты понял?.. – И стал концом плети показывать мне те участки, которые, ему казалось, были не политы.

– Я на обратном пути заеду к бригадиру, велю ему дать тебе на подмогу еще двух людей. А то участок у вас слишком велик... Трудновато, да?

Я слушал председателя, почтительно кивал на его слова, а у самого внутри все так и кипело. Никак не мог успокоиться. Очень мне хотелось огреть лопатой этих Меле и Сумсара. И, главное, лопата была как раз у меня в руках...

– Да здесь, я вижу, и колючек полно, – продолжал пред-

седатель. Ты, начальник, зайди-ка вечером к завскладом и скажи, что, мол, председатель велел выдать пару чарыков! А если вздумает... – председатель нахмурился. – В общем, если не получишь чарыков, шагай прямо в контору, понял?

Тут он, видно, вспомнил о моей гелнедже и Сарагыз:

– Нет! Скажи ему, председатель наказал выдать не одну пару, а три!

Чарыки, из грубой кожи – не бог весть какая обувь. Но в ту минуту я был, надо честно признаться, несказанно им рад... Три пары чарыков – это не шутки! Про свои сразу решил, что уберу их, приберегу. А на полив надевать стану только старые...

Но едва они тронули коней, опять во мне закипела обида. Прямо хоть плачь! И еще зло на себя брало: ведь струсил я – чего уж там!

Вечером приехал к нам старый Донлы ага, который у нас всегда собирал траву для своего скота. Он, конечно, ничего не знал про случай, который произошел днем. Но получилось так, что старик еще, как говорится, подлил масла в огонь! Оказывается, сын Меле-шайтана науськал собаку на мою старшую гелнедже!.. Ну, подлецы проклятые! Шакалы!.. Больше я не буду сдерживаться и трусить. Отхлещу тебя мокрым прутом, как осла, забравшегося в чужой огород.

В памяти опять встало лицо Нурли. Его внимательный и такой непонятный взгляд. И его слова: “Помни, брат. Теперь ты главный в доме. Мужайся...».

А то мне начинало казаться, что Нурли смотрит на меня укоризненно и осуждающе: “Что же ты? Я на тебя надеялся...».

Мысли эти не давали мне покоя. Я почти не замечал, как работаю, почти не замечал усталости и голода.

“Нурли, что же мне хотели сказать твои глаза? Что же они хотели сказать мне?.. Растолкуй ты бога ради! Помогите, объясни как-нибудь попроще, попонятней».

Если б только возможно это было, с какой радостью я бросился к брату, стал бы умолять его... Но ведь это было невозможно! И глаза Нурли в моей душе молчали. И глаза эти не оставляли меня до самого позднего вечера!

IV

Прошло несколько дней, а я все не мог забыть слова старого Донлы: “Что же поделывать, сынок! Видать, наступила пора свиньям командовать над людьми. И никто не смеет ничего сказать, трави они тебя собаками или вломись они ночью в дом к одинокой женщине... Ничего нам, видно, не остается. Так и будем терпеть. Война, у государства нет времени, чтобы добраться до таких, как они!»

Донлы ага не произносил имен, но я слишком хорошо знал, кого он имеет в виду!

– Слушай, сынок! Я ведь знаю не только Шейтана. Мне известно, что за птица был и его отец. Этому ничего не стоило избить замороженную голодом корову так, что она опухнет. А потом рассказывать на базаре, что корова скоро должна

отелиться...

И я понял, наконец, что не смогу сдержаться, что должен что-то сделать, иначе...

Но как отомстить, на что решиться, я не знал. Ночами почти не мог спать...

Как-то я повез домой хурджун дынь и остался ночевать. Но опять не знал, что сделаю. Только знал: что-то я сделаю обязательно!

Поднялся, когда было еще темно... Одна и та же мысль грызла меня: если в этот раз не дам отпор сыну Шейтана, они совсем обнаглеют. И потом потянутся к моим гелнедже!

Я уверен был: сын Шейтана ничего подобного не посмел бы себе позволить, если б не видел, как обращается с нашей семьей сам Шейтан. Но только вы ошиблись во мне, уважаемые шакалы!

Когда с топором в руке я вошел во двор Меле-шейтана, его жена доила корову. Она глянула на меня из-под коровьего брюха и продолжала заниматься своим делом. Только приосанилась эдак важно: видно, решила, что я один из просителей...

– Эй, баба! Мне некогда. Тащи сюда своего пашенка. Я хочу рассчитаться с ним!

Конечно, мой голос здорово дрожал от волнения. Но у страха, как известно, глаза велики: увидев меня, стоящего посреди двора и поглаживающего лезвие топора, словно я опять и опять хочу убедиться, достаточно ли он остер, жен-

щина испугалась до смерти. Она не могла ни сказать ничего, ни двинуться с места, а только моргала, глядя на меня, как заколдованная.

– Тащи же сынка, говорят тебе! – уже тверже и громче проговорил я, – Или мне войти в дом и зарубить его прямо в постели?!

Ведро с молоком с громким звяком упало из ее рук. Корова испуганно фыркнула и рванула прочь. Но веревка, натянувшись, как струна, пустила ее всего на два-три шага. Корова остановилась разом и стала со страхом следить за каждым моим движением.

– Что ты говоришь такое, что ты говоришь! – женщина, наконец, обрела дар речи. – Разве это мой сын укусил твою гелнедже?.. Вон, собака ее укусила. Собака, понимаешь? Значит, собаке и мсти!

Главная виновница истории тоже, между прочим, была здесь, лежала около сена. Как только началась наша «беседа», собака заворчала, оцетинилась. Глазами, налитыми кровью, стала следить за мной... Вот уж правда: все и вся в этом доме были под стать хозяину!

Когда жена Шейтана уронила ведро, собака пошла на меня. И я отлично видел – совсем не для того, чтобы преданно лизнуть мне руку!.. Я успел лишь повернуться к ней, поднял топор. Но она уже опрокинула меня наземь – здоровая была зверюга. Рыча, собака накинулась на мой топор.

Схватив горсть земли, я бросил ее прямо в собачью мор-

ду, в красные горящие глаза. И увидел, что глаза эти мгновенно погасли. Теперь я мог схватить воткнутые в сено вила. . . Мне как-то в голову не пришло, что ведь этими вилами легко вообще убить собаку, проткнуть ее насквозь. Я же стукнул врага своего по голове. Собака пошатнулась, сделала два или три шага и рухнула наземь. А я, уже не помня себя, бросился на нее сверху и стал сыпать в разинутую пасть новые и новые пригоршни земли. . .

И тут кто-то схватил меня за шиворот, легко и резко оторвал от земли. Я еще ничего не успел сообразить, когда получил сильный удар и отлетел далеко в сторону.

Это, конечно, сделал Меле-шейтан, который услышал крик и выбежал во двор. . . Подняв голову, я увидел, что уже успел собраться народ, а впереди всех стоит сам председатель Язмухамед.

Теперь трудно сказать, но что-то придало мне новые силы. Я поднялся, отряхнул пыль, спокойно пошел к Меле-шейтану. Не отрываясь, я смотрел прямо ему в глаза, в самые зрачки. Высокий и сильный Меле спокойно ждал, что будет дальше. И тут я сорвал с него каракулеву шапку, пнул ее ногой так, что она далеко отлетела в сторону.

– Сейчас я рассчитался с твоей собакой. Но за то, что ты ударил меня я. . . – теперь мой голос звучал твердо, как, может быть, никогда еще не звучал, – я сейчас же подожгу твое сено. А потом вернусь какнибудь и подожгу твой дом! А встречу один на один твоего сыночка, я его. . . – Тут я про-

изнес кое-что не особенно приличное и очень обидное... И направился прямо к копне сена.

– Люди! Господи! Да он с ума сошел! – Наперерез мне кинулась жена Шейтана. Видно, ей очень уж ясно представилось, как сейчас запылает ее копна, а когда-нибудь ночью вспыхнет и весь дом.

– О-о-о! Да задержите же его...

Меня крепко взяло сразу несколько мужских рук... В стороне нервно расхаживал Меле-шейтан.

– Пустите его! – злобно говорил Меле. – Пустите! Мне даже интересно посмотреть, что он еще выкинет... Думаешь, тебя здесь кто-то испугался?.. Богатырь, джигит, дерьмо сопливое!

Однако этого ему показалось мало. Он обозвал меня еще сосунком и даже специально расширил ноздри, словно хотел поймать запах молока. Но меня не так легко теперь было сбить.

– Говори-говори. Все равно ветер еще поиграет пеплом твоего дома. Так что спи спокойно – однажды ночью это как раз и случится... И запомни! Если твоя тухлая собака посмеет еще хоть раз тявкнуть мою гелнедже, тогда уж не жди от меня добра! – Так кричал я ему, не думая сдаваться, совсем не обращая внимания на то, что здесь же стоит его могущественный друг Язмухамед ага.

И тут сквозь народ, тяжело опираясь на клюку, ко мне протиснулся Донлы ага. Он крепко взял меня за руку, заго-

ворил сердито, ни на кого не глядя:

– Ты должен слушать меня, сынок, должен. Ведь я единственный старый чурбан, который остался в вашем роду. Я еще с дедом твоим играл. Мы росли вместе... Прошу тебя, поостынь немного. И не спеши пока – ни со словами, ни с делами. А долг, люди правильно говорят, он должен быть оплочен. И притом с лихвой! Если ты сегодня получил оплеуху, то завтра обязательно вернешь ее хозяину – тут он может не беспокоиться... Ты вернешь его оплеуху и еще одну прибавишь. Верно, сынок?.. – Донлы ага окинул взглядом примолкшую толпу. – Вот только вернуться домой его старшие... И к вам ко всем, и ко мне – пусть бы только вернулись наши солдаты. Тогда жизнь пойдет совсем по другому... А? Меле-шейтан? Ты не думал об этом?

Толпа по-прежнему напряженно молчала. И было непонятно, то ли они осуждали моего обидчика, то ли просто боялись и, как говорится, держали язык за зубами... Я продолжал чувствовать на себе десятки глаз. Люди следили за каждым моим движением: что же он сделает, этот странный непокорный Язлы.

Я усмехнулся:

– Ладно, пока живи, жалкий Шейтан. Но не забудь: должок за мной! – тут я опять посмотрел на Меле-шейтана. Он стоял, отряхивая свой, поднятый с земли, тельпек.

А председатель так и не проронил ни слова, все стоял в своей обычной позе, держа руки за спиной.

Мы с Донлы ага пошли прочь от толпы по направлению к нашему дому. И тут мне стало ясно: старик доволен тем, что случилось сегодня.

– А ведь я думал, что все настоящие парни ушли сражаться в Русию, – он усмехнулся. – Нет! Слава богу, не истребим род смелых. Долго живи, сынок! Долго живи! – Он смотрел на меня и серьезно, и с улыбкой. – По-моему, нагнал ты страху на этого Шейтана. Ей-богу, нагнал!

Возле дома меня встретила старшая гелнедже, и в ее глазах я прочитал совсем иное. Гелнедже, по-видимому, уже давно ждала меня здесь. И готова была многое мне сказать. Но не сказала ничего. Ведь это я остался здесь за старшего, и она решила смолчать.

Вот мама, уж она бы отвела душу. Уж она бы объяснила мне, уж она бы вдоволь меня побранила!

“Я так думаю, ты совсем спятил, милый мой! Да и что он тебе такое сделал? Да и как ты додумался тягаться с таким человеком? Да за него сам председатель... Ты понимаешь, что я тебе говорю? Председатель! Еще немного и никто с нами здороваться не будет. Забыл поговорку? “Кто думает, что по силе равен льву, тот просто глупец!»

Но старшая гелнедже ничего подобного не сказала мне. Постояв еще немного, она ушла в дом и вынесла нарядную рубаху моего старшего брата Агамурада. Рубашка эта была совсем новая, брат, быть может, надевал ее раз или два... Я кое-как снял те лохмотья, которые остались от моей соб-

ственной рубахи.

– Да, переоденься, – спокойно кивнула гелнедже. – А потом надо позвать Юсика. Пусть он тебе помочится на укушенную руку...

Я, конечно, знал это средство бабушкиной “медицины». Считалось, что так лучше заживает – якобы получается дезинфекция... Йод в те годы казался нам чем-то почти недоступным. А многие туркмены и вовсе не знали его.

Я согласился на “операцию», предложенную гелнедже, потому что мне хотелось понять, как все-таки она относится к моему поступку.

Но ничто внешне не изменилось в ней. Лицо как и всегда спокойное, ясное. Движения неспешны и в то же время очень точны... Уж такова она была, моя старшая гелнедже. Не умела она – и не старалась уметь! – так весело и громко и в то же время так мягко рассмеяться, как это могла Айсона гелнедже. Не умела вдруг пойти на откровенность. Она говорила немного и всегда правильно. Детей воспитывала в строгости.

Приходившие к маме поболтать старые женщины очень хвалили старшую гелнедже: “Ведь вот, смотри, какая: голоса не повысит, а все ее слушают...».

Никогда я не знал, что же на самом деле волнует ее в данную секунду... Вот она вышла во двор, что-то там хлопоча по хозяйству. И заметила, что Юсик до сих пор не выполнил своих “врачебных обязанностей». Остановилась, словно это

и было сейчас самым главным делом ее жизни:

– Юсик! Я ведь уже звала тебя..., Юсик!

Он выскочил из-за дома – веселый, маленький. Заговорил, как всегда, смешно перебирая слова. Он надеялся, что мать покатает его на ишаке.

– На ишаке после, – очень спокойно остановила его моя старшая гелнедже. – Твой дядя тут совершил героический подвиг... Сделай-ка ему на руку пис-пис... – наконец-то она позволила себе хоть единую усмешку...

Для Юсика этот приказ был полной неожиданностью. Он-то мчал, надеялся на ишаке прокатиться и вдруг!

– Ну, верблюжонок, сделай, что я тебе говорю, – это старшая гелнедже произнесла со всей возможной для себя мягкостью. Юсик и застеснялся, и расстроился:

– Не хочу я сейчас... – и надулся.

– Нет! Ну это я просто не знаю, что такое! – строго и спокойно сказала гелнедже. – Когда надо, у него даже мочи не допросишься... Стыдно ему, видите ли! Хотелось бы узнать, что у тебя там такое невиданное спрятано? – она взяла сына за плечи, потрянула легонько: – Ну-ка делай, что тебе говорят!

И понял Юсик, никуда ему не деться. Пришлось исполнять приказ матери...

Когда над моими ранами, которые уже начинали саднить и зудеть была произведена эта, так сказать, операция, я поскорей стал собираться в поле, где сейчас моя младшая гелнедже и Сарагыз, если уж быть честным, просто работали за

меня.

Я посадил на ишака Юсика и его сестренку, прокатил их до края села. И так приятно мне смотреть на их простую радость, таким взрослым я чувствовал себя в эти минуты... Вот они спрыгнули на землю и остановились, ожидая, что же я им скажу. И тогда я обещал, что в другой раз, когда буду менее занят своими очень важными делами, я прокачу их намного дальше. И с тем велел отправляться домой.

Я ехал и думал обо всем происшедшем. И странно, не знаю, что такое случилось со мной. Я вспоминал слова Донлы ага. Еще час назад они прямо-таки впивались мне в душу. Теперь я мог вспоминать о них совершенно спокойно.

Я думал о братьях, старался взглянуть в их лица... сколько, конечно, позволяла мне память. И братья, казалось, теперь смотрели на меня – словно с признательностью.

Я слушал спокойный стук моего сердца... И вдруг подумал неожиданно, что вот так же спокойно бегут воды нашего родного Мургаба... Мне было удивительно хорошо сейчас, я был спокоен и уверен в себе.

V

Бригадир заметил, что воды в арыке стало меньше. Недолго размышляя над причинами, он решил, что все дело в камышах, водорослях и прочей растительности. Нам был отдан приказ расчистить арык.

За несколько дней до этого я нашел на дороге хороший плоский камень, почти что брусок. Мы как следует наточили

серпы и – делать нечего! – полезли в воду.

Было раннее утро, но вода оказалась совсем не холодной, чего я по правде говоря, здорово побаивался. Наоборот, в воде было очень приятно. Я даже подумал: «Как под одеялом». И невольно усмехнулся этому странному сравнению.

Сперва мы долго не разговаривали, а только работали да работали. Даже Сарагыз не изрекла ни одной из своих шуточек про «начальника».

Серпы ударили в лад, в такт, получалось у нас хорошо и споро. Наверное до самого обеда мы так и проработали бы молча, если бы вдруг... мимо нас не проплыл уж! Он держал в зубах пойманную лягушку. Головка его торчала из воды и была очень похожа на воткнутую в дно палку. Но мы-то слишком хорошо знали, что это не палка!

Работа сразу разладилась. И хотя уж через несколько секунд исчез, Сарагыз и гелнедже поскорей выбрались на берег. Они решили резать камыш с берега, а это, конечно, неудобно. Мне же ничего иного не оставалось, как только быть мужчиной. И я сказал им как можно спокойнее и храбрее:

– Да что он сделал?... Ужи ведь не кусаются!

А самому, признаться, было сильно не по себе. Да ведь не трусить же!

И я немедленно стал думать о том, какие они обе слабые, в сущности, создания. И какой я – ого-го! – мужчина. Да

пусть из этого несчастного арыка вынырнет любая змея... Даже сам дракон, я его... И тут же замечал, что трусливо жду: вот сейчас меня тяпнет за ногу такая с виду совсем безобидная змейка...

Но у змей, слава богу, достаточно благоразумия. И они отлично понимают, что укус не остается безнаказанным, и острый серп хорошо умеет резать не только камыш!

Я повернулся к женщинам своим, чтобы сказать им, чтобы они почувствовали, какой я...

Передо мной стояла Сарагыз! Мокрое платье так ясно, так броско и привлекательно облепило всю ее – я не мог вымолвить ни слова.

Острая грудь – и девичья, и женская одновременно, и гибкая талия, и прямые, изящного рисунка

плечи, и стройные ноги...

Не хочешь, да вспомнишь, что ты мужчина!

Переполненный приятными и острыми чувствами, которые трудно передать на словах и совсем не принято передавать на бумаге, я думать забыл, что стою по шею в воде, что еще минуту назад прямо перед моим носом проплыла змея...

Сарагыз! Всегда она казалась мне и грубоватой, и мужиковатой, с такими слишком размашистыми движениями и слишком громким разговором.

Теперь мне виделась прелестная девушка, быть может,

чуть угловатая, которая вся была поглощена таким, к тому же бесконечно женским делом – она сосредоточенно искала оброненную заколку...

Машинально я перевел глаза на гелнедже...

Не знаю, уж наверное, я хотел сравнить их... Бедная гелнедже моя стояла, выкручивая подол... И мне стало нестерпимо стыдно! Захотелось, чтоб они поскорее ушли.

Стараясь, чтобы мой голос звучал как можно естественней, я проговорил:

– Гелнедже, да вы идите. Чего тут осталось-то?.. Несколько камышинок! Я сам это все сделаю... Идите, правда.

С этими словами я кивнул в сторону Сарагыз: мол, к тебе это тоже относится:

– Знаешь, – вдруг сказала она, – пойдем-ка лучше с нами, Язлы. А потом, когда эта гадость забудется... Пойдем! Пока можно заняться чем-нибудь другим... – и краем мысли Сарагыз не подозревала о том, что сейчас творилось у меня в душе.

А у меня действительно творилось! И я не как не мог взять себя в руки. И боялся, что они сейчас заметят все. И от этого волновался еще больше.

– А правда, пойдем отсюда все вместе! – гелнедже улыбнулась... Она, конечно, тоже ни о чем не могла подозревать! Само собой, я отправил их одних. И потом долго еще резал камыш, чтобы, говоря красивыми словами, обрести душевное равновесие.

Наконец, я расправился с последними камыэшинками. И, надо сказать, чувство большого облегчения я испытал, когда смог со спокойной совестью выбраться из воды. Ведь едва мне удалось изгнать из своей памяти образ Сарагыз, которая ищет потерянную заколку, как немедленно на ее место поселился образ... змеи, тихо подплывающей ко мне...

Какое-то время я еще посидел на берегу. Мне казалось, что прошло слишком мало времени, и я неминуемо нарвусь на ехидный вопрос: «Что это ты вдруг так быстро, начальник? Или все-таки страх взял тебя за шиворот, а?».

Чем выше поднималось солнце, тем, увы, короче становилась тень, в которой я устроился. Да и мошкара, целой толпой собравшаяся возле коровьей лепешки, не давала мне отдохнуть по-человечески. Ладно, делать нечего. Я решил идти. Увидел Сарагыз и гелнедже. Они тоже сидели под кустом. И не слышали меня.

А я их отлично слышал и видел!

Конечно, в какой-то иной компании это было бы невозможно. А пока они оставались вдвоем, Сарагыз решила примерить бёрик моей гелнедже.

Гелнедже чувствовала себя неловко, стараясь взять бёрик, потому что нельзя, неудобно замужней женщине сидеть простоволосой. Так, видимо, она считала, моя милая гелнедже.

Сарагыз, нисколько не обращая на это внимания, делала вид, что она с кем-то кокетничает, посмеивается и жеманно поворачивала голову.

– Да отдай же ты! Вот глупенькая! – мягко улыбалась моя гелнедже. – Нашла о чем мечтать... Будто ступа на голову надета.

Сарагыз, однако, и не думала отдавать бёрик. Она рассматривала себя в осколочек зеркала и думала о том, как же она будет выглядеть, когда выйдет замуж. Она приглаживала на лбу волосы, старательно прихорашивалась. А когда нечаянно сдвинула бёрик набекрень, стала громко и счастливо хохотать.

А то вдруг поспешно прикладывала к губам конец платка, словно с кем-то стыдливо здоровалась – такая вся тихая и покорная. Гелнедже покачала головой. Я услышал в ее голосе и печаль, и участие:

– Не спеши ты, красавица, зря не спеши! Вот кончится война проклятая, вернутся настоящие парни... Тогда и твоя наступит пора! Гелнедже опять покачала головой, но уже по-другому, как-то особенно задумчиво. – Придут они, скажут: “А ну-ка, хватит. Становитесь опять женщинами. Давайте сюда ваши серпы и лопаты. Вспоминайте, как детей рожать, как пеленки-распашонки стирать...».

Сарагыз с надеждой и недоверием посмотрела на нее. Хотела сказать что-то, но остановилась. Взяла обычный свой иронический тон:

– Ну уж ты наговоришь, прямо дальше ехать некуда: лежи, обнимайся, ешь да наряжайся. Больше женщине и заняться будет нечем?

– А ты потерпи, потерпи немного... У тебя все хорошее еще впереди!

– А ты слыхала, Айсона! Говорят, позавчера эту несчастную старую деву... ну, господи, дочь этой плешивой Торлы, говорят, ее посватали!

Гелнедже ничего не ответила. Некоторое время они сидели молча, каждая думая о чем-то своем. И, наверное, очень разные это были мысли... Потом гелнедже подняла голову, обернулась в ту сторону, откуда я должен был прийти. Но за камышами она не могла рассмотреть меня. Наверное, и Сарагыз поняла, кого там могла высматривать моя гелнедже:

– А тебе здорово повезло с маленьким деверем! Вот я уверена, еще несколько лет, и он будет сильно девчонкам нравиться!.. Вообще хороший паренек.

– Только, может, немного горячий... – разговор обо мне осторожная гелнедже начала с упоминания недостатка, чтобы не сглазить. – А вообще – да: он очень хороший, не лентяй какой-нибудь бесполезный. Какая ни появится работа, он первый! А уж потом разбирается, хватит силенок или не хватит... А ведь знаешь, когда я пришла к ним в дом, я буквально в ужас пришла – до того он был избалован: ну, думаю, ничего хорошего из этого мальчишки не получится. А Довлет мне говорит: “Не думай так! Просто Язлы – широкая натура, ему до всего есть дело. Вот он и кажется таким... ну, неуравновешанным, что ли... Запомни, есть примета: из таких вырастают вожди!».

Довлет очень гордился им!

Наверное, гелнедже еще что-то хотела сказать и вспомнить о Довлете, но Сарагыз нетерпеливо перебила ее:

– Какое мне дело до твоих прошлых сомнений? Я знаю наверняка: Меле-шейтану он отвесил в полную меру! Говорят, Меле на следующий день даже ходил к Акжемал... ну, к знахарке нашей... Да, правда! – Сарагыз засмеялась. – Сердце свое показывал. Видать, прилично он перепугался. Акжемал так ему и сказала, между прочим. У тебя, говорит, сердце ушло с положенного места! Даже, будто камнем его била по пяткам, чтобы сердце вернулось обратно... Ты представляешь? – тут она не выдержала и снова расхохоталась. А потом продолжала серьезно: – Говорят, Донлы ага едва сумел унять мальчишку... сам Донлы ага... а не то бы сгореть дому Меле-шейтана, – она прищурилась.

– И думаю, немало народу с удовольствием погрелось бы у этого огня! Н-да... А Шейтан всю ночь глаз не смыкал: все ходил вокруг дома... А потом будто говорил, что не отдать ли Язлы на фронт. Ростом, мол, он вполне подходит, годков приписать. А там в суматохе, в неразберихе, глядишь, не заметят...

VI

Была ночь. Вдруг кто-то тронул меня и потом потряс за плечо. Я открыл глаза – надо мной склонилась старшая гелнедже.

Когда вчера вечером я вернулся с поля, дома ее не было. Младшая гелнедже, сидя на кровати, гладила спинку Юсупу,

чтобы он поскорее и поспокойней уснул.

Я знал, что уже второй день старшая гелнедже и наша соседка Огулназ эдже, сменяя друг друга, ухаживают за дядюшкой Донлы ага.

Старику вдруг сделалось плохо, у него отнялся язык. Уже второй день, придя с работы и спросив, как там дела у Донлы ага, я получал один и тот же ответ: «Все то же самое пока...».

Я шел посидеть с ним немного и видел, что сил у Донлы ага осталось совсем мало – вряд ли ему дождаться возвращения Гега, единственного своего сына...

Шепотом, чтоб никого не разбудить, гелнедже сказала мне, что сейчас старик совсем уж плох... Голос ее дрожал... – и все смотрит на дверь... Все ждет!

Уже на улице, коротко поговорив, мы решили, что мне поскорей надо идти в соседнее село – там жила сестра дядюшки Донлы.

Я шел и думал о нем, о необыкновенном этом человеке. Но мысли мои были невеселы!

Потом, однако, я стал вспоминать его рассказы о легендарном Гёроглы, нашем великом герое. О его сорока юношах...

Мне во время этих рассказов нет-нет да и начинало казаться, что Донлы ага был одним из тех сорока. Уж очень живыми были его рассказы. Уж очень удивительные и точные подробности он приводил... Словно вспоминал! Нет, думалось мне, не может этого быть просто так! Он сам все видел

и сам все пережил, когда стремя в стремя с Гёроглы гулял по белу свету.

Слушая удивительные эти рассказы, я тоже невольно начинал думать, что нахожусь в отряде Гёроглы, что подо мной пронзительно ржет горячий конь, и я вместе с другими воинами иду в бой, и отступают отряды жестокого и кровавого царя Хункара...

Но Донлы ага умел не только красиво рассказывать!

Однажды я поехал в город... не помню уж теперь в точности, что там было – какой-то праздник. И Донлы ага дал мне свой чудесный тельпек. Действительно чудесный – завитки были красивые, длинные. В городе на меня не раз оборачивались – уж очень здорово смотрелась у меня на голове эта папаха...

Но даже не сам тельпек больше всего запомнился мне, а то, как старик дал его. Когда я пришел к дядюшке Донлы и, запинаясь, стал просить его о тельпеке, старик просто откинул крышку сундука, достал эту весьма дорогую вещь, молча протянул мне. А ведь кто я был тогда? Мальчишка и не более!

Когда мы с сестрой дядюшки Донлы пришли, наконец, в наше село, все уже случилось.

К дому старика сходиллся народ. В стороне было привязано несколько ишаков. Женщины в траурных своих накидках, словно тени, двигались меж домом, где лежал бедный Донлы ага, и камышовой пристройкой.

Уже явились и увечный Абдулла, и Гурт ага – наши милые: негласные, но и неизменные исполнители всех обязательных обрядов. Тут же я увидел Сапара и Черкеза, которые – тоже, исполняя давно отведенную им в селе роль – заголосили, затянули мужские причитания, отдавая усопшему последнюю дань...

Когда выносили тело дядюшки Донлы, старики и за ними все окружающие посетовали, что не успел Гег проститься с отцом... Но кто же возьмется за переднюю правую ручку погребальных носилок?

Так уж случилось, что в нашем роду сердаров я остался самым старшим, а вернее, самым... представительным, что ли... Был еще Тойли – и мой ровесник, и тоже из сердаров. Но о нем, по-моему, в тот момент даже никто не подумал. Когда тяжесть носилок легла на мое плечо, я задрожал и колени мои на мгновение подогнулись, словно я нес носилку один...

Тяжесть... Невозможно было поверить, что никогда больше Донлы ага не подъедет к нашему полю за своей вязанкой травы. И никогда я не услышу его удивительных рассказов. И никогда... Сколько же всего безвозвратно исчезло теперь!

Когда мы пришли на место, из ямы выбрался запыленный усталый человек. Отошел в сторону, спросил, оперевшись на лопату:

- Кто из сердаров хочет войти туда и посмотреть?
- Это – слова традиционные, положенные по обряду. Я

глянул налево, направо... Но здесь никого не было из нашего рода, никого, кроме меня!

И невольно я вспомнил, как раньше многочисленен был наш род. Уже обязательно несколько голосов откликнулись бы на слова могильщика. Но все сердары были на фронте, далеко отсюда, очень далеко... Там, где кровью и жизнью они решали судьбу своей великой родины. И виделось мне, какой яростью и святой мезтью блестели сейчас их глаза...

Не очень понимая, что от меня требуют, я шагнул к яме. Но тут Гурт-милисе жестом остановил меня... Затем он спустился в яму, лег там, вытянувшись во весь рост – проверил достаточно ли просторна будет могила для мертвеца!

У меня перехватило дыхание, я вздрогнул и замер, словно на меня обрушился поток ледяной воды... Так, значит, вот что я должен был сделать! Почувствовал, как слезы подступили к глазам. И чтобы никто этого не увидел, я поднял голову, стал смотреть на белые неподвижные и такие спокойные гряды облаков.

VII

Председатель вызвал меня в контору – сразу тревожно и тоскливо сделалось на душе. Ничего хорошего ждать мне не приходилось... Ткнул в бороздку лопату, пошел к арыку, смыл землю, налипшую на босые ноги... Что ж, все ясно: председатель решил рассчитаться со мной за дружка!

Я знал, что когда-нибудь это все равно должно было случиться. Знал и ждал. И думал даже, что меня позовут сразу, на следующий день, после того случая с Меле-шейтаном. Но председатель, как говорится, имел терпение! Наверное, хотел дождаться какого-нибудь моего проступка на работе. А может, думал, что я однажды ночью заберусь в колхозный харман, чтобы украсть зерна... Но ведь Язмухамед ага не лишил нас доли, которую колхоз выдал ежедневно на каждого члена семьи. Значит?.. А так ли уж все плохо, как мне кажется?

И однако, когда я входил в контору, сердце мое билось; словно я взбежал на гору, а ноги просто не шли в председательский кабинет. Чтобы хоть немного успокоиться и не выглядеть трусом, я стал прохаживаться около дверей кабинета. Вдруг оттуда вышла женщина вся в слезах, и я подумал: «Наверное, с фронта пришли для нее плохие вести!».

Пора и мне было узнать свою судьбу. Я вошел в кабинет, сел на стул, стоящий у самой двери. Не очень смело оглядел-

ся вокруг... Моего прихода никто будто и не заметил. Лишь Сумсар-вага. И показалось мне, что он засуетился. Он почесал карандашом свое толстое лицо, затем вознамерился сунуть карандаш в рот, словно это был мундштук, но не сунул и, в конце концов, заложил карандаш за ухо.

То, что происходило в кабинете, не было ни заседанием, ни простым человеческим разговором... У стола, покрытого красным бархатом, стояла женщина – загорелая, в домо-тканном выцветшем на солнце платье. Стояла она, опустив голову, вся красная.

А за столом сидели председатель Язмухамед, два его дружка и пузатый бригадир Аяз. Лицо председателя было каким-то осунувшимся, словно после болезни. А прекрасная его папаха сползала на глаза, как будто сделалась велика...

Меле-шейтан, зло и подозрительно выкатив глаза, допрашивал женщину... По-видимому, она перед этим рассказывала о своей болезни, потому что Меле-шейтан орал:

– Брось, слушай! Болезням нечего делать около тебя. Ты же здоровей любой собаки!

После этого “сравнения», женщина вся сжалась. И хотела что-то ответить, и побаивалась. Но потом, по-видимому, она решила, что молчащий, как говорится, все победит. И продолжала стоять, опустив голову, не отвечая на крики. И тут в разговор вмешался Сумсар-вага.

– Эй, Патма! – закричал он, размахивая руками. – Что ты застыла, как объевшаяся корова?.. Промычи хоть что-ни-

будь.

Этого женщина уже не смогла стерпеть:

– Твоя мать – обьевшаяся корова! И твоя сестра с двумя детьми, от которой ушел муж, – обьевшаяся корова!

– А ну заткнись!

– Нет не заткнусь! Рябой..., чтоб земля тебя проглотила. Я-то живу на своей земле, у себя дома, и меня не заставит молчать всякий пришлый, отец которого появился здесь, как раб в торбе коня!

Это последнее относилось уже не к сестре и даже не к матери Сумсар вага, а к его отцу!

Глядя на эту женщину, я и сам воспрял духом! Ведь еще минуту назад она стояла такая вся напуганная и покорная, а теперь... И я от души порадовался за Патму. Вот нашлись же у нее сила и смелость, сумела себя защитить! А я как-никак мужчина!

Скандал этот, видно, надоел председателю. Он медленно поднял голову, глянул на женщину, которая вся так и тряслась от гнева.

– Ну хватит, Патма, ступай домой... Ступай, ступай... И не надо обижаться на каждое слово. До обеда сделай, что там надо по дому. А потом будь на рабочем месте. Все!

Когда Патма вышла, сидящие за столом громко расхохотались. И даже полные губы Язмухамеда ага изобразили улыбку. Сумсар-вага, хохотавший старательней всех, вытер слезы. И будто ничего и не произошло, стал в миг серьезен,

принялся ощупывать меня пристальным и совсем недобрым взглядом...

Меле-шейтан делал вид, что вообще никого не замечает. Но он меня замечал! Зубы его стучали от волнения. Меле поерзал на стуле, прокашлялся... А я подумал о его выпуклых мутных глазах, которые уже через несколько мгновений тоже вцепятся в меня.

И тут вдруг мне самому захотелось посмотреть ему в глаза. Посмотреть, подмигнуть и улыбнуться: мол, что, мечтаешь мне отомстить, а, Шейтан?.. Так попробуй, может, что и получится!

Такое желание подсмеяться над взрослыми обидчиками было у меня не впервые. Помнится, я просто мечтал устроить какую-нибудь каверзу Ахмеду ага, который всегда больно брил мне голову. И вот однажды я увидел его, сладко спящим в тени. До чего же мне захотелось отхватить хороший клочок из его бороды. И мне стоило большого труда удержать себя от этого.

Но теперь все было по-другому, и речь шла не о детских шуточках...

Язмухамед ага, пробежав взглядом по ряду пустых стульев, наконец, нашел меня. Некоторое время молча оглядывал, словно собирался обмерить или взвесить меня этим своим взглядом. Спросил хрипловато:

– Ну так что, начальник? Пришел?

Я промолчал. Язмухамед ага ведь и сам видел, кто стоит

перед ним.

– А как, интересно, дела у твоего хлопчатника?

– Нормально вроде, – ответил я как можно спокойнее. – Стараемся, чтобы он никогда не испытывал жажды.

Председатель кивнул:

– Нельзя, чтобы у хлопчатника была жажда... – помолчал секунду. Да, кстати. Ты что же не шел за чарыками, которые я тебе разрешил взять в прошлый раз?

Я не знал, что и ответить! Язмухамед ага чуть повернулся в сторону Сумсара вага:

– Так ты принес?

– Да-а... Они здесь...

– Ну так неси, неси!

Сумсар-вага поднялся, высокий не очень какой-то складный, ушел в соседнюю комнату. И возвратился... с тремя парами чарыков! Молча протянул их мне...

С большим нетерпением я ждал того момента, когда председатель разрешит уйти! А про историю на дворе у Мелешейтана будто бы все и забыли. Ни слова не сказали мне об этом.

Я вышел, прикрыл дверь и остановился – ждал, что сейчас раздастся их хохот. Но никто не засмеялся... А я все никак поверить не мог, что меня специально вызвали в контору вручить сыромятные чарыки!

VIII

Это случилось спустя несколько недель. В тот день я поздно вернулся домой. Старшая гелнедже сидела, привалившись к стене, с маленьким Юсупом на руках. Рядом, словно крохотный воробышек, спала ее дочка.

Наверное, гелнедже только что перестала плакать. В тусклом свете керосиновой лампы я видел ее измученное лицо, припухшие от слез веки.

Быть может, невестки посорились из-за чего-нибудь?..

Юсик поднялся с материнских рук. Потом радостно подбежал ко мне, повис на шее:

– Дядя Язлы, дядя Язлы! А к нам дед бородатый приходил!

– Когда? Какой дед? – Я погладил Юсика по голове.

– Не знаю, какой... Они с моей гелнедже выходили во двор, вон туда. А мама начала плакать! И гелнедже плакала, а потом начала меня целовать...

– Ее отец забрал, – тихо сказала старшая гелнедже и заплакала.

Только что уехали. Наверное, еще не добрались и до края села. Она попробовала встать и не смогла. Слезы лились из ее глаз. Я еще продолжал держать Юсика:

– Но как же так?

И не стал дожидаться ответа на свой пустой вопрос, выбо-

жал из дому... Гелнедже что-то крикнула мне вслед – я уже не услышал, не успел услышать.

За селом, по дороге неспешно скрипела арба, которую тянул ишак. В свете яркой, как лампа, луны, я сразу увидел, что эта арба увозит мою гелнедже!

– Э! Гелнедже! Гелнедже!

Голос мой, будто волнами, прокатился по залитой желтым светом окрестности... Мирное поскрипывание прекратилось, арба стала. Я подбежал, бормоча что-то, почти не слыша себя. Положил голову на туфли своей гелнедже.

Наконец, я услышал, что твержу одни и те же слова:

– Не покидай нас, гелнедже! Прошу тебя! Останься, останься, гелнедже! – И понял: надо сказать что-то – самое важное...

– Ведь он вернется, ты сама увидишь! Вернется! Вон про дядю Айлы тоже пришло письмо... А он вернулся! Ты же знаешь!

Гелнедже моя, не смея вымолвить ни слова, беззвучно рыдала, упав лицом на узел с вещами. Обнимая ее туфли, я чувствовал, как она содрогается всем телом.

Управлявший арбой пожилой человек с окладистой бородой спустился на землю, подошел ко мне, стал говорить что-то спокойное, вежливое, утешительное. Но все это, действительно, были только утешения...

Я хорошо знал его. До войны он часто приезжал к нам. Они любили с отцом попить чайку да потолковать. Сядут

на кошке под шелковицей и говорят. И много я узнал от него интересного... Моей почетной обязанностью было подносить им угощение и чай с очага.

И я отлично помню тот день, когда мы с мамой наведались к ним – сказать словечко насчет их дочери... И как после ее привезли в наш дом. И помню веселую суматоху свадебного поезда... Ах, какую же хорошую свадьбу тогда сыграли! И мальчишки, сорвав с мамы головной убор, смеялись и бросали его в воздух...

– Ты не плачь, сынок. Не надо плакать... Бог даст, твой брат и вернется. И ты прискачешь к нам за подарком – раз принес такую радостную весть. Тогда – забирай назад свою гелнедже! А то я и сам ее привезу: разве так уж далеко от вас до нашего села?..

Еще он добавил, что я – старший в доме и, значит, должен мужаться. Но никакие слова его не помогали. Словно я оглох!

И тогда старик просто тронул арбу. А я остался на пустой дороге, все так же плача и видя сквозь слезы, как уезжает моя гелнедже... Затем вдруг кто-то схватил меня за сердце и дернул в сторону, и я побежал, сам не зная куда.

Широко раскинулось хлопковое поле, молчаливые, высвеченные луною холмы стояли поодаль. Я будто ничего не замечал. Я лежал, уткнувшись лицом в землю, плакал, пока не кончились слезы!

А телега, увозившая мою гелнедже, все ехала сейчас где-

то, да ехала. И скрипела она все так же мерно и спокойно...

И теперь я был рад, что ноги мои принесли меня сюда... Нехорошо было бы идти домой таким, каким я был еще час назад. Прав был старик: я должен мужаться. И мое ли это дело расстраивать старшую гелнедже, которая и так уж расстроена, пугать детишек...

Было уже далеко за полночь. Домашние... я надеялся, что они теперь спят. Спустился к арыку, тихо бегущему в низине среди холмов, умылся и спрятанный ото всех темнотою пошел домой.

IX

Еще прошло несколько месяцев. В колхозе уже заканчивали собирать хлопок... А мне как раз не повезло: грузил на арбу тяжелые тюки, оступился, упал и... теперь лежал со сломанной ногой. Было мне грустно, одиноко. Белый свет мог я видеть только через окно.

Хорошо хоть дома были дети моей гелнедже! Так приятно было слушать их важную болтавню... Или я сажал их рядом и начинал рассказывать сказки.

Было у меня и такое развлечение – может, правда, не очень взрослое: я любил их чем-нибудь раззадорить, а потом сразу начинал мириться. Это было мне совсем несложно. Я давал им какое-нибудь обещание. Ну, например: что как только выздоровлю, то пойду в заросли за село и принесу им живого шакаленка.

Сейчас же они забывали обиду. Глаза загорались отчаянным, почти мучительным любопытством. На меня обрушивалось столько вопросов, и мне приходилось рассказывать такие подробности, что шакаленок, пойманный нашим воображением, был даже еще живее и лучше настоящего!

Но всего интереснее и смешней было наблюдать, как они крутились около возвратившейся с работы матери. Гелнедже хлопотала по хозяйству, а ребята, соскучившись, ходили за ней хвостиком. Но талдычили, конечно, свое:

– Мам, купи нам ляльку... Вон, соседи-то себе купили! А я тоже хочу такую поняньчить!.. Ага! Какой хитрый нашелся, я сама буду нянчить... Нет я!.. Нет я!

И начиналась совершенно серьезная ссора с совершенно серьезными слезами из-за несуществующей “ляльки». Старшая гелнедже чаще всего приходила усталая. И у нее уже сил не было разбираться в этих спорах. Она лишь старалась как можно больше успеть по хозяйству, а ребятам... ответит разок-другой невпопад. А то и вовсе – прикрикнет строго:

– Ну-ка, ступайте отсюда... горе мое! И без “ляльки»-то голова кругом...

Часто целые ночи напролет я не мог заснуть... Без работы, вообще без всякого дела я особенно сильно тосковал по старшим братьям, по отцу. Иной раз я так ясно представлял, что вот они все собрались... и тогда чувствовал себя по-настоящему счастливым... и глубоко несчастным: ведь их не было на самом деле!

Но, может, тяжелее всего то, что младшая гелнедже поверила: погиб наш Довлет! Поверила в то, во что я верить не собирался.

Да и еще много было всего, что не давало покоя. Меле-шейтан и Сумсар-вага частенько приходили ко мне этими бессонными, одинокими ночами. Опять меня охватывали злость и презрение. Уж скорее я какого-нибудь пса шелудивого назвал бы своим лучшим другом, чем изменил отношение к этим людям!

Не хотелось мне считать в их компании председателя Яз-мухамеда ага. Но, с другой стороны, я понять не мог, почему эти два жулика творят в колхозе все, что им захочется? А председатель молчит!

Что это значит?

Да нет, видно, тут дело тоже нечисто!

О, как же сильно хотелось мне приблизить тот момент, когда отец и братья вернуться с войны. И мы свяжем этих двух проходимцев да выдерем на глазах у всего села!

И еще, как ни странно, я радовался, что их не взяли на фронт. Потому что был уверен: они бы непременно перебежали к врагу! Это уж точно...

Иногда ко мне заглядывали Сарагыз и ее мать, тетя Нур-биби... Сарагыз, конечно, тут же начинала шутить, что мол, это я все притворяюсь, ничего у меня не сломано, а я просто лежу да коплю силы, чтоб как следует отлупить Меле-шейтана. И еще, "раскрывая большую врачебную тайну», она советовала мне забыть о красивых девушках и побольше есть дынь.

Но после их ухода я опять оставался один... Во второй половине дня было особенно душно. Это тянулось долго, до самой поздней ночи, и лишь потом пробежал ветерок, становилось немного прохладней.

Вот и в тот вечер была духота. Я лежал, глядя, как старшая гелнедже при свете керосиновой лампы латает Юсиковы штанишки. Наконец, и она потушила лампу, поставила ее на

обычное место – в углу, подальше от дверей, чтобы никто не опрокинул в темноте...

Прилетел долгожданный ветерок, сделалось прохладнее. Ребята, до того метавшиеся во сне, теперь успокоились... А я все не спал, словно чего-то ожидая. Так захотелось мне на залитый луною двор, так захотелось уйти за село и глянуть на те прекрасные холмы и дали, которые я так любил. Хотелось сидеть среди лунного свечения и вспоминать, вспоминать – отца, маму, братьев, дядюшку Донлы ага. Всех, кто ушел на фронт, кто бил сейчас врага, кто вернется и кому уже никогда не суждено вернуться...

И потом уснуть. И тогда, казалось, сон мой будет спокоен и счастлив, как бывал только до войны... в детстве...

И вот задремал, наконец... Я увидел небо и луну, которая делалась все меньше и меньше, словно куда-то улетающая...

– Язлы!.. – Я решил, что и этот голос мне только снится...

– Язлы! Нет, он был настоящим!

Особенно я в этом убедился, когда окликнули мою гелнедже!

Причем голос звучал как-то сдавленно, хрипло... Нет, я больше не спал!

В голове поднимались мысли, одна мрачнее другой...

Наконец-то мне все стало ясно!

Меле-шейтан, наверное, к ней подбирался...

Тихо я нащупал крепкую палку, служившую мне костылем, кое-как приподнялся, пополз среди темноты... Просну-

лась и, видимо, вскочила со своего места гелнедже, пробор-мотала что-то испуганным голосом... Что-то упало на пол... Не помню уж как я добрался до выхода. Перехватил по-удобнее палку. Решительным ударом распахнул обе дверные створки. Сразу лунный свет легко и вольно наполнил наш дом.

– Язлы джан, браток!

Человек, словно явившийся на пороге вместе с этим светом, крепко обнял меня. И тогда только я несмело и радостно воскликнул:

– Агамурад! Потом я просто прижался к его просоленной потом гимнастерке и заплакал, как маленький.

Теперь я это мог, имел право реветь в полный голос! Я нес свои обязанности старшего – как умел, изо всех сил. Но теперь – вот он стоит, улыбаясь, мой старший брат Агамурад, которого не было дома целых четыре года...

Да, теперь ты вернулся, Агамурад. И я плачу, потому что счастлив и потому что я опять младший.

О! Мне столько еще хотелось тебе рассказать...

Но странно, именно в эту минуту, все словно исчезло в памяти. И остались только глаза Нурли. Тот самый его взгляд, когда мы прощались... В то далекое мгновение он был мне так непонятен... И лишь теперь, все еще прижимаясь к брату, я понял этот взгляд:

Брат мой, место, которое тебе придется занять, оно так тяжело, что и не выговоришь. Это поклажа для инера». Взгляд

Нурли и жалел меня, и просил быть мужчиной... Поклажа для инера... Лишь в ту ночь, когда вернулся мой старший брат, я со своих плеч передал поклажу ему и снова стал беззаботным мальчиком.

Перевод С.Иванова. 1978 год.

СЕМЬ ЗЕРЕН

Первое увольнение

Весенний день. Выйдя из зеленых ворот со звездами на створках, повернул к югу и пошел по тропинке, ведущей в город. Первое увольнение! Чем ближе подходил я к городу, тем шаги мои становились легче.

Первым делом сфотографироваться. Моя мать и жена просили в каждом письме: "...Пришли свое фото. Хочется поглядеть, каким ты стал солдатом». Получат и обрадуются. Я невольно улыбнулся. Говоря откровенно, мне и самому хотелось взглянуть на себя в десантной форме. Пока я сидел в фотоателье, низко висевшие над городом облака разверзлись. Прозрачные капельки ударились о стволы деревьев и по ним стекали на землю...

Смешавшись со степенными горожанами, брел я по городу и через часок-другой оказался на улице, вымощенной камнем. Эта узкая улочка вела на восточные окраины, дома встречались все реже, а затем и вовсе исчезли. Я и раньше знал, что там речка, огибающая город, будто пугливая лошадь, сторонящаяся опасности. И хотя мне ни разу не пришлось сидеть на ее берегу, я успел подружиться с нею. Мы часто проезжали на машине по мосту. Сейчас река потеряла

летний вид: нет здесь шумного веселья, не видно девушек в купальниках, не снуют лодки вверх и вниз по течению. Но и тот скромный пейзаж, что предо мной, был мне мил.

Рыбацкие челны, привязанные к каменным кольям, слегка покачивались на воде. Я уселся в один из них и стал смотреть на воду да время от времени бросать камешки. Хорошо!..

Однако этот идиллический покой скоро кончился. Я полез в карман, где должна была лежать увольнительная, и не обнаружил ее. Проверил другие карманы – увольнительной нет. Вспотев от страха, выскочил я на берег и принялся обшаривать одежду, только что под собственную шкуру не смог заглянуть. Тщетно.

Оставалось одно – сматываться, и как можно скорее. Я выбрал улицу, начинающуюся у реки, укромную и тихую, куда вряд ли заглядывают патрули. Улица действительно была безлюдна, и вскоре я успокоился.

– Гвардеец! Десантник! Остановитесь! – Окрик прозвучал так резко и так неожиданно – поистине гром с ясного неба. Легко ступая, ко мне шел офицер в сопровождении двух солдат. Сейчас они потребуют мою увольнительную. Что делать?..

От страха не очень-то соображая, что делаю, я повернулся и пулей влетел в боковую улицу. Патрульные от неожиданности растерялись, и я выиграл кое-какое время, но радоваться было рано: лейтенант настигал меня.

– Что делать, что делать? – стучало в висках. – Позор! Поведут под конвоем! Ах, черт, кажется, я в тупик попал. На моем пути вырос многоэтажный дом.

Я ворвался в подъезд и стал толкаться в двери. Одна из них потдалась – и я оказался в комнате. За столом сидели трое и обедали. Увидев незваного гостя, в недоумении переглянулись и уставились на меня. Человек, сидевший во главе стола, приподнялся с места. Его лицо показалось мне знакомым, но вспомнить – откуда, я не смог. К тому же рядом с ним сидела очень интересная женщина: высокая грудь, пушистые волосы и удивление, с каким она разглядывала меня, поглотило мое внимание.

Под взглядом этих глаз я таял, точно лед под солнышком.
– Простите меня... – забормотал я, наконец, – если позволите, я задержусь здесь на несколько минут...

Тяжело переводя дыхание, я топтался у двери.

Человек во главе стола, словно поняв, от кого я убегаю, вдруг с места в карьер стал “чесать» меня, как свояка:

– Поумнеете вы когда-нибудь? Сами-то хоть понимаете, как ведете себя...

Но тут вторая женщина, постарше, видно, жена его, заступилась:

– Коля! Не нужно так... оставь.

Человек замолчал, заходил по комнате – руки за спину. И тут в подъезде забухали сапоги. По очереди стуча в двери, потруль спрашивал меня. Через секунды очередь дошла бы

и до этой квартиры.

Девушка, обменявшись с матерью взглядом, встала и указала на смежную комнату:

– Идите туда!

Я не заставил себя просить. Девушка подала мне стул и положила перед мной кучу газет, а сама, взяв “Огонек», села напротив. Струи свежего воздуха, идущие от форточки, тербели ее волосы, доносили до меня аромат, похожий на запах знакомых цветов.

Однако я не забывал о событиях за дверью и чутко прислушивался.

И тут на глаза мне попала вещь, от которой снова бросило в жар; на спинке кресла висел офицерский китель. В тот же миг стало понятно, откуда знакомо мне лицо хозяина квартиры. Ни больше, ни меньше – вломился я к командиру нашего полка. Если бы он был в форме, я узнал бы его сразу. Непонятно, почему мне сейчас вспомнилось, что “старики» о командире рассказывали: в годы войны, будучи в чине старшего лейтенанта, он командовал батальоном. А командир дивизии, часто посещающий наш полк, в те годы был сержантом в его батальоне.

Ошарашенный своим “открытием» я боялся даже взглянуть на девушку, но тут вошла хозяйка, как ни в чем не бывало, стала рассказывать о своем племяннике, проходящем службу в Москве. Я невольно заслушался рассказом о таком же солдате, как сам. Уверен, что гражданский того не пой-

мет.

Хозяйка показала и фотокарточку племянника – у красной стены Кремля стоял ефрейтор. Он улыбался мне, а я ему завидовал.

Беседа так увлекла, что на мгновение позабылось, где я... Но, улучив момент, мать и дочь поинтересовались, почему мне сегодня пришлось стать “зайцем». Я почувствовал, что дико краснею. Потом рассказал им подробно, от а» до я».

Мать и дочь попросили показать им военный билет и ушли с ним в смежную комнату. Возникшая при этом тишина подействовала на меня удручающе. Вытянув шею, яглянул в окно и увидел патрульных, ожидающих моего появления.

Вернулись женщины с моим билетом и – о чудо! – увольнительной. Я вспомнил, где “потерял» ее: под обложкой военного билета. Спрятал туда для надежности.

Беседа наша стала оживленнее. Выяснилось, что мы немного “земляки»: когда-то молодой лейтенант Тарасов прожил с семьей в моем родном крае целых два года.

Вспоминая о Бадхызе, о его холмах, покрытых алыми тюльпанами, мы становились все ближе друг другу. Я узнал, что женщину зовут Ниной Евстигнеевной, а девушку Таней. Нина Евстигнеевна, извинившись, ушла: дела домашние звали на кухню. Татьяна оказалась книголюбой, как и я, и не прочь была поспорить о книгах. Я бы мог сидеть здесь вечно, но надо было возвращаться в часть.

Поблагодарив хозяев за гостеприимство, я откланялся. При выходе из подъезда Таня догнала меня.

– Мне по пути с вами.

– Вот и хорошо. Вдвоем веселее.

– Моя подруга живет поблизости от вас. Мы с ней договорились пойти сегодня в кино. – “Небось какой-нибудь мужик с длинными волосами и гитарой ваша подруга», – подумал я.

Дождь уже не барабанил по черепичным крышам. С них на землю стекали последние струи, до краев наполняя выемки и колдобины. Возникшие многочисленные озерца постепенно подтачивали собственные берега. Мягкий ветерок нежно гладил все и всех. Он играл Татьяниними волосами, путал их на лбу.

– На меня нашло что-то – пишу и зачеркиваю, – сказала Таня. – А что вы пишете? Литературное произведение?

– “Дайте почитать, – попросил я шутливо.

– Нет, я просто записала несколько рассказов о происхождении городов и сел. А большую часть в моей тетради занимает происхождение имен. По-вашему, какое из девичьих имен самое лучшее?

– Язбегенч, – ответил я, непроизвольно назвав имя своей жены.

Больше вопросов не последовало. Таня лишь улыбнулась многозначительно. Между нами натянуло свой гамак молчание и стало раскачиваться вовсю.

Но вот и знакомые зеленые ворота. Мы остановились.

Стояли и прислушивались к песням, доносившимся с территории полка.

– Получите следующую увольнительную – заходите к нам.

– Спасибо. Если судьба приведет... – сказал я неуверенно.

– Учтите: не придете – мы обидимся. Или напишите вот

по этому адресу, когда получите увольнительную.

Взяв адрес, я попрощался с Таней, и сразу, будто и не был в увольнении, погрузился слухом в методичный стук сапог на плацу.

Земля, небо, земля.

– Рота-а-а, подъем! Тревога!

Эта команда раздалась между тремя и четырьмя ночи, когда сон особенно сладок. Раздирая уши, заскрежетали пружины коек. Парни вместо гимнастерки натягивали через голову брюки, ни у кого не вызывая смеха: каждый торопился и был занят своим делом.

Построив нас перед казармой, командир поспешил к парашютному складу. Грузовые машины раздвигали своим светом темноту, будто снег. Доставка парашютов к машинам – только бегом. Сон улетучился, вместо него над глазами дрожали теплые капельки пота.

Топот сапог напоминал сложные, шумные ритмы какой-то африканской мелодии. Нагруженные машины, не мешкая, отправлялись в путь.

...Перед рассветом мы уже были далеко от расположения своего полка. Сидя на влажной земле, ждали своей очереди

на посадку в самолет. Парни, не любившие долго молчать, собрались вокруг Аноприенко, который, как всегда, повторял: «А знаете ли вы, что случилось потом?» – и, тем поддразнивая любопытство слушателей, начинал читать очередное «письмо» Миши:

«Маменька, твой Мишуля, отсыревший насквозь в этом дождевом краю, посылает тебе большой привет.

Мама! Прежде всего хочется сказать тебе о том, чтобы ты каждую получку посылала мне десять-пятнадцать рублей, а хлопотать с посылкой тебе не надо. Если пришлешь деньги, этого будет вполне достаточно.

А со службой я теперь свыкся окончательно. Являюсь одним из гвардейцев десантной части. То и дело прыгаем с неба на землю. А внизу стоят леса и направляют в нашу сторону острые пики. При каждом прыжке мы теряем 3 кг 48 г собственного веса. Приступая к службе, я весил 78 кг. До сегодняшнего дня я совершил четырнадцать прыжков. Вычти, мамочка, потерянные в воздухе килограммы и узнаешь, сколько во мне осталось веса.

Мама, ты за меня не переживай. Теперь я один из командиров нашей части. Недавно мне присвоили чин ефрейтора. Гордись, маменька, гордись своим отпрыском. Вполне вероятно, что твоего Мишулю могут назначить командиром орудия... Мне предложили стать генералом, но я не захотел этого».

Ефрейтор Аноприенко был сама серьезность, а ребята

смотрели на Мишу и покатывались со смеху. Миша смеялся вместе со всеми до слез. При этом его маленький курносый носик исчезал в толстых щеках.

Миша известен не только в нашей роте, но и во всем полку. Он не из тех, кто действует по принципу – чем дать растоптать свою честь, лучше душу предать огню. Никто не помнил, чтобы он вспылал из-за того, что его вышучивают, напротив, от каждой шутки он, кажется, больше других получал удовольствия. Неспроста же ефрейтор Аноприенко выбрал боксерской грушей именно его. Эти два солдата отличались друг от друга и внешностью и характерами. Мише лень слово вымолвить, а Аноприенко – записной болтун. Миша маленький и толстый – арбуз с ножками. Аноприенко – длинный и худой, мог бы на макушку ему поплевывать. Когда ребята видели их вместе, то говорили: «Идут Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Похожий на аиста огромный самолет присел, вобрал нас в свое чрево и снова поднялся в воздух. Крюки парашютов мы нацепили на кольца, одетые в чехольники. Через иллюминатор была видна белая площадка под облаками. А мысли перешагнули порог родного дома... Вот братишка проснулся и трет кулаками глаза. Каждое его потешное движение вызывало когда-то радостный смех у всех в доме. Я вспомнил, как он неловко гонялся за курами, лепеча: «Садись, садись, моя курочка ряба, и снеси мне яичко...». Поиграть бы с ним в кто победит?!

Приближалось время прыжков. Как только раздалась команда «Приготовиться!», наш ряд, которому предстояло начинать, поднялся.

Я, как и остальные, встал, чуть согнувшись, ухватился правой рукой за кольцо, левую положил на запасной парашют и ждал команды.

– Пошел!..

Ребята посыпались в облака, словно горстями брошенная жареная кукуруза. Падая, я почувствовал, как меня пронзил холод. Ледяные капли с треском ударяли по лицу, попадали в глаза; редкие серебряные облака, одиноко скитавшиеся то там, то тут, окружили мой парашют, проникли в его шатер, дотрагивались до его натянутых строп, пытались увлечь его и меня куда-то в неизвестность.

Наконец приземлился. Внизу суматоха: освобождаясь от парашютов, ребята спешно собирались вокруг командира. Рота вступала в бой. Пришлось долго ползти по-пластунски. Время от времени доставали лопаты и окапывались. Место, называемое «логовом противника», забрасывалось гранатами. Путь преградили дымовые пояса, мы натянули противогазы и растворились в дыму...

В обеденный час все растянулись на траве и достали вещмешки. Потом перекур.

И тут мое внимание привлек Петя Нефедов, сидевший напротив. Его будто знобило, он дрожал всем телом. На одной ноге у него не было сапога.

– Петя, где твой сапог?

– Не знаю. Когда я прыгнул – свалился с ноги, а поискать его в этой спешке не успел.

– Да, неважно получилось...

– Взял сапоги на размер больше, чтобы теплее ногам было.

Эх, будь они неладны! – ругнулся Петя.

– Достань теперь сапоги! – проворчал с упреком Бочков.

Петя окрызнулся:

– Заткнись, Бочок. Погрызи лучше сухари, твоему желудку полезно.

Я достал из вещевого мешка запасные портянки. Бочков, хоть и надулся, принес древесную кору. Соорудил из нее подобие лаптя и приладил на ноге у Пети. Получилось как в поговорке: «Покуда доставят палки, пускай в ход кулаки».

Аноприенко, не переставая жевать, сочинял очередное письмо Миши, написанное им якобы девушке:

«Здравствуй, милая Катя. Увидев в газете твой портрет, я влюбился в тебя с первого взгляда, как говорится – с бухты-барашты. С тех пор стремлюсь я успокоиться, усиленно курая, грызя сухарь, но ничего не получается. Я влюбился в тебя так глубоко – до самых почек, как Ромео в Джульетту. Каждый час я гляжу на твой портрет и поглаживаю его так же, как свой противогаз, только еще нежнее. А давеча перед боем ты даже приснилась мне. Твои жесткие волосы я гладил ладонью, но тут меня грубо разбудили щелчком в лоб. Оказывается, за твои волосы я принял усы Аноприенко».

Миша сидел, прислонившись к стволу дерева, затягивался сигаретой, щурил глаза на Аноприенко и улыбался. А я снова мысленно очутился в родных краях и видел круглое личико моей жены. Она вглядывалась в меня своими теплыми, ласковыми глазами и была такой же, как последний раз на вокзале. Она что-то шептала, и я догадался: “Со дня разлуки с тобой прошло 397 дней...»

Так она мне писала в письме.

Голос неумолчный

Раздался протяженный вопль. Наш взвод, пробирающийся лесом на стрельбище, остановился и прислушался.

Вопль доносился откуда-то справа из-за дубовых стволов. Временами он прерывался, и тогда слышалось чье-то тяжелое дыхание. За деревьями мы увидели корову, которую засасывало болото. Ее глаза, застывшие от ужаса, были круглы и огромны. Мы без слов приступили к делу. Наложили веток. Приволокли бревно. Аноприенко, измазанный черной глиной, отыскал коровий хвост, а Миша ухватился за рога.

Корова стронулась с места. Теперь можно было просунуть бревно ей под брюхо. Наконец, мы вытянули ее на твердую почву. Лейтенант, глянув на часы, заторопился:

– Задержались на тридцать пять минут. На стрельбище уже давно ждут нас, живее, живее!

Ребята, довольные сделанным, и без понуканья торопились. Аноприенко вновь нашел повод почесать язык:

– Товарищ лейтенант, если вы и на сей раз не накажете Мишу, будет несправедливо. Видели, как он присосался к коровьему вымени? Товарищ командир, накажите его. Накажите за то, что он высосал чужую долю молока. Он, товарищ лейтенант, ребенка-теленка обидел. Если не верите, посмотрите на его губы.

Мы взглянули на Мишу. В самом деле его губы были вы-

мазаны глиной. Ребята заулыбались. Корова посмотрела нам вслед и протяжно замычала: “Мо-о-о-о». Тут уж нас и вовсе смех разобрал: “С Мишей прощается».

Тринадцатый

Сегодня нам велено тщательно осмотреть свои парашюты. Это всегда делалось перед прыжками. Значит, дня через два-три опять прыжки.

Но уже на следующий день «ГАЗ-69» повел за собой караван автомашин с десантниками-парашютистами. На земле и деревьях лежал снег – зима. И ветер, швыряя этот снег туда-сюда, заставлял нас ежиться. Мороз покусывал нос и уши, словно собака, когда та, играя, пытается порвать мохнатый тельпек.

Только в самолете по телу разлилось тепло. Моя рука – на запасном парашюте. На нее падают капли. Это тают снежинки на капюшоне.

Самолет набрал высоту и раскрыл люк. Ветер, ворвавшийся внутрь, расшевелил ребят, разомлевших от тепла. Сидим, глядим на поверхность облаков. Тут же команда: «Приготовиться!»». И следующая: «Пошли!»». Падая, я закрутился, как волчок. И почему-то растерялся. Дернул кольцо значительно раньше положенного времени и почувствовал, что лечу вверх тормашками, ноги выше головы – запутался в стропах парашюта. Удалось освободить одну ногу. Но для второй уже не осталось ни сил, ни решительности.

Земля летела мне навстречу, а я, словно парализованный, бездействовал и знал – после падения никакой мастер-хи-

руг меня не соберет.

И тут с земли донесся глуховатый голос:

– Не паникуй, гвардеец. Достань нож и перережь стропы. Спокойно. Нож твой на поясном ремне. Спокойно...

Солдатскому оружию спасибо! Нажал кнопку, – со щелчком обнажилось лезвие ножа. Ветер подхватил концы перерезанных строп, на душе полегчало. Я взглянул на свой надутый парашют, напоминавший камышовую циновку, на белые купола других парашютов, готовых уже приземлиться, и рассмеялся: хорошо все-таки жить!

До земли оставался совсем пустяк. Тот, поддерживающий меня глуховатый голос, раздался снова:

– Не торопись. Сведи ноги, носки и пятки вместе. Задние лямки подтяни еще: ветер восточный, не забывай – приземляться по ходу ветра...

Глянув вниз и заметив толпу людей, глазевших на меня, я смутился. Расстояние между нами сокращалось быстро... 50 метров... 30... 10... Земля!

Ребята подбежали, помогли подтянуть парашют, который волок меня по снегу. Увидев торопливо идущего Тарасова с рупором в руке, я быстро прикинул: “На худой конец – десять суток гаупвахты. Правда, зимой на ней холодно, ну, придется потерпеть».

Я не успел еще освободиться от парашюта, но, вытянувшись по стойке смирно, отрапортовал:

– Гвардии ефрейтор Назаров выполнил тринадцатый пры-

жок. Подполковник обвел окружающих взглядом искомандовал:

– Полк... смирно! За проявленную находчивость и умелые действия в воздухе гвардии ефрейтор Назаров награждается значком «Парашютист-отличник».

– Служу Советскому Союзу! – Произнеся эти слова, я почувствовал, что голова вскинулась, а грудь выпятилась вперед.

...Прошло дней десять-пятнадцать. Я был дежурным по кухне. Вошел Петя Нефедов с газетой и ткнул пальцем в статью под заголовком «Тринадцатый для десантников не опасный».

Теплый день

Последнее письмо, полученное от Тани, не шло у меня из головы. "...Иногда так хочется повидаться с вами. Скучаю о вас, и моему сердцу мало места в груди и в целом мире. Я мучаюсь и думаю, думаю... Подхожу к вашим зеленым воротам, прислушиваюсь к вашему пению...»

Письмо кончалось немного странной фразой: "Ах вы, мои воины, как я вас люблю».

Я сделал вывод – это слова признания. Но почему во множественном числе – мои воины?

Заколебался: нет, Нуры, ошибаешься. Погляди чуть дальше носа. Она же видела твой военный билет. А в нем все указано, вплоть до дня рождения твоей жены. И то, что моя молодая жена в ожидании меня проглядела все глаза, ей тоже известно. А Таня ничуть не похожа на эгоистку.

Я даже стал подсмеиваться над собой: "Мало ли в городе слоняющихся солдат? Тоже мне – неотразимый сердцеед". Но письмо продолжало волновать.

Решил в ближайшее увольнение поговорить с Таней. В голове вертелась наивная мысль: "Если поговорю с ней – избавлюсь от этих дум. А может быть, я должен ее возненавидеть? А за что? За то, что она приветлива, ласково встречает меня, или за то, что говорит: "Солдаты, я вас очень люблю»?

Но увольнение не так-то легко получить. Если я обращаюсь

к ротному, он, несомненно ответит: «Товарищ ефрейтор, вы были в увольнении недавно. В роте вы не один, подождите, дойдет до вас очередь, вот и пойдете».

И тогда я решил обратиться к комбату. Стал придумывать причину встречи с ним. Однажды я увидел его среди солдат, поливавших газоны. Цветы еще в начале весны сеял вместе с нами сам комбат.

Я подошел к нему строевым.

– Товарищ майор, разрешите обратиться?

– А ну-ка валяй, послушаем. что ты нам скажешь.

– Товарищ майор, мне необходимо в город в предстоящий выходной день! – выпалил я неожиданно для себя. Комбат удивил меня гораздо больше, чем я его, наверное:

– Товарищ ефрейтор, я собираюсь направить вас на кратковременные курсы сержантов. После окончания курсов вернетесь в свою роту и вместо сержанта Корытко будете командовать отделением. Послезавтра утром зайдите в штаб, там выпишут вам документы.

Мне оставалось поднести руку к кромке берета:

– Слушаюсь, товарищ майор.

Спасибо курсам – в выходной день я смог выйти в город, и очень кстати: мое письмо, срочно отправленное Тане, дошло до адресата.

В городском парке я нашел ее очень быстро. Она сидела на зеленой скамейке недалеко от фонтана и листала книжку. Решили начать прогулку с леса. Безлюдная тропинка, изви-

вавшаяся между деревьями, провела нас в молчаливую его глубину. Ароматный от запаха цветов лес полон неожиданностей: то, волоча за собой пушистый хвост, пробежит белочка, то с треском ринется прочь пугливый олень. Крученая тропиночка, наконец, привела нас к реке.

Сновали рыбацьи лодочки. Мальчишки и девчонки с радостными криками играли в какую-то игру. На берегу загорали, лежа на стеганых одеялах.

– Десант, неплохо бы искупаться, гляди, какой погожий день, будто по заказу, – предложила Таня.

Да, жаркий день в этом пасмурном крае – событие довольно редкое. Я даже улыбнулся: не забрело ли сюда по ошибке каракумское солнце?

Мое молчание Таня поняла по-своему:

– Не хочешь купаться – не надо. Сиди и наблюдай. А я окунусь пару раз. Все ясно. Решила, что я не умею плавать.

– Танюша, если я вдруг начну тонуть – спасешь? – почти трагически сказал я, но она не заметила подвоха и упростила купаться, где мелко.

Я нырнул и, вынырнув далеко от девушки, поплыл к другому берегу. Когда вернулся, нашел Таню обиженной.

– Шутник, тоже мне... Страдай тут из-за него, бойся как бы не утонул!

А я, честно говоря, не мог от Тани глаз отвести, так она была хороша в купальном костюме. Стройное белое тело девушки словно светилось изнутри.

– Позагораем?

– Конечно!

Я и не знал, что это такое удовольствие – лежать под теплым солнцем. А Таня вдруг вскочила и, сорвав с моей головы берет, которым я прикрыл глаза, бросилась бежать, крича:

– Хватит валяться, лодырь! Попробуй-ка догнать!

Она бежала и смеялась, а мне показалось, что гонится она за собственным смехом. Ее распущенные волосы развевались за спиной.

Великолепное зрелище. И потому, наверное, я бежал не особенно быстро. Но в конце-концов все же догнал ее и взял за руку. Тяжело дыша, Таня закрыла глаза и прислонилась ко мне, что-то шепча. Я затаил дыхание.

– Милые мои солдаты...

На берегу народу прибавилось. А мне хотелось сидеть здесь. Сидеть и наблюдать за волнами. Отчего мы с этой рекой так сблизились? Была у меня на этот счет одна догадочка: река похожа на мой Мургаб.

– Ах, побольше бы таких дней... – Таня сидела рядом, она коснулась моего плеча.

– Научишь меня нырять, как ты?

Глядя друг на друга, мы улыбнулись, и я забыл о том серьезном разговоре, ради которого пришел на встречу.

Ночь в поле

Наша рота первой закончила прыжки, но на сей раз мы должны были остаться и собрать парашюты тех, кто будет прыгать после нас. Ребята, недовольные, ворчали:

– С какой стати мы должны собирать чужие парашюты?

– Почему мы должны обслуживать растяп, не способных обслуживать самих себя?

– Мы не музвзвод. Наша рота на смотре завоевала оценку “отлично»!

Услышал замполит, разулыбался, подтвердил:

– Да, у командования мнение о нас неплохое. Но возмущение ваше неуместно – приказы надо выполнять.

Роты, приземлившись, поспешно освобождались от парашютов и исчезали в лесу. Оттуда доносилась автоматная трескотня и артиллерийская канонада.

А мы, собирая и подтаскивая парашюты, злились: чем мы хуже других? Один только Миша, вразвалочку расхаживая по лужайке, не унывал. Но и он продолжал настырно бубнить:

– Товарищ командир, мы не пташки из музвзвода. По-моему, товарищ командир, этот приказ не того... Пусть парашюты собирают те, кто напевают “до-ре-ми-фа- соль», это им очень идет...

Через три часа наш ротный пересчитал собранные пара-

шюты и сделал отметку в блокноте. Ребята сели перекурить, а мне командир поручил построить свое отделение.

Я подумал, что нас сейчас отправят на помощь «к воюющим», и оживился. Бойко доложил о готовности второго отделения.

– Вы остаетесь здесь, около парашютов, – прозвучал в ответ приказ. Всё в том же унылом настроении и от нечего делать ребята разбрелись собирать грибы, только Миша предпочел вздремнуть на траве.

Лес был недалеко. Он стоял, словно подняв по тревоге свой листовенный полк, и глядел куда-то вдаль, поверх хлебных полей. Пшеничное поле, готовое уже к жатве, казалось мне родным. Ветерок доносил запах прогретых солнцем колосьев.

Сорвав колосок, я раздавил его в ладони, сдул шелуху и увидел крупные зерна. Их было семь. Подумалось: прямо как в притче. Я вспомнил, как ел когда-то из чашки солоноватую вареную пшеницу. На душе было радостно, и я запел...

Зашло солнце, ребята, вернувшись из леса с добычей, нализывали на палочки грибы и жарили их над углями. Запах жареных грибов нестерпимо разжигал аппетит. Поблизости была деревня, где можно было бы взять продукты. Но разве они сравнятся с жареными грибами!

Грибы готовы. Каждый съел свою долю. А машин все не было.

Глубокой ночью дежурный растолкал меня:

– Товарищ сержант, машины, кажется, идут. Будить ребят?

И в самом деле доносился гул, однако он не был похож на гул машин. Свет бороздил пшеничное море. “Наверное, тракторы», – подумал я.

И тут же крикнул одни из ребят, проснувшись от наших разговоров:

– Танки идут! – Услышав про танки, я проворно вскочил, за мной все остальные.

Танки двигались в сторону хлебных полей. Вслед за мной в пшеничное поле юркнул Аноприенко. Стараясь перекрыть грохот ползущих прямо на нас танков, мы орали во все горло:

– Стой, стой! Нас заметили.

Передний танк остановился. вслед за ним остановились и остальные.

Открылся люк, и офицер, вышедший из танка, не разобравшись что к чему, стал кричать на нас:

– С ума посходили, что ли? Жить надоело, да?

– У вас, кажется, язык длинный, а ум покорооче Надо глядеть в оба, коль сели в танк, а не спать! – Если бы он взял меня за грудки, я бы мог, позабыв разницу в звании, дать сдачи.

Командиры других машин тут же выяснили ситуацию. Пожилой офицер поддержал нас. Но не преминул подтрунить:

– Ну, десантники, значит, караулим пшеницу?– Защищать святое – это дело десантников, товарищ полковник, –

нашелся Аноприенко, у которого, как известно, хорошо подвешен язык.

Полковник наказал танкистам соблюдать осторожность. Танки снова ожили. Стоявший рядом с нами тоже взревел, затем развернулся и будто отомстил за хозяина: комок глины, вырвавшийся из-под гусеницы, залепил мой глаз.

Крикнув «ой», я повалился в пшеницу. Ребята протерли мне глаз, но это не помогало. Они суетились и хлопотали вокруг меня, просили: «Заплачь, ну, давай, заплачь!», а я только челюсти сжимал.

Аноприенко перебил их:

– Миша, ну посоветуй, что делать? Ведь поблизости воды даже нет. Послать человека в деревню? Вызвать сюда врача? Ну, скажи хоть что-нибудь, не проглотил же ты свой язык!

– Откуда я знаю, что делать. Наверное, надо вызвать врача. А может, сам сержант скажет...

– Если надо сходить за водой, то я могу, – предложил один из ребят.

– Нет, пусть ходит Гриня. Он бегает хорошо.

Каждый предлагал свое, и потому они никак не могли прийти к определенному решению. Вдалеке замаячил неясный силуэт. Это была тележка-одноколка. На ней сидели двое: рыженький возчик лет сорока и пассажирка – женщина с ребенком на руках. Телега со скрипом подъехала к нам и остановилась. Извозчик-коротышка, увидев мой глаз, сочувственно покачал головой:

– Как бы зрение не пострадало!

И тут всех удивила женщина. Уложив ребенка на траву, она одной рукой открыла мой глаз, другую просунула за кофту и достала оттуда налитую материнскую грудь. Струя молока ударила мне в лицо.

Ребята притихли, ошеломленные, а я после этого промывания почувствовал облегчение и решил открыть пострадавший глаз. Глянул через плечо женщины и увидел волнующееся хлебное поле...

Два письма

Сначала я любил глядеть в окно госпиталя на деревья. Потом и они приелись. Я тосковал.

Вспоминались ребята нашей роты. Я их видел то за укладкой парашютов, то у полкового знамени. Про себя давно решил – как только снимут повязку с глаза, здесь не задержусь, а если не отпустят, придумаю что-нибудь, ребята помогут. Единственным утешением были два письма, оставшиеся в кармане с догоспитальных времен. Одно – от Язбегенч. Хотя я знал содержание письма наизусть, все равно повторять его еще и еще доставляло мне радость.

“...Сажусь писать тебе и чувствую: ты стоишь где-то рядом со мной.

Все мы здесь живы и здоровы, такие, какими ты оставил нас. Отец возится со своим трактором, твои младшие братишки да сестренки в эти дни помогают колхозу собирать хлопок, а я занята школьными делами.

Ты можешь спросить: “Есть ли время на то, чтобы вспомнить меня?». А я отвечу – ты все время со мной, стоишь перед глазами. Когда приходит почтальон и твои младшие братишки и сестренки выбегают навстречу ему: “Принес ли от нашего братика Нуры письмо?», я успеваю первой схватить твое письмо.

Со дня разлуки с тобой прошло 524 дня с сегодняшним.

Скоро, скоро ты возвратишься.

До свидания. Живи и здравствуй, где ты пребываешь. Пиши почаще. Хоть писем не жалея для нас... Твоя жена, проглядевшая все глаза в ожидании».

Второе письмо Танино.

“...Ты думаешь: “Она пропала без вести», и, действительно, я далеко от вас. Судьба забросила меня из Прибалтики на Дальний Восток.

Ты помнишь случай, когда мы ходили к старой крепости? Ты открыл мою сумочку, чтобы достать спички, увидел в ней фотографию курсанта. Теперь он артиллерийский лейтенант. Тогда он приехал домой на каникулы, и мы познакомились с ним у моей подружки. Но ты решил не заметить этой фотокарточки, во всяком случае ни о чем не спросил. Может быть, ты был прав...

Недавно мы сыграли свадьбу – можешь поздравить меня. Устроились хорошо, имеем двухкомнатную квартиру. Привыкаю к городу, читаю книги. В нашем городе морозно и снежно, но когда есть человек, согревающий твое сердце, холод нипочем!

Служи в здравии, Нуры. Желаю с честью закончить службу и радостно встретиться с женой. С глубоким уважением к тебе. Татьяна».

М-да, вышло именно так, как говорится в пого: “Мальчик торопится, а тутовник созревает в свое время». Через двадцать дней врач-майор написал, что теперь я совершенно

здоров. На следующий же день, собрав свои вещи, я отправился в часть.

Самая короткая ночь

Вместо эпилога

Я шагал, следуя за разводящим. Место назначения – склад нашего полка, где хранился картофель. Этот пост у нас считался крайним. Склад окружала поляна, где с первых дней весны и до поздней осени зеленела буйная трава.

Стоя на посту днем, я обычно встречал здесь старого лесника. Он появлялся в деревьях и уходил по тропинке, бегущей меж заграждений из колючей проволоки. Иногда он напевал непонятные песенки и сам был мне непонятен: окружающее его будто не интересовало.

Сегодняшний наряд начинался с ночи. Луна, поднявшаяся, плавающая в зеркальной глади реки, осветила все вокруг; свисающие ветки деревьев похожи на распущенные волосы, и в них – силуэт девушки...

Временами девушка нагибалась и присматривалась к тропинке. Может быть, прислушивалась к шорохам. Вскоре я заметил – кто-то мчится по берегу. Не добежав до девушки, остановился и, присев на корточки, стал пить. Затем они поравнялись.

– Лайма, ты знаешь, мама попросила навестить сестру в соседнем колхозе, сама она больна. А придешь – не отпустят, чтобы не усадить за стол, – сказал он и взял девушку за руку.

– Я бы и до рассвета ждала, – прошептала девушка.

Парень некоторое время глядел в ее освещенное луной лицо. Потом опустил глаза.

– Лайма, ты мне будешь писать или...

– Конечно, напишу. А что значит это “или»? – спросила девушка.

– Этим “или»... Если ты можешь поступить как Януте, скажи мне об этом сейчас, чтобы у меня не было никаких надежд. Девушка обиделась.

– Не все мы похожи на Януте. Если девушка настоящая, у нее и в мыслях нет угождать всем парням подряд. Давно известно, что нельзя согреть всех мужчин, как солнце.

Девушка отвернулась.

– Лайма, прости, милая, ты же знаешь, завтра, завтра я уезжаю служить. Пришлось немного выпить... ты прости... давай немного пройдемся.

Девушка молча согласилась и пошла рядом с парнем. Луна все светила. Парень говорил:

– Эта ночь не исчезнет из моей памяти.

– А... меня, меня ты будешь вспоминать? – спросила девушка.

– А зачем мне эта ночь без тебя? Девушка взяла его руку и, будто говоря, слышишь, как бьется сердце, прижала к своей груди. Они сидели на берегу реки, слушая звуки бурлящей воды и шелест листьев. И ночь была длинной для меня, для них – короткой.

На рассвете пришло время прощаться. Глядя друг на дру-

га, они стояли несколько минут. Девушка ждала, что первым заговорит парень. Но он, ничего не сказав, привлек ее к себе и стал целовать в лоб, в щеки, в глаза.

– Жди меня, Лайма!

– А ты почаще пиши, ладно? – Парень кивнул, а девушка вдруг заплакала.

Ветерок донес солдатскую песню со стороны нашего полка:

Не плачьте вы, меня провожая,

Уходит в запас солдат...

И девушка, будто отвечая этой песне, зашептала:

– Я не плачу, зачем мне плакать... Он отслужит срок и вернется.

Она постояла еще немного, глядя в ту сторону, куда ушел парень, а мне захотелось крикнуть ей: “Дождись его, Лайма! Люби его. Ты и не знаешь, что значит для солдата верность. Это слово вписано в присягу!».

Перевод С.Залевского. 1972 – 1974 гг.

ДЕСТАН МОЕЙ ЮНОСТИ

Было это, кажется, в тридцатом году. Или в двадцать девятом?.. Во всяком случае не в тридцать первом. Тридцать первый – это год, когда не стало Арнагельды ага и Ивана Поскербко...

Точно, в тридцатом. Осень стояла долгая, затяжная. Помню: все чаще и чаще задувал холодный в тот год ветер, уже облетели листья с деревьев, но настоящая зима долго еще не приходила.

Наш конный добровольческий отряд, который жители округа называли просто «отрядом Арнагельды», стоял в урочище. Басмачам, контрабандистам казалось тогда, что границу перейти проще всего именно здесь, в Пенди, поэтому бойцам заставы Ивана Поскербко приходилось почти каждую неделю вступать в стычки, а то и в кровопролитные схватки с нарушителями. А наш отряд и помогал пограничникам.

Большая группа тех, кто, оставив родную землю, хотели уйти за кордон, попытались, разделившись и обтекая Тахта – Базар, прорваться на ту сторону. Пограничники решили задержать их в Бадхызе, наш отряд ждал их на другом берегу Мургаба – в Карабиле. Ни пограничникам, ни нам остановить тех людей не удалось – обычно мирные, они, встретив противодействие и защищая свое право поступать так, как считают нужным, навязали бой. Некоторые из них погибли,

некоторые рассеялись в пустыне, некоторые все-таки сумели прорваться через границу.

На следующий день после этого происшествия, утром, меня вызвали в штаб отряда.

Там, кроме Арнагельды, оказались еще двое: за столом сидели хмурый командир пограничников Поскребко, у стены, на полу, отвернувшись, закрыв лицо паранджой, пристроилась какая-то женщина. Увидев женщину в казарме, я удивился. Исподтишка с любопытством нет-нет да посматривал на нее – молоденькая, судя по всему: сквозь ситец паранджи угадывалось, что хрупкая, плечи угловатые, да и кожа на крепко сцепленных руках гладкая, девичья.

– Знаешь, для чего я тебя вызвал, Максут? – Арнагельды, шагавший из угла в угол, остановился передо мной. Я, не мигая, воспросительно смотрел на него, всем видом давая понять, что очень хотел бы узнать, зачем меня вызвали.

– Даю тебе задание, Максут, – Арнагельды посмотрел мне в глаза. Тебе придется эту женщину, – показал взглядом на сидящую у стены, отвезти к ее родственникам, в Хиву.

Узнав, в чем дело, я облегченно заулыбался.

– Ты ведь с детства ходил с караванами и в Бухару, в Машат и в Хиву. Наверное, не забыл дорогу?

– Дорогу, конечно, помню, – заверил я.

– Передашь женщину родственникам из рук в руки, – продолжал Арнагельды. – Пусть все видят и знают, что большевики заботятся не только о судьбе всего нашего края, но и о

судьбе каждого человека в отдельности. Даже такого, который чуть не наделал глупостей... – Он помолчал, усмехнулся. – Некоторые думают и уже распускают слухи, что мы отдадим под суд или даже расправимся с Айнабат, как с врагом. Надо показать, что невиновных мы не наказываем.

И посмотрел на Ивана Поскребко. Тот, сидел, слушая нас, нервно расстегивая пуговицы гимнастерки, и хоть плохо знал туркменский язык, видно, все понял. Кивнул в знак согласия.

Арнагельды опять повернулся в мою сторону. Объяснил, что Айнабат вместе с мужем и его родственниками была в той группе, которая хотела прорваться через Бадхыз.

– Ах вот в чем, оказывается, дело! – Вспомнив этот случай я подумал: “Женщина не виновата, она лишь выполняла долг жены, когда уходила с мужем на ту сторону». – А я думал, мне опять патрулировать в пустыне... – Все сделаю, Арнагельды ага, – заверил я. Доставлю женщину в Хиву.

– Ладно, иди, готовься в дорогу, а я подумаю, кого тебе дать в помощники...

– Я пошел в казарму и стал готовиться в дорогу. Когда я уложил в хурджуны* все, что может понадобится в пути, – съестные припасы, кое-какие медикаменты на всякий случай, когда получил дополнительно патроны, и вышел во двор, то понял, что в напарники мне Арнагельды ага выбрал высокого, степенного, лет за пятьдесят, Ахмед-майыла – тот деловито снарядил верблюда.

Сначала я даже не узнал старика – такой нарядный, праздничный он был: в белой, с крупными завитками папахе, в длинном, до колен чекмене из тонко выделанной шерсти, подпоясанном шелковым кушаком, в мягких новых сапогах из бычей кожи – жених да и только! Молодец, хорошо подготовился: настоящий старший родственник, который едет в гости. Я, в своем стареньком, потрепанном халате, в стоптанных сапогах, не очень-то похож на молодого, счастливого мужа. Но что делать, другой одежды у меня нет.

Мы с Ахмед-майылом вывели своих коней денника, принялись седлать их. Некоторые бойцы делали вид, будто не замечают наших сборов – ну поехали двое на задание, что тут такого; другие с праздным видом топтались рядом, но поглядывали завистливо – повезло, мол, уезжаете, однако ни о чем не спрашивали: интересоваться кто? куда? зачем? – не полагалось.

На крыльцо стремительно вышел Арнагельды ага; за ним, съжившись под паранджой, опустив голову, – Айнабат; следом, вразвалку, русский командир Иван Поскребка. Он, сощурившись от солнца, внимательно оглядел нас, хмыкнул. Женщина подошла к лежащему верблюду, села на него. Верблюд, не прекращая размеренно и лениво жевать, колыхнулся, медленно и, словно нехотя, поднялся с колен.

Пока ехали через Тахта-Базар, возглавлял наш маленький караван старший по возрасту – Ахмед-майыл; я – замыкал. И поэтому волей неволей все время видел перед собой Ай-

набат. Она, настроившись на долгую дорогу, приняла самую удобную позу, когда меньше всего устаешь, – выпрямилась. И обрела гордый, независимый вид. Ткань паранджи в такт мерным шагам верблюда обтягивала, облепляла тело женщины, смутно выделяя лопатки и верхнюю часть позвоночной впадинки. Я, стыдясь чего-то, отводил глаза, чтобы вскоре снова украдкой посмотреть на молодую вдову, пытаюсь увидеть, угадать под ее одеждой контуры юного, почти девчоночьего тела.

Как только углубились в пустыню и Тахта-Базар скрылся за высокими барханами, поросшими джейраньей чашей, Ахмед-майыл придержал коня. Я, обогнув верблюда, проехал вперед, занял место во главе нашей троицы. И больше, до самого привала, Айнабат почти не видел. Лишь иногда, делая озабоченное лицо – все ли, мол, в порядке сзади? – оглядывался, бросал мимолетный, словно случайный взгляд на женщину, и каждый раз мне казалось – она понимает, что обернулся я лишь для того, чтобы посмотреть на нее, и опять мне делалось отчего-то стыдно. Но и радостно одновременно: стало казаться, хотя я и знал, что придумал это, будто улавливаю сквозь черную сетку паранджи равнодушный, почти ласковый, взгляд, будто бы видел даже сдерживаемую доброжелательную улыбку.

Медленно ползло по белому небу жаркое, совсем не осеннее солнце; медленно полз по белой земле наш караван, огибая бесконечные, то пологие, то крутые, песчаные волны. Но

вот тени удлинились, свет, разлитый вокруг, уже не слепил, стал спокойным, потянуло пока еще еле ощутимой вечерней прохладой. Я по привычке внимательно посматривал по сторонам, поднимаясь на стремянах, прислушивался – не покажется, не послышится ли что-нибудь подозрительное? – а перед глазами неотступно стояло видение: верблюд с женщиной в цветастой парандже...

Тропа вывела нас к реке Кушка, которая сейчас, осенью, превратилась в скромный ручей, который тихонько побулькивал на маленьких камушках. Около черного круга кострища, на небольшом прогале в зарослях тамариска, я спешил – здесь все путники всегда делали привал. Подошел к верблюду, ударил его по одному колену передней ноги, по другому, чтобы опустился, дал наезднице слезть. И, не глядя на Айнабат, вернулся к Боздуману. Расседлал его. Потом и второго коня, хозяин которого – большой любитель поесть и особенно попить чай, уже, несмотря на комплекцию, юрко сновал в кустах, собирая хворост для костра. Предчувствуя чаепитие, Ахмед-майыл повеселел и, разводя костер, даже запел вполголоса:

Лучшие дрова – ветки тамариска,

Лучшая еда – дограма.

А если еще и ешь рядом с женой,

Нет ничего вкусней на свете.

Я знал, что за ужин можно быть спокойным: Ахмед-майыл приготовит все, как в самой лучшей чайхане. Знал я и то,

что напарник не любит, когда около него крутятся в это время, но продолжал пялиться на Ахмед-майыла – не хватало духу повернуться, потому что за спиной была Айнабат, и я оробел.

Ахмед-майыл, высекая кресалом искры, посмотрел на меня.

– Не пора ли напоить коней? – напомнил.

– Пожалуй, да. – Я знал, что мне давно надо бы заняться делом, но продолжал медлить. Ахмед-майыл понял это по своему:

– Не бойся, они уже остыли... И обязательно сними с них седла, попоны – пусть солнце поласкает, погладит ласковой рукой наших коней. Отец мой любит повторять; наши кони состоят наполовину из солнца. Вот так-то, сынок.

Я развернулся. Верблюд, оказывается, забрался в заросли тамариска и с удовольствием обдирал губами ветви. А Айнабат не было. Ушла, наверное, к речке.

Я почувствоал, что улыбаюсь. Взял под уздцы коней, направился к Кушке, стараясь, сам не знаю почему, идти бесшумно, чтоб сухой сучок под ногой не хрустнул, песок не зашуршал.

Айнабат стояла около воды, рядом с паранджой, которую набросила на низкорослый куст. Круглое лицо женщины с чуть раскосыми, остановившимися глазами, словно всматривающимися во что-то далекое, было бледное и точно окаменевшее. Она замерла с поднятыми к голове обнаженными по

локать смуглыми руками, на которых еще поблескивала не высохшая вода – поправляла иссиня черные тяжелые волосы и, видно, задумалась, да так глубоко, что забылась, оцепенела.

Мой Боздуман вопросительно фыркнул – вода рядом, а хозяин чего-то ждет, остановился. Айнабат еле заметно вздохнула, медленно повернулась ко мне головой. Поджала губы, не спеша опустила руки, плавным движением сняла с куста паранджу и – скрылась под ней.

Я, делая вид, будто не обращаю на женщину внимания, подвел коней к речушке-ручейку. Остановился глядя на воду и не видя ее. «Айнабат... Айнабат... Красавица». В голове шумело, кровь не успокаиваясь, билась в висках, во рту пересохло.

Очнулся от насмешливого оклика Ахмед-майыла:

– Э, Максут, ты не утонул? – Он засмеялся. – Иди, ужин готов!

Я торопливо вернулся к стоянке. В сгустившихся уже сумерках весело переливалось желтое пламя костерка, над которым побулькивал тунче. Оказывается, Ахмед-майыл тоже ходил к речке за водой. А я его и не заметил – готовил чай-шурпу.

Я стреножил коней, взмахнул руками, отгоняя, – паситесь, отдыхайте, – достал из хурджуна свою пиалу и подсел к костру.

Ужинали молча. Ахмед-майыл смаковал хлеб: прихлебы-

вал чай-шурпу, старательно жевал, отчего редкие усы его шевелились и напоминали мохнатых гусениц, которых много бывает по весне, побряхтывал от удовольствия, постанывал, изредка вытирая огромным платком пот со лба и макушки наголо бритой головы. Я же от этого безмолвия мучился – сидим, точно на поминках. Пристально, не мигая, глядя в костер, то лихорадочно, то отупело придумывал, о чем бы поговорить – очень уж хотелось отвлечь Айнабат от ее тяжелых мыслей: может, немного встряхнется, может, хоть на время позабудет о своем горе. Но так ничего и не придумал – как начать? с чего?

– Ладно, давайте спать! – приказал я, когда увидел, что даже Ахмед-майыл, кажется, наелся. – Выйдем рано, чтобы не тащиться днем по жаре.

– Вот это правильно, – обрадовался Ахмед-майыл. – Так у нас быстрее дело пойдет. Скорей до нужного места доберемся. Он бодренько завернул в платок-скатерть остатки еды, собрал посуду и, отойдя в сторону, принялся мыть ее, поливая из казанка.

Я вынул из хурджуна большой квадрат тонкого войлока, отнес Айнабат. Она разостлала, легла на краешек, укрылась другим концом и, скорчившись, поджала ноги, застыла, больше не шелохнувшись. Я лег около затухающего костра на попону, уложил поудобней голову на седло, закрыл глаза. Ахмед-майыл, побряхтывая, бормоча что-то, тоже улегся рядом и скоро затих.

Пофыркивали иногда кони, похрустывал ветками верблюд, забившийся в заросли тамариска, изредка что-то шуршало, вспискивало, наверное, совсем рядом охотился варан. Сквозь неплотно сомкнутые веки я увидел красноватое пятно углей костра, а в нем – лицо Айнабат; мучительно окаменевшее, каким было недавно у Кушки; глаза с болью, строго и требовательно смотрели прямо на меня, но вот они потеплели, в них появилась надежда, потом – радость; лицо смягчилось, оживилось и... Айнабат заулыбалась. И я вижу, что она, оказывается, откинув штору, стоит в дверях дома – нашего дома! Руки ее, красивые тонкие руки, так же, как сегодня вечером у речушки, обнажены по локоть, но они не в капельках воды, а в муке и тесте, потому что Айнабат не в силах скрыть своей радости. Тихим, но звонким, мелодичным голосом жена моя Айнабат зовет: «Сынок, доченька, идите скорей, папа приехал!». А я не спеша, как и полагается главе семьи, уже слезаю со своего Боздумана и, раскинув руки, ловлю, обхватываю примчавшихся ко мне со всех ног шустрых, веселоглазых, черноволосых и круглолицих, как мать, ребятишек – мальчика и девочку, моих сына и дочь. Поднимаю их на руки, прижимаю к себе и приближаюсь к веселой, сияющей от счастья Айнабат...

Перекатываюсь на спину, широко открываю глаза -какой уж тут сон! Надо мной в высоком темно-синем небе равнодушно посверкивают семь широко разбросанных звезд, похожих на ковш Едиген. Люблю смотреть на звезды – на-

полняют душу покоем, заставляют думать о чем-то светлом, трудно выразимом словами, значительном, вечном. Я это чувствовал. Уже в детстве, когда начал ходить с караванами – каждую ночь непременно подолгу глядел на звезды. А, может, и Айнабат тоже смотрит на небо? Повернулся, чтобы видеть женщину. Нет, лежит в той же позе, закутавшись в войлок.

Я улегся поудобней и больше глаз от женщины не отрывал...

Постепенно восточный край неба стал светлеть, в сплошной черной стене кустарника начали различаться корявые тонкие стволы, переплетение сучьев. Пора!

С трудом растолкал Ахмед-майыла. Развернулся, чтобы разбудить Айнабат, но та была уже на ногах и даже сложила в хурджун постель, разложила на дестархане остатки вчерашнего ужина. Все делала она бесшумно, без суеты – умело и привычно.

Пока я выгонял, а вернее выталкивал верблюда из самой глубины тамарисковых зарослей – верблюд упрямылся, задирал надменно голову с презрительно оттопыренной нижней губой – Айнабат уже принесла воды, Ахмед-майыл уже развел огонь и даже приготовил чай.

Позавтракали. Опять молча, но в этот раз сосредоточенно и скоро.

И снова – барханы, барханы, узкая тропа между ними; снова я оглядываюсь, чтобы увидеть Айнабат, хотя и когда

смотрел перед собой, она была перед глазами – такой, какой застыла вчера у речонки, но чаще такой, как в ночной, зримой, мечте: влюбленно глядящей на меня женой.

Солнце неумолимо вползало в высь, раскаляя воздух, делая все вокруг зыбким, расплывчатым, выжимая даже из моего сухого, привычного к жаре тела, пот.

В полдень остановились у колодца Дервиш-мазар: разрушившийся, из необожженного кирпича, мавзолейчик какого-то святого хаджи, утоптанная, истрескавшаяся земля, покривившиеся колья навеса, осыпавшийся кое-где глиняный кольцевой выступ над колодцем. Колоды, чтобы поить скот, не было – лишь глиняная неглубокая канава. Вода оказалась солоноватой и мутной. И все же зной можно было переждать только здесь.

После обеда Айнабат опять нахохлилась, укутавшись в паранджу и отвернувшись от нас; Ахмед-майыл, задумчиво уставившись в ее спину, накручивал на палец завитки папахи. Потом достал из хурджуна ножнички, маленький осколок зеркальца и принялся тщательно подравнивать, подстригать усы. Настроение его явно улучшалось, он, поглядывая на женщину, даже замурлыкал любимую свою песню, каждый куплет которой заканчивался тем, что все хорошо, если рядом жена.

“Наверное, тоже думает об Айнабат; наверное, тоже видит ее в мечтах», – думаю я и чувствую, как накатывает ревность: представляю, что Айнабат ласково улыбается этому самодо-

вольному старику.

– Ну как, нравится песня? – повернувшись ко мне, иногда спрашивает довольный собой Ахмед-майыл.

Я из вежливости киваю, хотя его песни о девушках и женщинах мне совсем не нравятся – ведь он намекает на Айнабат, которую я в мыслях уже считаю своей. Но показывать этого нельзя – неприлично.

Так потянулись наши дни и ночи. Сидя на коне, я думал об Айнабат, и картины в воображении становились все дерзостней и сладостней; во время привалов картины эти тускнели, мечты улетучивались, настроение портилось – Айнабат, как обычно, сидела неподвижно в сторонке, укутавшись в паранджу, и ей, судя по всему, не было до меня никакого дела. Одно радовало – ей не было дело и до Ахмед-майыла, который, однако, напевал все веселей и круг радостей, которые в его песне может доставить жена, все расширялся; любовался теперь он на себя в зеркальце при каждом удобном случае, а в промежутках между этим занятием охорашивался: чистил чекмен, выбивал из него пыль, исследовал – нет ли пятен, а свою белую папаху совсем истерзал, все накручивал и накручивал на палец завитки. И напрасно – Айнабат была все такой же замкнутой. “Что за нелюдимая женщина? – возмутился как-то Ахмед-майыл, когда мы ненадолго остались одни. – Может, она немая? Может, дурочка?.. Ничему не радуется, ни на что не откликается, только тоску нагоняет. Не петь, а выть рядом с ней хочется. Как неживая, как старуха

– предвестница бед и смертей. Не люблю таких!». У меня сердце чуть не разорвалось от радости, душа весенним жаворонком запела: “Ага, не любишь! Не любишь?! Отступился! Не будешь больше ей улыбаться, глупые песенки с дурацкими намеками распевать, усы свои кошачьи холить...».

Окрыленный тем, что Ахмед-майыл охладел к Айнабат и даже невлюбил ее, я решил – надо бы к колодцу Орме, что рядом с Тедженом, прийти завтра как можно раньше. И там, если не будет опасности, сделать большой привал: пора, мол, дать отдохнуть и себе, и коням – объясню спутникам. А сам надеялся: может, во время долгой стоянки удастся все-таки поговорить с Айнабат, услышать ее голос и даже смех, и тогда наберусь смелости, скажу, как думаю о ней, как она нравится мне.

Ахмед-майыл моему предложению так обрадовался, что даже вечерний чай готовить не стал, тут же принялся запрягать коней. Айнабат, как всегда, промолчала.

Всю ночь без остановки ехали мы и перед рассветом добрались до колодца.

С первого взгляда видно было, что здесь недавно, дня два-три назад, останавливалась большая отара: все вокруг усыпано шариками овечьего помета, ветер еще не развеял золу на месте костра. И – приятная неожиданность: чабан, старик, скорей всего, который не забыл, как видно, вековые законы пустыни, оставил около колодца, аккуратно прикрытого камышовой циновкой, ведро-бурдюк с веревкой и даже дро-

ва – кучку хвороста и два, похожих на кость, обломка саксаульных стволов: разводи, путник, костер, не трать времени на поиск топлива!

Да продлит Аллах дни твои, чабан, пусть всегда будет вода и пища тебе и твоим овцам, очень обрадовал нас, особенно ведром с веревкой, не пришлось мучиться, как у других колодцев, связывая все ремни и даже сбрую и доставая воду торбой, которая, когда поднимешь ее, оказывалась почти пустой – вода просачивалась сквозь ткань, возвращаясь насмешливо журчащим дождичком в темную бездну колодца.

Мы привязали коня к сбруе верблюда и тот без труда вытащил бурдюк с водой.

Напоили коней. И я повел их сквозь заросли, чтобы отыскать место, где овцы чабана-благодетеля выщипали не всю траву.

Около одинокого бархана близ большого солончака стреножил коней – чабан, наверное, знал о солончаке, поэтому и не гонял стадо в эту сторону: для отары пищи мало. А нашим двум коням хватит.

Тем временем совсем рассвело, полнеба на востоке залила заря, в которой застывшие на горизонте далекие облака казались округлыми, оплавленными кустами золота.

Я поднялся на бархан, изрытый резвившимися, заиграющими ночью лисицами, поднялся, чтобы не пропустить момент, когда выметнув лучи, всплывет и расплеснет по пустыне свет краешек солнца.

Шорох, сопение за спиной отвлекли меня. Я оглянулся.

Ахмед-майыл, отдуваясь, путаясь в полах чекменя, спотыкаясь, взбирался ко мне на вершину бархана. Я вопросительно посмотрел на партнера. Думая, что он пришел звать меня поесть, поинтересовался, готов ли завтрак, но Ахмед-майыл отмахнулся:

– Наверно. Когда уходил, эта женщина чай готовила.

Я удивился: чтобы Ахмед-майыл доверил кому-то готовить чай?! Такого не бывало. Он снял папаху, вытер ею голову с уже слегка отросшими, белыми на висках, волосами и большой лысиной; посмотрел равнодушно на поднявшееся солнце и сказал совсем неожиданное:

– Слушай, сынок, а что, если нам не ходить в эту самую Хиву, а?

– Как это не ходить? – растерялся я. – Мы же обязаны доставить Айнабат ее родственникам. Или ты отсюда хочешь отправить ее одну? И рассмеялся: настолько глупой была такая мысль, ведь женщина заблудится за следующим же барханом.

“Бедный старик, – подумал об Ахмед-майыле, видно, он совсем выдохся. Наверное, я вымотал его сегодняшним ночным переходом. Конечно, то, что мне, в моем возрасте, легко, ему дается с трудом. А может он боится? Может, думает о смерти, как все старики, отправляющиеся в дальнюю дорогу; думает о том, что умрем вдаль от людей, непогребенные?»

– Ничего, – заверил я бодро. – Отсюда, от Теджена, оста-

лось немного. Счита́й, полпути прошли.

– Теджен... – морщины на лице Ахмеда-майыла разгладились, а само лицо стало мечтательным. Он достал тыквенную бутылочку. Отсыпал в ладонь щепотку наса, кинул привычно под язык. – Здесь рядом есть село, в котором живет мой хороший друг по имени Халык, – сказал он, посасывая нас. Покачал восхищенно головой. – Очень хороший друг. Гостеприимный, веселый, счастлив, когда к нему люди приходят. И жена его, Нурсолтан, тоже радуется, тоже хороший человек. Вот обрадуются они, когда мы к ним заглянем, вот обрадуются. Ты такой встречи еще не видел. Давай поедем не в Хиву, а к Халыку?

– Да ты что, Ахмед ага, – возмутился я. – У нас же приказ!.. Да и не в этом дело. Надо ведь домой, домой – понимаешь? – Айнабат отвезти.

– Айнабат, Айнабат, – Ахмед-майыл раздраженно выплюнул нас. – Не думай о ней, сынок. Передадим ее Нурсолтан, жене Халыка, она что-нибудь придумает, пристроит куда-нибудь эту женщину. А Арнагельды скажем, что Айнабат сама велела оставить ее в Теджене: захотела, мол, выйти там замуж за одного мужчину.

Я ошалело смотрел на него, не в силах даже возмутиться. Ахмед майыл осмелел, заговорил уверенней.

– Нурсолтан быстро найдет для нее мужа. Арнагельды не скоро приедет в Теджен. А когда приедет, она к тому времени уже привыкнет к новому мужу, он ее доведет до такого

состояния, что ответит так же, как сказала Гулендам, когда за ней приехал Гёроглы: «Время ушло, и теперь уже поздно, так что оставьте в покое меня».

Я шумно выдохнул – сердце колотилось бешено, острыми тычками. Хотел накричать на Ахмед-майыла, этого старика с дореволюционными понятиями: как смеет он даже мысль допускать, что Айнабат можно отдать первому встречному, какому-нибудь вдовцу скорей всего.

– У нас приказ, – ответил я твердо. – Если бы командир велел доставить эту женщину не то что в Хиву, а и в саму Москву, мы должны были бы доставить. – Мне стало жалко старика. – Да если б и сделали, как ты предлагаешь, – добавил я уже мягче, – ничего не получится. Забыл разве про подарок, о котором говорил перед нашим отъездом Арнагельды ага?

– Помню, – пробурчал Ахмед-майыл, – но какие могут быть подарки, если Айнабат, мы ведь так скажем, сама решила остаться в Теджене. Подтверждение от ее мужа? Калым? – Он все еще пытался переубедить меня. – И об этом не беспокойся, я все обдумал. Купим что-нибудь красивое у тедженских мастеров. Поменяем моего коня на породистого скакуна, доплатим, если надо. Деньги у меня есть, заверил торопливо и похлопал по кушаку. – И подарок, и коня отдадим Арнагельды. Он, конечно, спросит. где мой конь? Скажу: сдох. Ты подтвердишь. Если будем говорить одно и то же – поверит. Можно его убедить. Поверит он нам!

– Нет! – не соглашаясь, покачал я головой. – Повезем женщину в Хиву.

И повернувшись, начал спускаться с бархана.

Ахмед-майыл, не отставая, шагал рядом. Упрашивал согласиться.

Потом стал предлагать: ладно, давай, мол, сделаем по-другому – скажем Арнагельды, что доставили женщину родственникам в Хиву, не будем говорить, будто она вышла замуж, а сами отдохнем в Теджене столько, сколько надо, чтобы доехать до Хивы и обратно. Потом с подарками вернемся в отряд: вот-де, командир, приказание выполнили, подтверждение привезли.

– А Айнабат? – не оборачиваясь, спросил я едко.

– Что Айнабат? – удивился Ахмед-майыл. – Я же говорю: отдадим ее Нурсолтан, та пристроит женщину, не беспокойся. Главное подтверждение привезти. Думаешь, Арнагельды проверять станет? Когда он еще в Хиву попадет, да и попадет – где эту самую Айнабат искать? Город большой, область – еще больше. И время Арнагельды откуда возьмет, не до женщины какой-то ему там будет... – И, разозлившись на мое молчание, выкрикнул возмущенно. – Не будет, не будет он ее искать! Кто она ему: дочь, племянница, родственница? Что он кормил ее, поил, она в его доме жила?

Я ожег через плечо таким взглядом, что Ахмед-майыл даже отшатнулся, руки вскинул, точно заслоняясь от удара. Но через некоторое время опять окликнул меня:

– Максут, а Максут... – теперь голос был неуверенный, просящий. Ты сказал: большой привал сделаешь. Отпусти меня в Теджен хотя бы до вечера. Загляну к Халыку и к ночи вернусь. А? Ну чего я тут буду без дела торчать весь день, когда совсем рядом – друг.

Я отрицательно покачал головой, и вдруг меня прямо-таки в жар бросило: ведь мы останемся с Айнабат одни! Может, удастся с ней поговорить, работу какую-нибудь придумаю, за общим делом люди сближаются. Да мало ли... одни ведь будем, ну как словом-другим не перемолвиться: спрошу – она ответит, историю какую-нибудь расскажу, Айнабат в ответ что-нибудь расскажет...

– Хорошо, – я остановился, повернулся к напарнику при-творно расстроенное, но понимающее лицо. – Друга надо навестить... Но чтобы в сумерках ты был здесь!

Ахмед-майыл чуть не подпрыгнул от радости.

– Спасибо, Максут. Можешь быть спокоен, не подведу! – Кинулся со всех ног обратно. И почти тут же проскакал мимо меня на своем жеребце.

Когда я вышел из зарослей к колодцу, Ахмед-майыл уже сидел в седле. Даже завтракать не стал, чай не попил – чудеса!

– Говоришь, там Теджен? – И нетерпеливо посмотрел в ту сторону, куда я показывал с вершины бархана. Я кивнул. Ахмед-майыл гикнул, взвизгнул, ударил коня пятками. Взметнулась пыль, затрещали кусты, и напарник мой исчез.

Мы с Айнабат остались вдвоем. Поели. Молча. Попили чай. Молча. Стал рассказывать о себе. Отвернулась. Сказал, что надо запастись водой – наполнить все бурдюки, все посудыны. Айнабат молча встала, пошла к верблюду. Наполнили водой все, что можно было. Айнабат отвязала веревку от упряжи верблюда и тут же села в тень куста. Опять нахохлилась под паранджой – не шевельнется.

Я тоже отыскал тень под кустом напротив, бросил потник, лег, чтобы поразмышлять и, если удастся, вздремнуть – ведь ночью новый длинный переход. Сквозь прищур наблюдал за Айнабат: как бы ее расшевелить?.. Может, обидеть? Пусть возмутится, накричит на меня или хотя бы расплачется – лишь бы не молчала, лишь бы... Хоть характер ее узнаю. Правда, характер этой женщины, пожалуй, представлю: спокойная, умеет держать себя в руках – как она около Кушки посмотрела на меня небоязливими глазами, как медленно, с достоинством сняла с куста паранджу, не спеша надела ее. Этим и понравилась. И еще лицом, конечно, телом, изгибом рук, волосами, черными и текучими, как ночь. Ах, Айнабат, Айнабат... Посмотрел: сидит в той же позе, хотя тень уже уползла, открыв женщину, – солнце поплыло к закату.

– Айнабат, – окликаю ее и жду, когда отзовется. От волнения сердце забилося учащенно – пришла мысль, что и она думает обо мне.

Женщина, не поднимаясь с корточек, повернулась спи-

ной.

Я удержал вздох, встал. Потоптался, пошел проверить коня.

Все спокойно. Боздуман сосредоточенно пощипывал редкую сухую траву. Увидев меня, заржал негромко: пора бы, дескать, хозяин и попить мне.

– Сейчас, сейчас, потерпи еще немножко.

Я взбежал на бархан, вгляделся в сторону Теджена. Нет, не видно ни далекого всадника, ни даже приближающегося облачка пыли – не торопился возвращаться Ахмед-майыл, хотя по горизонту уже накапливались легкой дымкой сумерки.

Старый обманщик. В таком возрасте и не хозяин слову! – обозлился я. – Придется из-за него выходить поздно ночью!».

Спустился к Боздуману, развязал путы на его ногах и, не оглядываясь, направился к колодцу; конь, обдавая затылок теплым дыханием, шел вплотную за спиной.

Айнабат, к моему удивлению, хлопотала у костра, готовила ужин. Я обрадовался, но сделал вид, будто ничего особенного не вижу: хмурился, вел себя по-хозяйски, как и положено мужчине. Напоил Боздумана водой, которую вместе с Айнабат заготовили днем. Теплая, но свежей доставать не хотелось – надо отвлекать женщину от дела, звать, чтобы помогла.

Поужинали. И, конечно же, молча. Но сейчас мне было

не до разговоров. Я все время прислушивался, не возникнет ли вдали мягкий беспорядочный топот коня Ахмед-майыла. Ничего похожего... А вечер стремительно накатывался, так же стремительно переходя в ночь. И вскоре совсем стемнело. Только затухающий костер отгонял шага на два тьму, которая за этим круглым пространством красноватого света, казалась еще более плотной, совсем черной.

На душе было беспокойно. “Уж не случилось ли с Ахмедом какой беды? Может, заблудился, может, конь на всем скаку споткнулся и старик переломал себе кости, а может... погиб. Лишь бы не попался бродячим басмачам, лишь бы с ним все было в порядке. Лишь бы вернулся жив-здоров, пусть ночью, пусть утром. Лишь бы вернулся – ни словом, ни взглядом не упрекну!».

– Что-то загостился наш Ахмед ага, – как можно беспечней сказал я. – Придется ехать днем. Конечно, для тебя это задержка, но что поделать...

Женщина не дослушала: встала, не спеша взяла хурджун, вытряхнула свою постель. Я тоже начал готовиться к ночлегу. Разостлал на всякий случай попону и для Ахмеда-майыла: может, приедет ночью, пусть отдохнет до рассвета.

И снова смотрел в высокое небо, щедро и густо усыпанное подмигивающими звездами. Было так тихо, что начало звенеть в ушах. Ни обычных, еле уловимых звуков ночной пустыни, ни шороха, ни шелеста. Даже Боздумана и верблюда, присутствие которых обычно угадывается, не было слыш-

но, словно они растаяли, растворились во тьме – впечатление, будто на всей земле исчезла жизнь и под этой огромной опрокинутой чашей неба с переливающимися яркими точками остались только два человека: я и Айнабат. Только мы, вдвоем.

Вдруг справа, совсем рядом, громко вскрикнул филин. Этот резкий вопль раздался так громко и неожиданно, что я невольно вздрогнул. Рывком повернул голову к Айнабат – не напугалась ли? Как всегда бывает ночью, то ли глаза привыкли к темноте, то ли слабый свет звезд разжижил темноту, но вокруг было уже не так беспросветно черно. Я различил и силуэт неподвижного Боздумана, который, опустив голову, дремал, и смутное пятно по ту сторону пепельно-серого круга костра: Айнабат. Филин опять вскрикнул; ему издевательски отозвался другой, погорластей. И они заперекликались раздраженно-нахальными голосами, а потом и расхохотались – глумливо, презрительно. Женщина зашевелилась.

– Айнабат, – негромко окликнул я. – Слышишь... Это всего лишь птицы. – Она подняла голову и посмотрела – или мне это только показалось? – в мою сторону.

И меня, как опалило, я даже чуть не задохнулся от неожиданности: “А что если она думает обо мне, как я о ней?.. И ждет, когда я решусь подойти, ведь я мужчина, я первый должен... Проклинает меня за нерешительность, молит Аллаха, чтоб надоумил меня... Ведь она вдова, она познала мужчину, тело ее хочет любви, кровь – молодая, жаркая... Как она

посмотрела на меня тогда, у Кушки, как посмотрела! А как?.. А так – так смотрят женщины на несмышленища-мальчишку. Конечно, конечно, она заметила, что нравится мне. Лицо открыла и не торопилась спрятать его под паранджой, чтоб я мог увидеть... Подойти?».

Я облизал враз пересохшие губы, с силой зажмурился, сжал кулаки. “Пойду!.. Если сейчас, когда одни, не пойду, она будет презирать меня за робость... Надо идти, надо идти. Старики говорят: женщины любят смелых, любят сильных, тех, кто может покорить их... Все, иду!».

Но продолжал лежать, боясь даже шелохнуться. “Трус... Иду, иду... Говорят, стоит женщину обнять, стоит ей уловить запах пота разгоряченного, желающего ее мужчины, она теряет голову, забывает обо всем... Пора, пошел! Другого такого случая не будет!».

Я через силу, словно меня кто-то прижимал за плечи к попоне, сел. В сторону Айнабат смотреть не решился. Опустил голову. “Ну чего я боюсь? Чего?.. В крайнем случае только поговорю, скажу ей все, что хотел... Да, конечно, только поговорю, больше ничего. Надо высказаться, дальше так невозможно: думать о ней, думать, думать...». Сам не замечая как, я медленно – медленно поднялся и, тяжело волоча ноги, пошатываясь, как накурившийся анаши, побрел прямо через пепелище костра.

– Айнабат... Айнабат, выслушай меня и не сердись, – бормотал и сам не узнавал свой охрипший голос. – Айнабат, мне надо... надо сказать тебе...

Сквозь туман в глазах увидел, как в темноте передо мной взметнулось что-то светлое, узкое. Застыло. Ближе, ближе – или это я приближаюсь?.. Туман отступил. Рядом, вот оно, лицо Айнабат – Почему без паранджи? А ну да, на ночь сняла, – белое лицо, а глаза черные, блестящие. Какие огромные!.. И какие красивые!

– Айнабат... я давно хотел... как только увидел тебя...

Руки мои всплывают к этому белому, такому нежному – я вижу все обострившимся зрением, – тонконосому, с раздутыми ноздрями лицу; подрагивающие пальцы мои тянутся прикоснуться к коже женщины, чтобы погладить, приласкать, тогда, может, и она откликнется на мое чувство...

И вдруг – неуловимо мгновенный взмах женщины, как всплеск крыла большой птицы. Пощечина обожгла мне щеку. Тело мое так же мгновенно дернулось вперед – к обидчику, к ударившему меня! – а пальцы, не дожидаясь приказа, уже вцепились в плечи Айнабат, стиснули их, трянули, но тут же разжались: какие же они хрупкие, слабые плечи эти!

– Скотина! – невольно присев под моими руками, изогнувшись от боли, выкрикнула с ненавистью Айнабат. – Пошел вон! Какой из мужчин, оставшихся там, на поле боя, был хуже тебя?! – В глазах ее зажглись огоньки бешенства.

Я сжал зубы так, что заныли виски, замотал головой, замычал от оскорбления как от боли и, чтоб не слышать больше ничего, бросился напролом через кусты, обдирая в кровь лицо о ветки.

Пришел в себя только на бархане, где днем Ахмед-майыл предлагал мне избавиться от женщины.

Упал на колени, опустил голову: “Вот и добился, чего хотел, поговорил с Айнабат, услышал ее голос, – прикусил до боли губу, задержал дыхание. – Что же, теперь хоть знаю, как она ко мне относится, получил прямой, ясный ответ!». Замычал, упал на бок, перекинулся на спину. Долго-долго, пока не начали слезиться глаза, смотрел, не моргая, на звезды, которые, казалось, подмигивают мне насмешливо и ехидно: “Ну что, парень, доволен? Получил, что хотел?”. Я прикрыл глаза ладонью и увидел лицо Айнабат – яростное, искривившееся от ненависти и презрения. но и такой она мне нравилась; даже больше, чем та, около речонки Кушки. Та – холодно-горестная, неживая. А эта – тигрица, ураган, смерч. Ах, Айнабат, Айнабат – не поняла ты меня, не такой я...» – и холодел от стыда: в ушах сливались в глумливый вопль те страшные и грязные ругательства, которые обрушила на меня женщина и которые мужчина не имеет права прощать никому. И я бы не простил. Никому. Кроме Айнабат.

Долго лежал я, мысленно беседуя с Айнабат, объясняясь, рассказывая ей о том, какой вижу ее в мечтах. Уже угадывались предрассветные сумерки, ночь приготовилась покидать землю, когда я встал и побрел к колодцу.

Айнабат, опять укутавшись в войлочный коврик, лежала, по привычке сжавшись в комок, отчего казалась беззащитной и обиженной. Я потоптался. Потом подошел к своей по-

стели, поднял в небо глаза: “О, Аллах, если ты здесь, сделай так, чтоб женщина эта не думала обо мне плохо!». Лег, истерзавший себя думами, и сразу провалился в глубокий сон.

Проснулся от властного, будто кто палкой в грудь ткнул, толчка в то место, где сердце. Резко открыл глаза, увидел – в грудь упирается ствол винтовки, которую держит... Айнабат. В жидком свете утра лицо женщины было серым и неподвижным и от этого черные глаза казались грозно горящими.

– Айнабат, ты что?..

– Сейчас я пристрелю тебя, – твердо сказала она. – Не хотела убивать спящего. Надо, чтоб ты знал, кто и за что прикончил тебя.

“Убьет, не дрогнет!... Неужели все, конец?! Вот так, из-за непонятности, по ошибке?» – мелькало в голове, пока женщина, четко выделяя слова, объясняла свой приговор. – Ой, как хочется жить, как прекрасна жизнь, как глупо умирать...” Я дернулся в сторону, чтобы выскользнуть из-под дула, – грохнул выстрел. Пуля пробила мякоть плеча; я скрежетнул зубами, изогнулся, но успел поднырнуть под прыгнувшую вверх винтовку – отдача выстрела ударила женщину, и она чуть не выронила оружие. Вскочил, вцепился здоровой рукой в ствол, вывернул его. Айнабат, вскрикнув, упала.

– Сучка, тварь, гюрза! – озверев, заорал я и взмахнул винтовкой, чтобы прибить прикладом распластавшуюся у ног, но взгляд ее был такой бесстрашный, такой ненавидящий,

что рука моя отяжелела. – Разве можно так, ни за что, взять и убить человека?! – Я опустил винтовку. – Тебе только добра желают, а ты – вот чем отблагодарила.

– Ты? Добра желаешь?! – Айнабат неуловимым прыжком вскочила на ноги, вцепилась в винтовку. – Хочешь... чтоб отблагодарила?.. Сейчас, сейчас...

Она скалилась, извивалась, пытаюсь вырвать оружие; я испугался, по-настоящему испугался, облапил ее левой рукой, чтобы прижать к себе, удержать, пока не обессилит, но острая боль ударила из простреленного плеча в голову. Я взвыл и мы, сплетясь, повалились на песок. Айнабат, вывернувшись, выпрямилась во весь рост. Я здоровой рукой поднял рывком винтовку и... палец мой застыл на спусковом крючке, потому что дуло оказалось направленным прямо в темно-розовый сосок Айнабат. Когда мы, сцепившись, барахтались, паранджа лопнула от горла до пояса, обнажив одну грудь женщины. мне стало не по себе, а потом и стыдно. Ведь она – женщина.

Айнабат, слегка согнувшись, прищуриив лютые глаза, следила за каждым моим движением сквозь разметавшиеся, залепившие лицо волосы; отбросила их ладонью, чтоб не мешали смотреть, черные пряди растекались по плечам. Я, остывая, лихорадочно соображал, что же делать – опасно, если она в таком состоянии все время будет рядом. Связать до приезда Ахмед-майыла? Попробуй, свяжи... Да и как это – я буду скручивать руки и ноги той, о которой грезил, ко-

торую видел своей женой, которую ласкал в воображении, при одной только мысли о которой становилось так светло и радостно на душе?.. А кровь из раны в плече не останавливалась, левая рука немела, халат в месте прострела промок, набух.

– Айнабат, – и удивился: голос сиплый, свистящий, – возьми в хурджуне бинт, вату. Поддай мне... Очень болит рана, надо перевязать.

Руки женщины дрогнули и медленно опустились вдоль тела; она распрямилась. Но с места не сдвинулась, глаз от меня не отвела. Только выражение их стало иное, словно бы приценивающееся, изучающее. Я осторожно положил винтовку рядом с собой, всунул ладонь под халат, зажал простреленное плечо. Скривился, застонал. Попытался сесть – не получилось, только дернулся. Пришлось вытащить руку, чтобы опереться. Ладонь была вся в крови.

Айнабат шатнулась и, будто ее ударили под колени, надломленно опустилась. Нагнула голову; плечи женщины начали крупно вздрагивать – она пыталась, но не могла сдержать рыдания: голос клокотал, пробивался стонами, всхлипами.

Я тяжело поднялся. прихватив винтовку, проковылял к поклаже. Вытащил из хурджуна сверток с медикаментами; морщась и отфыркиваясь от боли, высвободил из халата простреленное плечо.

–Иди помоги! – попросил сухо.

И хотя сказал это негромко, женщина услышала. Замер-

ла. Медленно повернула голову, недоверчиво посмотрела на меня. Я, оскалившись от боли, зажимал комком ваты рану и пытался вытянуть руку из рукава.

Айнабат плавно поднялась на ноги, неторопливо подошла – тихая, бледная, с опущенными ресницами. Быстрыми, мягкими движениями ощупала плечо, разорвала рубаху, открыв рану; обложила ее ватой. Неумело – у нас любой боец лучше и быстрее делает перевязку, – но старательно опутала, стянула плечо бинтами. Кровь перестала течь, в простреленном месте прекратилось дергающее, острое покалывание.

Закончив, Айнабат оценивающе посмотрела на свою работу и, не глядя мне в глаза, сосредоточенная, пошла к костру. Развела огонь, поставила тунче для чая.

Я, стараясь не делать резких движений, направился к колдуну – надо напоить коня, да и запасы воды пополнить не мешает.

– Я сама, – глянув на меня через плечо, решительно заявила Айнабат. – А ты – к верблюду! – Напоили Боздумана, дали воды и верблюду. Попили чаю, избегая смотреть друг на друга.

А Ахмед-майыла все не было. Стало ясно, что ждать его бесполезно. Солнце поднялось уже высоко и старик по всем подсчетам, учитывая и его сегодняшний завтрак у Халыка и долго прощание с другом, должен бы давно уж быть здесь.

– Надо ехать, – решил я. – Придется заглянуть в село, где живет Халык...

Поднялся, чтобы закрыть колодец циновкой, на мгновение оглянувшись – словно кто в затылок толкнул, – успел перехватить волчий, исподлобья, взгляд женщины. Она тут же опустила глаза. Мне стало не по себе: «Уж не хочет ли она все-таки окончательно добить меня?». Невольно посмотрел в сторону винтовки, которая лежала невдалеке, схватился, не знаю почему, за карман, где лежала запасная обойма, а потом устыдился, что так плохо думаю об Айнабат.

– Не будем ждать его? – отрывисто спросила Айнабат.

– Больше не можем, – стараясь, чтоб голос звучал как можно беспечней, отозвался я. – Надо узнать, что с ним. – Айнабат молча собрала посуду, затоптала костер и, пока я запрягал Боздумана, привьючила хурджуны на верблюда и сама села на него.

Миновав заросли, пройдя меж барханов, мы выехали на огромный, беловатый от соли, изрезанный длинными трещинами, такыр. С севера набежал ветерок, наполненный терпкими запахами трав: значит, впереди не такая безотрадная пустыня. Словно подтверждая это, вдали взмыли в небо и принялись кружиться стаи птиц. Вспугнул кто-то? Может, Ахмед-майыл?.. Ехать по такыру было легко и даже приятно – ветерок разогнал душный застоявшийся воздух и поэтому солнце казалось не таким жарким.

Мы приближались к месту, над которым метались черные птицы; они становились все крупней и кружились, падали к земле и снова круто уходили ввысь. Вьются над кем-то? Я на

всякий случай снял винтовку с плеча, положил на стремянах, всмотрелся. А-а, вот оно что – там, где кончался такыр, паслось стадо коров. Значит, повезло: можно будет расспросить пастуха, прежде чем ехать в село.

Услышав топот копыт, пастух повернулся в мою сторону.

Боздуман ступил на мягкую песчаную почву, заплясал, щерясь и отворачивая морду в сторону. Пастух, худой, изможденный, со старческим лицом, хотя угадывалось, что лет этому человеку не так уж много, вскочил при моем приближении, и как только я натянул поводья, удерживая жеребца, подошел ко мне. Здрав козлиную бородку, первый протянул обе руки, чтобы пожать мою ладонь.

– Эссаломалейкум! – приветствовал он и, не дожидаясь ответа, попросил с нетерпением. – Дай щепоточку наса, а то я совсем извелся.

– Нет у меня наса, к сожалению, – сказал я. – Как вас звать?

– Нагым, Нагым, – торопливо ответил тот, не отрывая от меня молящих глаз. – Можно и табачку, хоть вот столечко, – сдвинул все пять пальцев, показывая, как мало ему надо.

– Нету табачку, – я виновато и обескураженно развел руками.

Ожидание во взгляде Нагыма погасло, желтое лицо страдальчески сморщилось, стало еще более старческим.

– Про терьяк уж и не спрашиваю, – унылым голосом сказал он. И все же поинтересовался без всякой надежды. – Или

есть?

– Нет, друг, – я сочувственно вздохнул. – Не употребляю.

– Терьяка нет, наса нет, даже табачка у тебя нет. Какой же ты мужчина? – зло заметил Нагым и, не отрывая взгляда от приближающегося верблюда с Айнабат, вяло съязвил. – Если не мужчина, зачем тебе тогда эта женщина?

Я чуть не рассмеялся, но сообразил, что этим могу обидеть человека, сдержался. Спросил, как можно небрежней:

– Яшули, вы случайно не знаете такого человека – Халыка, у которого жена Нурсолтан? – спросил я как можно небрежней.

– Кто ж его не знает, – Нагым пренебрежительно дернул плечом, если он, наверное, один в селе ест собак.

– Собак?! – поразился я. – Зачем?!

– А это ты у него спроси, – пастух, обозленный, что не удалось ничем поживиться у меня, ехидно заусмехался. – Спроси, зачем он сожрал старого кобеля Худайназара бая? Я спрашивал. Говорит, потому что кобель Худайназара еле ходил, а, значит, – жирный. Тьфу, погань! – И сплюнул под ноги. – Я теперь с твоим родственником, этим сопышкой Халыком, ни на свадьбах, ни на поминках рядом не сижу. Так и знай!

“Несчастный ты... Хочешь обидеть меня, задеть побольней, унизив родственника. Разве я виноват, что тебе сейчас, больному и разбитому, свет не мил?»

– И все же непонятно, – я искренне недоумевал, – зачем

есть собаку? Он же не кореец.

– Зачем, зачем, – внезапно раздражаясь, визгливо выкрикнул Нагым. – Затем, что твой Халык-сопышка больной. Вот и лечился. Мне сам Овез, у которого всегда есть терьяк, – Нагым многозначительно посмотрел на меня, – сказал. Овез знает, Овез и обдирал этого пса Худайназара.

– Если у Овеза всегда есть терьяк, – соболезнующе начал я – сходил бы к нему и купил.

– Купить? – Нагым фыркнул. – На какие деньги?.. Или, может, предложить Овезу за терьяк эти лепехи? – Показал на часто усыпавшие пастбища и сухие, и свежие круги коровьего помета.

– Вижу, придется тебя выручить, – я подчеркнуто вздохнул, полез за пазуху, сморщившись от боли в плече. – Выручу тебя... Только и ты меня выручи.

– Все сделаю, все исполню, – Нагым даже запританцовывал от нетерпения, по-собачьи влюбленно и преданно заглядывал мне в глаза. Говори, что надо сделать!

– Зайди к Халыку, узнай, есть ли у него гость? Звать Ахмед ага.

– Хо, только-то и работы? – Нагым выхватил у меня из руки деньги, цепко зажав их в кулаке. – Это не работа – удовольствие: заглянуть на чашку чая, побеседовать... Жди, я скоро!

Заметался, поднял на бегу с земли маленький грязный узелок – с едой, наверно, – и сразу же отбросил его; схватил

палку и, видимо, наконец-то придя в себя от неожиданной удачи, кинулся к ишаку, который пасся среди коров.

– Присматривай за коровами! – крикнул на бегу, обернувшись. Среди них есть и такие, что так и норовят – мотнул головой в сторону пестрой комолой, – приглядывай особо, не упускай из виду...

Ишак, на которого вскочил Нагым и которого принялся колошматить за своей спиной палкой то слева, то справа, припустил резвой рысью и вскоре скрылся за невысоким барханом вдали.

Я соскочил с коня; стараясь не делать резких движений, чтобы не потревожить рану, помог слезть и Айнабат с верблюда.

– Видишь, придется сделать еще один привал...

Пастух вернулся только к вечеру, когда и я, и коровы начали уже беспокоиться, – они вытягивали морды, принохиваясь, прислушиваясь, иногда удивленно-вопросительно мычали и уже потянулись в сторону села, я носился на Боздумане, отсекая коровам путь, сбивая их в плотное стадо, и, откровенно говоря, вымотался. Стал уже подумывать, что напрасно сам не поехал разыскивать Ахмед ага, хотя и понимал, что это было бы сложно – надо брать с собой Айнабат, не оставлять же ее в пустыне: женщина с таким характером не будет дожидаться, поедет одна в Хиву и... заблудится, погибнет. Но и в Теджен ее брать рискованно – как поведет себя на людях? Может выкинуть какуюнибудь глу-

пость, почище попытки убить меня: закричит в оживленном месте, что я украл ее, попытается затеряться, скрыться... Где же этот проклятый Нагым? – все более и более тревожился я. – Вдруг накурился до одури и сейчас валяется где-нибудь счастливый и беспамятный. А тут еще стадо это. Что делать с коровами, пора их по домам. Придется, наверное, отпустить. Дома своих хозяев сами найдут.

Наконец, когда я откровенно запаниковал – ночь-то вот-вот наступит, – вдали показалась черная точка. Она медленно приближалась, увеличиваясь; донеслись обрывки развеселой песни и вскоре, к моему огромному облегчению, счастливый, прямо-таки сияющий Нагым, бойко соскочил с ишака. Пастух помолодел, кожа разгладилась, посвежела, потеряв нездоровую желтизну; маленькие глазки хитро и доброжелательно блестели. Коровы, увидев и узнав его, враз успокоились: одни принялись опять пощипывать траву, другие, с сытыми вздохами, опустившись, пережевывали жвачку.

Нагым присел на корточках у костра, принял из рук Айнабат пиалу с чаем и с бестолковыми, нудными и лишними подробностями поведал о том, как приехал в Теджен, отыскал Овеза, выкурил у него пару трубочек и лишь потом направился к Халыку, во дворе которого собака, рожденная известной своей злостью сучкой Сапардурды, не хотела пускать в дом и чуть не разорвала халат, хорошо что вышла из дому Нурсолтан, жена Халыка, и отогнала свирепую собаку, а по-

том, в ответ на расспросы, рассказала, что да, дескать, приехал вчера к ним Ахмед ага, живущий в Пенди, старый и хороший друг мужа, почти до утра они просидели, но сейчас Ахмед ага нет, уехал вместе с Халыком в соседний аул...

– В аул? – растерялся я. – В какой еще аул?

– Не знаю, – беспечно пожал плечами пастух. – Я не спрашивал, ты ведь просил только узнать, был ли у Халыка гость Ахмед.

И начал рассказывать о том, как, обрадованный, что так быстро выполнил мою просьбу, вернулся к Овезу, у которого, в отличие от некоторых – посмотрел насмешливо на меня, – есть терьяк, не говоря уж о насе и табаке.

Я не слушал, тупо глядел в угли костра. “Ну и помощника мне подобрал Арнагельды ага!.. Что же делать, где искать этого распроклятого Ахмед-майыла?.. И надо ли искать? А что, если он специально удрал и теперь будет скрываться от меня?».

– Айнабат, собирайся! Едем! – приказал, оборвав оживленное борматание пастуха, который, брызжа слюной, хихикая, взмахивая руками, объяснял, как хорошо было ему у Овеза.

Я подошел к Боздуману, начал завьючивать его – решил: поедem в Хиву вдвоем с Айнабат; Ахмед-майыл дезертировал... Сказать или не сказать ей, что старик сбежал от нас? – мучился я. – А вдруг испугается? Или, еще хуже, решит, что я договорился с Ахмедом, чтобы он оставил нас одних. Нет,

буду молчать, пусть считает, что все идет как надо, что Ахмед-майыл догонит нас...».

Мы, обойдя далеко село, ехали всю ночь, не останавливаясь, и лишь утром, когда начали нарастать зной и духота, сделали привал, выбрав подветренную сторону высокого бархана. Все равно лучшего места не найти – зарослей, дающих тень, нет, лишь редкие, сухие кусты саксаула, меж которыми кое-где островками хилая, пожухлая трава. Пока я расседывал Боздумана, поил его, вздрагивая иногда от режущей боли в плече, Айнабат проворно развела костер, поставила тунче для чая... чай был невкусным: вода в бурдюке нагрелась, стала еще солоней.

Неожиданно сильный порыв ветра принес издалека ленивый собачий брех, недовольный крик ишака. Айнабат, забывшая теперь закрывать лицо, вопросительно посмотрела на меня.

– Аул Оджарлы, – зевнув, объяснил я. – Версты полтора отсюда... Надо б зайти, сменить воду – противная стала.

Айнабат поджала губы – я понял, хотела возразить: незачем, мол, показываться в селении, но она не осмелилась.

– Если не хочешь, пройдем мимо, – я не настаивал.

Зевнув еще шире и, радуясь, что плечо болит уже не остро, а ровно, привычно, провалился в сон – обессилили, вымотали меня эти сутки...

Проснулся от быстрого шепота Айнабат:

– Максут, вставай, вставай скорей! – Она несмело потор-

мошила меня.

– Ну, в чем дело? – недовольно буркнул я, поворачиваясь, и тут же, в полудреме еще, отчетливо вспомнил как вчера утром будила меня эта женщина, чтобы убить. Сна как не бывало. Я испуганно пощупал здесь ли виновка? Да здесь.

– Вставай! – выдохнула тревожным голосом еще раз Айнабат. – К нам едут какие-то люди...

– Басмачи?! – я вскочил. – Где?

– Там, – она, повернувшись, показала в сторону бархана, склон которого был весь в следах ее ног.

Я схватил винтовку, на бегу зарядил ее полной обоймой, и пригнувшись, словно охотник, преследующий добычу, взлетел к вершине бархана. Айнабат тоже кинулась было за мной, но я ожег ее взглядом, прошипел:

– Сиди! И – ни с места! – Нырнул за кустик саксаула. Вгляделся.

Небольшой караван – два верблюда, три всадника – медленно полз по низине в нашу сторону. Два всадника впереди, беседуют о чем-то, повод верблюжьей связки привязан, кажется, к седоку ближнего ко мне: верблюды шагают след в след за его конем, повторяя за ним все маленькие подъемы и спуски. Третий всадник замыкает группу. Хотя нет, он не замыкает – за ним идет еще кто-то. Странно идет, вяло, спотыкается, чуть не падает. Эге, да его тащат на веревке и руки у бедняги связаны! Плохо дело. Надо, пока не поздно, пока не увидели, уйти за барханами: я один, а этих – трое.

Не справиться мне, если... Да какое, “если»?! Нет никакого “если»! Эти люди, не задумываясь, отберут и Боздумана, и верблюда, и всю поклажу, а меня убьют или – в лучшем случае! – свяжут и поволокут за собой, как этого вот несчастного. А Айнабат? Когда подумал о ее судьбе, во рту у меня вмиг пересохло от страха. Нет, нет, немедленно удирать, пока нас не заметили.

Я медленно попятился – пополз и... замер. Под третьим, последним, всадником был вроде конь Ахмед-майыла. Прищурившись, всмотрелся: точно, Тулпар, жеребец Ахмед-майыла. Я встревоженно перевел взгляд на пленника и ахнул: “Да ведь это сам Ахмед-ага!.. Ах, беда, вот беда, да как же ты вляпался в такое? Где же тебя угораздило?» – заметались мысли, а глаза уже шарили вокруг, выискивая место, где можно устроить засаду: отсюда стрелять нельзя – надо отвести беду от Айнабат, надо с того вон, противоположного, бархана; можно будет, в случае чего, увести басмачей в глубь пустыни, подальше, подальше отсюда.

Я отполз, сбежал по склону, цапнул на ходу хурджун, выхватил из него узелок с патронами, отшвырнул хурджун и, пригнувшись почти до земли, проскочил по пересохшему руслу-вади к облюбованному бархану. Выглянул из-за его гребня.

Ага, вот они, почти рядом, слышны даже голоса передних всадников: один раздраженный, брюзгливый, другой – властный. Раздраженный – у крайнего ко мне, чернобородо-

го; властный – у краснорозега. Надо бы начать с них, да рискованно – тот, кто тащит на аркане Ахмед-майыла, может ускакать и уволочь за собой старика.

Помоги мне, Аллах, в добром деле. Я тщательно прицелился в того, тоненького, который подремывал на коне Ахмеда ага, и плавно нажал на спуск. Басмач вскинулся, словно его подбросило, и медленно повалился лицом вперед; обхватил шею коня, сполз на землю.

Хотя песок барханов и приглушил выстрел, но в тишине, да еще неожиданно, он показался оглушительным. Головные всадники мигом спешили – видно, и выучка хорошая, и опыт богатый – сразу определили, откуда опасность, и без раздумий открыли пальбу. Я слышал, как совсем рядом чмокают о песок пули, видел, как они выбивают коротенькие фонтанчики пыли.

Кубарем скатился, увидел краем глаза, как Айнабат в страхе вскинула ладони к лицу, удивился: «Почему она здесь? – и обрадовался – испугалась, что меня ранило». И сразу же дала знать о себе рана в плече – заныла, заболела.

– Убирайся! – приказал я властно. – Спрячься!

И, проскочив еще шагов двадцать в одном рывке, упал за гребнем соседнего барханчика, пониже. Выглянул.

Так, по-прежнему лупят туда, где я был только что. Так, отличную позицию нашел – бородатый басмач, который раньше был почти не виден, прятался за конем, уложив его,

теперь как на ладони. Все, отстрелялся ты, чернобородый! Я нажал курок.

Басмач прогнулся в спине, перекатился набок и, вытянувшись, затих, а второй – тоже бывалый, собака, – стремительно развернувшись на мой выстрел, выпалил, не целясь, в мою сторону и юркнул за верблюдов, которые, перепугавшись, задирали головы, крутились на месте, жались друг к другу. Басмач не стрелял. «Винтовку заряжает», – решил я и высунулся почти по пояс, отыскивая взглядом врага. И тут бахнуло. Цвенькнула пуля, папаха моя слетела, кожу над ухом обожгло. Я ткнулся лицом в песок, вжался в него, пополз назад. И опять вскочил, позабыв про боль и в плече, и о свежей ране – басмач, прокравшись за верблюдом, вскочил на коня Ахмед-майыла и... только частый затихающий топот рассыпался по низине, только за клубилась, удаляясь, пыль. Я высадил вслед оставшиеся в обойме патроны, хотя и знал – бесполезно, глупо это. Отбросил в отчаянии винтовку и, задыхаясь от бессильной ярости, тяжело опустился на песок.

И сразу же рядом оказалась Айнабат. Она отбросила назад паранджу, наклонилась ко мне, всматриваясь в рану на голове серьезными, без страха и слезливости, глазами. А потом достала из хурджуна что-то белое.

А-а, вата. Мягкими, осторожными движениями Айнабат оттерла кровь с виска, со щеки. Перебинтовала рану. Откачнулась назад, закончив перевязку, – протянула руку. Я вце-

пился в нее, поднялся.

Пошатываясь, побрел туда, где все еще перетаптывались, крупно вздрагивая, верблюды, где покорно подждал хозяина конь – второй ускакал вслед за убравшимся басмачом, – где валялись убитые и откуда бежал к нам на заплетающихся ногах, спотыкаясь, Ахмед-майыл. Веревка, петля которой стянула руки старика, извивалась вслед за ним.

Он упал в нескольких шагах от меня и, загнанно дыша, отчего грудь ходила ходуном, пытался встать, но видно было – сил не осталось. Я кинулся к нему, поднял. Развязал путы, стянувшие запястья так, что пальцы Ахмед-майыла посинели. Он опять повалился на песок.

Вид у старика был страшный: кожа лица – цвета серого солончака; на лбу, на лысой макушке огромные багровые шишки; левый глаз, окруженный иссиня-черным пятном, заплыл и выглядел мокрой, слезящейся щелочкой. Но самое жуткое – широко раскрытый, жадно хватающий воздух рот, в котором не помещался распухший, покрытый белым налетом язык. Я слышал, что язык от жажды распухает, но видеть такого не приходилось.

Мы с Айнабат подхватили Ахмед-майыла под руки, оторвали от земли; он, пытаясь удержаться, вцепился мне в левое плечо, и я чуть не взвыл от боли. Айнабат встревожено заглянула мне в глаза; удерживая Ахмед-майыла, быстро поменялась со мной местами.

Пошатываясь, повели мы, а точнее потащили, Ахмед-май-

была к нашей стоянке. Конь и верблюды потянулись за нами.

Доковыляв до места, мы уложили старика на попону. Ахмед-майыл тяжело дышал, глаза его закатились.

Айнабат смочила водой из бурдюка тряпку, вытерла ею лицо Ахмед-майыла и его страшный, покрытый белым налетом язык, распухший так, что не помещался во рту.

Я торопливо поставил на огонь тунче, и, как только вода нагрелась, Айнабат принялась старательно обмывать язык старика.

Когда опустело второе тунче, старик пришел в себя и уже смог шевелить языком, который ожил – порозовел, был уже не таким распухшим.

Я обессиленно опустился рядом с Ахмед-майылом – разламывалось простреленное плечо, от раны на голове боль толчками отдавалась в мозг, перед глазами все кружилось, таяло в красном тумане. Я куда-то плавно опускался, всплывал, снова опускался.

Очнулся от того, что ладоням и пальцам стало горячо. Посмотрел на руку. В ней – пиала с ароматным гок-чаем. А, именно то и было надо! Я сделал глоток, другой. В голове прояснилось. Посмотрел вправо – сосредоточенная Айнабат склонилась над Ахмед-майылом, смачивает тому, как я недавно, язык, губы, выжимает тряпочку в рот. Старик постанывает, кадык дергался от судорожных глотательных движений... Когда тунче опустела и Айнабат, наполнив ее, вновь поставила на огонь, Ахмед-майыл мог уже соображать.

Сел, ссутулился, усталился в костерок. Пиалу со вновь заваренным чаем он мог уже держать сам. Обхватив ее ладонями, прихлебывал мелкими глоточками, жмурился от удовольствия; лицо старика оживало, и вскоре он смог говорить.

А Айнабат в это время так же сосредоточенно колдовала над моими ранами: отмочив горячей водой бинты на плече, обмыла его теплой водой, обложила рану разваренными, перемятыми в кашицу травами, снова перевязала. Принялась за рану на голове. Я, прикрыв глаза, оцепенел, лишь ежился иногда, когда волосы Айнабат щекотали кожу и когда улавливал сквозь аромат целебных припарок тонкий слабый запах женского тела, и тогда ноздри раздувались, сердце замирало, почти останавливалось. Я слегка раздвигал веки, видел светлосмуглую шею Айнабат со слегка вздувшейся пульсирующей жилкой, плавный овал щеки, полные розоватые губы чуть приоткрытого от усердия рта, белые, влажно поблескивающие зубы, и почти остановившееся сердце начинало бешено колотиться, грудь распирал восторг, хотелось петь от счастья.

– ...Вот Халык и прислал мне весточку: “Приезжай, надо, чтобы ты встретился с этой женщиной, посмотрел на нее, поговорил. Я ей описал тебя, она не против..» – донеслось до меня, когда Айнабат отошла к костру и кровь моя, взбудораженная близостью этой женщины, стала успокаиваться, и я опять начал и видеть, и слышать.

Оказывается, Ахмед-майыл не спеша, надолго задумыва-

сь, вздыхая, рассказывал о том, что с ним произошло.

Солнце было уже высоко, Айнабат готовила обед, а старик, которому надо было выговориться, чтобы снять с души камень, все рассказывал и рассказывал. Рассказывал и после того, как поели. Иногда надолго замолкал, иногда повторялся, уточняя детали, выделяя подробности. Я не перебивал, не переспрашивал, на Ахмед-майыла не смотрел – лежа на крутом склоне бархана, не отрывал глаз от Айнабат, которой, казалось, до того, что случилось с Ахмед ага, дела не было. Сначала она готовила еду, потом мыла посуду, напоила Боздумана и уже расседланного – когда только успела? – басмаческого коня, сходила к верблюдам, которые шагах в десяти ошипывая кусты, привела нашего и ему дала немного попить, а потом села по ту сторону костра, подальше от нас, и, как обычно, застыла в неподвижности.

К исходу дня, когда солнце повисло над горизонтом и Айнабат, оживив костер, приготовила вечерний чай, Ахмед-майыл закончил свой рассказ.

И вот что я узнал.

“...Надумал Ахмед ага жениться. Устал один. Обе жены умерли: одна в двадцатом году от оспы, вторая – только-только начали счастливо жить – умерла во время родов. Сыновья его, оставшиеся сиротами, жили у Керима, брата Ахмед ага, дочка – у его сестры. Опустел дом. И все чаще и чаще стал задумываться Ахмед ага о том, что надо бы собрать всех детей под одной крышей и зажечь вместе – время наступи-

ло спокойное, можно возродить семью. Но для этого нужна женщина – жена, новая мать ребятишкам, хозяйка очага. Только где ее найти такую: и добрую, чтоб дом содержала, и привлекательную, чтоб ему, Ахмеду, с ней и на людях не стыдно было, и по ночам приятно – не старый ведь он еще.

Мыслями и мечтами своими поделился Ахмед ага с лучшим другом Халыком. Тот поразмышлял, поперебирал что-то в уме и обрадовал: “Есть, есть у меня такая женщина на примете! Вдова. Живет в ауле Гара-сай. И хороша собой, и характер покладистый, и работающая... Я поговорю с ней о тебе». – “Что же ее никто замух не берет, если она такая золотая?» – удивился Ахмед ага. “Тут, понимаешь, какое дело, – Халык удрученно почесал затылок. – Детей она не может рожать, не получается у нее. Вот и обходят женихи вдовушку стороной». – “Э, для меня это не имеет значения, – Ахмед ага даже обрадовался, – у меня уже есть трое своих. Хватит с нас. – И встревожился. – А может, она вообще детей не любит, потому и не заводила?» – “Любит, любит, – горячо заверил Халык. – “Поговори. Только обо мне ей всю правду скажи, ничего не скрывай и не приукрашивай». – “Понял. Обещаю». Пожали руки, обнялись. И Ахмед ага, полный надежд, уехал тогда в Тахта-Базар.

Недели две назад Ахмед ага получил от своего друга Халыка приятную весточку: “Приезжай, я встретился с той женщиной, рассказал о тебе: она хочет с тобой увидеться и обо всем поговорить».

Когда Ахмед-майыл узнал, что я еду в Хиву, он не хотел упустить момент и пошел к Арнагельды. Поделился с ним своими планами. Для доказательства рассказал и о весточке друга. «Раз такое дело, поезжай и загляни к своей женщине, – разрешил Арнагельды. – Это вам по пути. И еще пошутил: – Теперь, если будешь жениться, найди себе такую жену, которая умрет лишь после того, как тебя похоронит».

Мысль о женщине, про которую говорил Халык, не давала покоя Ахмеду: вдруг она передумает, вдруг уже нашелся кто-то и увел ее в свой дом?.. Совсем истерзался Ахмед ага, в зеркальце стал посматривать на себя, усы прихорашивать – нет, неплохой вроде бы еще мужчины, не должна бы вдовушка отказаться. Эх, только бы дождалась, только бы ее кто-нибудь не умыкнул!.. Вот и предложил он на бархане у колдунца Дервиш-мазар то, что предложил, рассчитывая поскорей попасть на смотрины, а если все сладится, то и свадьбу справить и неделку другую с женой в ее доме провести. Но о своих и тревогах, и надеждах ничего не сказал – боялся: а вдруг женщина не понравится или понравится, но откажет? Вот позор-то – как в глаза Максуту, то есть мне, смотреть?

Когда я разрешил ему съездить одному к Халыку, Ахмед ага, уже вскочив на коня, хотел предупредить, чтоб не ждали к вечеру, да не решился: боялся, что я не пушу или вместе с Айнабат увяжусь за ним. Переживал, что оставил меня с этой обузой – молчаливой нелюдимой хивинкой, но, пообещав себе, что задержится всего на день, а потом отыщет нас,

успокоился. Прискакал к Халыку уже думая не о нас, а о своем будущем, о скорой встрече с той, которую, если судьбе будет угодно, введет в свой дом хозяйкой, положит в свою постель женой.

До глубокой ночи просидели они с Халыком за чаем – радовались встрече, вспоминали о хорошем и плохом, беседовали о жизни, размышляли о новых временах, изредка говорили о той, к которой поедут. Халык, когда Ахмед ага начал расспрашивать о ней, посмеивался, подмигивал: “Зачем слова?.. А то распишу тебе, подумаешь -гурия; увидишь – разочаруешься. На меня обидишься, из друга во врага превратишься...».

Ранним утром Ахмед ага и Халык отправились в Гара-сай. Дом женщины, к которой приехали на смотрины, стоял на окраине аула, почти на отшибе. Всадники спешили, принялись не спеша привязывать коней к изгороди, рассчитывая, что хозяйка увидит, выйдет встречать. Из-за большой кучи верблюжьей колючки во дворе, заготовленной впрок, появилась согбенная невысокая женщина в парандже и с кумганом в морщинистой руке. Ахмед ага растерянно уставился на нее, потом перевел испуганный взгляд на друга. Тот засмеялся, покачал еле заметно головой: нет, нет, не бойся, это не невеста твоя.

Старушка тусклым голосом пригласила в дом. Вошли. Халык принялся объяснять: кто они, к кому приехали. Старушка перебила: “Знаю, знаю тебя, помню, не думай, что совсем

из ума выжила!». И объяснила, что дочь скоро вернется – ушла с соседками в другой конец аула на той: сын родился у какой-то женщины. Ахмед ага, притворяясь безучастным, незаметно осмотрелся: чисто, уютно, ухожено, зажиточно, кувшины полны водой, около очага аккуратно сложены дрова, постели и подушки на своем месте, стопочкой. Хорошая хозяйка, ничего не скажешь, но какова сама?.. Внешне. По характеру. Тоже, скорей всего, хорошая. “Каков дом, такая и женщина в нем, – так говорят в народе». И Ахмед ага приуныл: “Захочет ли эта женщина, которую еще не видел, но которая уже нравилась, и чем дальше, тем больше, пойти за него? Ну что в нем хорошего? Немолодой, лысый. Правда, не такой уж урод, не так уж, страшен, чтоб шарахались – вспомнил свое лицо, когда, подравнивая усы, смотрелся в зеркальце, и все же... Согласится или нет?»

Снаружи слышались веселые женские голоса. “О, у тебя, Огулсапар, гости. Издалека, знать приехали: видишь, кони какие понурые». – “А может, просто ленивые клячи, – звонко засмеялась другая. – Упаси Аллах, если и хозяева такие же».

“Это она,” – догадался Ахмед ага и его бросило в жар, потом в холод: голос женщины подействовал на него как щекотка; он стал молить небо, чтоб его будущая жена оказалась такой, какой нарисовало воображение.

Но Огулсапар оказалась даже лучше, красивей, чем представлялась. Среднего роста, пухленькая, ладненькая она во-

шла непринужденно, не смущаясь, но и не развязно. Улыбнулась приветливо, отчего на смуглых, зарумянившихся щеках появились ямочки, стрельнула любопытствующим взглядом на Ахмед ага и отвела глаза.

– Благополучно ли добрались? – спросила у Халыка.

Тот приосанился, ткнул друга в бок локтем. Ахмед ага не заметил этого – он, одеревенев, хотел и не мог оторвать взгляда от Огулсапар.

– Спасибо, доехали хорошо, – степенно ответил Халык. – А как у вас дела?

– И у нас все хорошо, – женщина потупилась.

Старушка, которая все это время копошилась в кухонном углу, бренчала посудой, вышла, даже не повернув в сторону гостей голову.

– Ну, Огулсапар, – откашлявшись, начал Халык и положил руку на плечо друга. – Это и есть тот самый мужчина, о котором я говорил.

– А-а, вот оно что... – женщина смутилась, покраснела, как девчонка, и опустила голову, исподтишка взглянув на Ахмед ага.

Тот с широкой застывшей улыбкой – лицо затвердело от напряжения – потирал, не замечая этого, вспотевшие ладони, а душа ликовала: «Повезло мне с женщиной!.. Лишь бы согласилась, лишь бы не отказала. Хорошая будет жена, хорошая будет хозяйка и мачеха». И уже видел себя восседающим перед расстеленным дастарханом, вокруг которого со-

бралась вся семья – сыновья справа от отца, Огулсапар с дочкой по другую сторону, у очага.

– Что ж, Халык, так уж на роду у нас, женщин, написано, должны мы, одна раньше, другая позже, идти за мужчиной, который нас выбирает, – тихо начала Огулсапар, не поднимая лица. – Хотя и трудно решиться войти в дом, которого не знаешь и не видела. Но я верю тебе: если ты говоришь, что твой друг хороший человек, значит, так и есть, – и она опять на миг вскинула на Ахмед ага глаза.

– Конечно, хороший! – горячо заверил Халык. – Когда бы я хоть капельку сомневался в этом, разве привел бы его?! Клянусь, – он прижал ладони к груди, подался всем телом к женщине, – если ты собираешься, как говорила мне, обзавестись семьей, не найдешь лучшего мужа, чем мой друг, – и опять положил руку на плечо Ахмеда ага. – Почему сомневаешься? Я ведь тебе все рассказал о нем. А ему – о тебе. Вы подходите друг другу, вы нужны друг другу. Он – тебе; ты – ему.

– Да, да, наверное, – Огулсапар кивнула. Раз специально приехал, да еще из такой дали, из Пенди, значит, я нужна ему.

– Еще как нужна! Очень нужна! – выкрикнул убежденно Халык.

Женщина помолчала, поразмышляла. Подняла голову и впервые открыто посмотрела в глаза Ахмед ага. Но обратилась по-прежнему не к нему:

– Прежде, чем я дам согласие, хочу спросить тебя, Халык: сказал ли ты своему другу, что Аллах не дал мне счастья рожать детей? Хотя я очень люблю их. Если твой друг все-таки рассчитывает, что я подарю ему ребенка, пусть скажет сейчас. Если скажет, когда снимусь с места, мне будет тяжело это слышать. И жизнь у нас не получится.

– Мне достаточно, чтобы вы, Огулсапар, хорошо относились к моим детям, – осевшим от волнения голосом выдавил Ахмед ага. – Будьте им матерью, а мне хорошей женой, и больше мне ничего не надо.

– Я постараюсь – Огулсапар снова покраснела и снова опустила глаза. – Хорошо, я согласна... – И когда Халык с Ахмед ага, радостно переглянувшись, начали было предлагать, что, может, прямо сейчас и поедем к Халыку, где и сыграют свадьбу, но женщина перебила их, несмело улыбаясь: – Нет, нет, не сейчас. Приезжайте дней через пять – десять. Мне надо устроить поминки по родителям, раздать сестрам все это, – повела рукой, показывая на имущество. – Оставлю себе только то, что можно увести на одном верблюде. И буду вас ждать. А пока... если мы обо всем договорились, пора и обедать.

– Спасибо за угощение, Огулсапар, – допив последнюю пиалу чая, Халык встал. – Нам пора. Мой друг должен выполнить приказ своего командира... Поехали! – посмотрел требовательно на Ахмеда ага и пошел к двери.

Ахмед ага тоже встал, поблагодарил, но уходить не спе-

шил – не хотелось ему уезжать отсюда, не хотелось расставаться с Огулсапар.

– Теперь-то, когда сватовство кончилось, может скажете, как вас зовут? – Женщина лукаво улыбнулась, отчего на щеках появились ямочки.

– Ахмед, – ответил он хрипло, потому что голос перехватило, прочистил горло и засмеялся сам, удивляясь своей нескованности. – Можете называть и Ахмед-майылом, меня все так зовут.

– Нет, я вас буду звать отцом, или... – Огулсапар медленно, как во сне, потянулась к нему: он в один шаг оказался рядом, сжал ладонями плечи Женщины. – Ох, парень, если б вы знали, как надоело мне мое одиночество, – выдохнула она, глядя ему прямо в глаза. Взгляд был веселый и бесшабашный. – Заберите меня поскорей отсюда.

У Ахмеда ага кровь ударила в голову, горло сдавило; он быстро взглянул на дверь, зашептал, захлебываясь:

– Ты мне очень нравишься, Огулсапар... Сразу понравилась, как только услышал твой голос, увидел тебя... Заберу, конечно, заберу. Надо только немного подождать, – и наклонился к самому лицу женщины. – Но зачем ждать?.. А что если мы сейчас запремся и проведем нашу первую брачную ночь? Ведь мы почти муж и жена...

– Нет, нет, о чем вы говорите! – Огулсапар вырвалась из его рук, отскочила. И рассмеялась от души. – Ой, боже мой, какие страсти!

– Ладно, подождем, – согласился Ахмед. – У меня, видать рассудок помутился от радости... Очень уж ты мне по сердцу. – И тяжело затопал к выходу.

– Возвращайтесь как можно скорей, – с теплом в голосе попросила за его спиной женщина.

– Я скоро вернусь. Как закончу дела – сразу к вам! – обернувшись, еще раз заверил серьезно Ахмед ага.

– Я буду смотреть на дорогу, – Огулсапар глядела ласково, обещающе. – Везде, где бы и с кем бы вам не довелось быть, не забывайте свою слабую и одинокую, что оставили здесь.

Ахмед ага усмехнулся, покрутил головой: как, мол, можно даже подумать, что я забуду. Пошел, все время оглядываясь, через двор к Халыку, который уже красовался, подбоченясь, на скакуне.

– Счастливого вам пути и возвращайтесь благополучно! – крикнула с порога Огулсапар, козырьком приложив ладонь над глазами.

– Да услышит тебя Аллах, – серьезно ответил Халык.

Ахмед ага вскочил в седло, с силой стукнул пятками застоявшегося жеребца, пустил его вскачь. Халык догнал друга, когда тот, успокоившись, придержал коня.

– Эхе-хе, вижу ты совсем извелся без женщины, – посмеиваясь, заметил Халык и покосился на Ахмед ага. – Так и ел ее глазами, так и ел эту аппетитную вдовушку. Боюсь, если б не я, набросился бы на нее, как коршун на мышь. А может, и набросился, когда я ушел, а? Скажи, не скрывай.

Ахмед ага не ответил, сдержанно улыбался, думая о своей будущей жене, вспоминая ее быстрые, ловкие руки, ямочки на щеках, глаза.

– Ну, что я тебе говорил: увидишь – спасибо скажешь, – оживленно болтал Халык, довольный и собой, и тем, что другу угодил.

– Говорил и опять говорю: “спасибо”, – отозвался, наконец, Ахмед ага.

– Тогда говорил “спасибо” за то, что захотел помочь мне; сейчас – за Огулсапар...

Они были уже далеко от аула и сейчас медленно ехали плоским берегом почти пересохшей речушки. Тропинка вползала в камыши, сначала низкорослые, хилые, а потом – настоящие заросли с толстыми стебельками, с пересохшими желто-бурыми листьями, похожими на длинные лезвия. Пришлось ехать гуськом. Но довольные друзья, забыв обо всем, продолжали беседовать: обсуждали достоинства семейной жизни, размышляли о будущем Ахмед ага и его детей, но чаще нет-нет и возвращались к рассуждениям об Огулсапар: какая-де она симпатичная, да хозяйственная, да веселая, да приветливая...

Вдруг камыши слева и справа затрещали, из зарослей выскочили двое вооруженных: первый с размаху прикладом ударил Халыка в бок, схватил за узду коня; второй, вскинув винтовку, прицелился в грудь Ахмеда ага. Тот, тараща глаза на друга, который, выбитый из седла, корчился на земле,

взметнул испуганно руки.

– Чего возишься?! – прикрикнул на напарника первый: изможденный, почерневший, заросший до самых глаз угольной бородой. – Кончай с ним!

– Не убивайте, не убивайте, почтеннейшие! – похолодев от ужаса, попросил Ахмед ага.

– Постой, не стреляй! – резко приказал бородатый второму, уже прищурившему глаз перед тем, как нажать курок.

Бородатый приставил дуло винтовки к виску Халыка и, не глядя на него, выстрелил. Халык дернулся, вытянулся. Бородатый перешагнул через труп, подошел к Ахмеду ага.

– Судя по выговору, ты из Пенди?

– Да, да, – подтверждая, сильно замотал головой Ахмед ага. – Из Тахта – Базара.

– Слезай, – лениво потребовал бородатый и, потарапливая, ткнул дулом винтовки под ребро. Когда Ахмед ага спрыгнул с коня, бородатый спросил:

– Знаешь дорогу через границу? – Посмотрел зубы Тулпара, оглядел коня, отойдя на шаг.

– Знаю, знаю, – срывающимся голосом заверил, не задумываясь, Ахмед ага. – Был в тех краях пастухом, все знаю.

– Переведешь через границу, оставлю живым. Задумаешь какую-нибудь хитрость, пристрелю, как собаку.

Ахмед ага, глядя, как второй басмач – молоденький, юркий – тащит за ноги Халыка в камыши, опустил голову, зыркнул по сторонам: нет, не удрать. А перед глазами всплыло

лицо Огульсапар, зазвучал в ушах ее голос: “Возвращайтесь благополучно!» – И заныло, заболело сердце. – “Прощай, славная женщина, знать не суждено нам пожить вместе».

Молоденький вернулся на тропу, молодцевато взлетел на коня Ахмеда ага.

Ахмед ага, без понуканий встал между всадниками. Камышами пробирались недолго – тропинка выбежала на открытое место. Всадники, проехав недолго, свернули через невысокий холм, но оказались во впадине. Там паслись два верблюда и рыжий конь, который принадлежал, очевидно, третьему басмачу, пожилому, толстому, с обветренным красным лицом и властными манерами...

– О, Халык, Халык, прости меня, – тяжело вздохнув, закончил рассказ Ахмед-майыл. – Это я, только я виноват в твоей смерти. Почему меня не убили вместе с тобой ?!

– Хватит причитать! – оборвал я. – Стонами горю не можешь, друга не воскресишь. Если б ты делал то, о чем мы договорились, если б не твоя затея со смотринами... – и хотел добавить: посмотрите, мол, на него, жениться ему захотелось, голову потерял, но осекся. Потому что и сам терял голову, и сам мечтал о женитьбе, как о счастье. Посмотрел смущенно на Айнабат, словно она могла угадать мои мысли.

Отдохнув, мы закопали убитых и опять вернулись к костру. Я лег на попону, отвернувшись от старика. Тот опять начал благодарить за спасение, опять вздыхал, окликал меня, чтобы спросить или попросить о чем-то, но я сделал вид,

будто сплю. А сам наблюдал за Айнабат. Она тоже не спала и даже не притворялась; ворочалась, иногда всем телом вздрагивала, куталась, будто ей было нестерпимо холодно.

Еще затемно, даже не попив чаю, отправились мы в Оджарлы. Прибыли туда, когда начало светать. Нашли дом председателя сельсовета. Пока спешивались у ворот, из дверей глинобитной кибитки выглянул высокий, красивый, точно девушка, парень. Это и был председатель сельсовета.

Мы оставили у него Айнабат с верблюдами, попросили в помощь людей и как только они собрались, тут же отправились за телом Халыка.

Председатель поехал с нами, но перед этим направил в аул Халыка двух аксакалов, чтобы эти старики, хорошо знавшие обычаи, известили о несчастье родных погибшего.

В ближайшем ауле узнали, что один из аульчан случайно наткнулся на убитого и отвез его в село. Халыка опознали. Сообщили его родственникам, и они приехали, чтобы забрать мертвого. Среди них был чернобородый старик, который сказал, что Халык уехал с другом, того, наверное, тоже убили, поэтому надо найти и его тело. Люди прочесали все камыши в том месте, но никого не нашли. Родственники Халыка попросили местных жителей: если ко-нибудь найдет погибшего или узнает что-нибудь о нем, пусть сообщит им.

Когда мы вместе с председателем и его односельчанами приехали в аул Халыка, друга Ахмеда ага уже похоронили – он всего лишь одну ночь пробыл в своем доме, да и то теперь

гостем.

На душе у меня было тяжело и горько, как бывает всегда, когда приходишь в дом, где смерть. Халыка, конечно, похоронили, но горе осталось, оно не покинуло и этот двор – люди сидели скорбные, сосредоточенные, задумчивые, глядя вниз.

Мы, объяснив, что не можем долго задерживаться, собирались уже уходить с поминок Халыка, но тут в дом вошла пожилая, высокая и, видимо, в молодости очень красивая женщина в старом чабыте и чернобородый мускулистый яшули.

Увидев ее Ахмед-майыл дрогнул. – Нурсолтан... вот так получилось, – сожалеющий голос Ахмед ага задрожал. – Вот как пришлось вернуться сюда...

На красных, с опухшими веками глазах жены Халыка показались слезы. Но она овладела собой, сдержалась.

– Что подделаешь, Ахмед, – сказала она скорбно. – Видимо этому суждено было случиться. – Ахмед ага тяжело вздохнул.

– Видишь, причиной какого горя я стал... – И голос его снова задрожал.

– На все воля Аллаха – чему суждено случиться, то и случится, никому не дано избежать того, что на роду написано, – повторила Нурсолтан. – Если кому судьбой предназначено, что его укусит собака, то собака укусит, даже если этот несчастный едет на верблюде... Спасибо, Ахмед, что при-

шел; спасибо, что искал тело моего мужа. Покойный очень любил говорить о тебе. Не забывай нас. Хотя теперь и нет твоего друга, но есть его дети, так что приезжай к нам, мы всегда будем тебе рады, – сказала она, стараясь не показать своего горя и обиды, но они чувствовались.

– Вы, Нурсолтан, простите мой грех! Смерть Халыка, любящего брата своего, на моей совести и нет мне прощения. – Тон, его слова опять обеспокоили Нурсолтан.

– Не думай так, Ахмед! Нет ни в чем твоей вины. И я, и дети мои, и весь род наш так считают. Знай это! – сказала решительно и глаза ее ожили, стали требовательными, властными. Но не надолго в них держался жесткий, холодноватый блеск. Потеплели, смягчились. – Ты не мог спасти моего мужа – знаю об этом. Знаю и то, что тебе те шакалы-убийцы приготовили еще более страшную участь, мой хоть не мучился, а ты... Люди рассказали, каким ты был, когда тебя освободили...

Какие люди? – удивился я. – Никто же не видел... Айнабат. Конечно она, больше некому. Айнабат матери Назара – председателя сельсовета; мать Назара еще кому-то. “Что узнает одна женщина, узнает весь мир», не зря так говорят.

Мы из дома вышли во двор. И в числе трех мужчин, которые, скрестив ноги, сидели вокруг поставленного на огонь казана, я увидел пастуха Нагыма. Тот, положив на колено половину пресной лепешки, задумчиво смотрел в костер. Встретившись со мной взглядом, узнал меня. И виновато

опустил голову, устыдился, видно, что около такыра, страдая, что нет терьяка, поносил бедного Халыка. Так и просидел Нагым, не подняв лица, сжавшись, не шелохнувшись – думал, наверное, что я расскажу людям, как нелестно говорил он об убитом хозяине дома.

Все время, пока ехали в Оджарлы, Ахмед-майыл не произнес ни слова. Правда, было не до разговоров, мы летели во весь допустимый, чтобы не загнать коней, опор – торопились успеть в аул засветло, и все же... Старик был непривычно сосредоточенный, углубленно-задумчивый; даже, когда, давая коням отдохнуть, переводили их на легкую рысь, начинали мы с Назаром обмениваться короткими замечаниями о чекистах, о Нурсолтан и мулле, о погоде на завтра. Ахмед-майыл молчал, пристально глядя прямо перед собой.

В аул приехали перед закатом – жара спала, воздух вдали посинел, длинные наши тени распластались далеко по земле, ломаясь, изгибаясь на буграх и выбоинах дороги.

Не успели мы подъехать к дому Назара, добродушный волкодав Акбай заскулил, завзвизгивал, увидев хозяина. На его восторженные стенания выскочила мать Назара, всплеснула руками и, радостно называя нас “маленькими» и “роденькими», приняла повод коня сына. Повела жеребца во двор, все время оглядываясь со счастливым лицом. Появившаяся вслед за старушкой Айнабат в заштопанной, отстиранной, а потому какой-то особенно праздничной парандже, несмело взяла под узды Боздумана, повела его за собой и

лицо у женщины тоже было счастливое. “О, Аллах, – у меня захватило дух, – неужто скучала обо мне, тосковала?» Я пытался охладить себя, вернуть на землю: “Просто женщина довольна, что затянувшаяся остановка кончилась, что завтра в Хиву», – но верить такому простому объяснению не хотел.

И когда слез с коня, когда расседлав Боздумана, все искал взгляд Айнабат, чтобы увидеть в нем хоть намек на радость от встречи со мной. Женщина глаз не отводила и радость в них была, но какая-то скрытая, затуманенная, словно Айнабат вглядывалась вдаль или в себя.

Она осталась во дворе поить-кормить коней, а старушка проворно шмыгнула в дом; мы потянулись за ней.

Внутри стало вроде бы как-то по другому – светлей, просторней, что ли. И только приглядевшись я понял в чем дело: кошмы, застилающие пол, вычищены – нет ни соринки, ни пылинки, ни пятен, стали как новые; стены тоже без того налета, который оставляет время, и по ним, видимо, тоже прошла рука женщины, любящей порядок и уют; камни очага сияют свежей, чуть ли не режущей глаз побелкой.

“Айнабат» – догадался я, потому что увидел, как Назар растерянно и пораженно взглянул на мать; значит, – не она. Она могла бы сделать все это до нас.

В доме нас уже ждал ужин. Я сел к дастархану, чувствуя, как от освеженного лица разливается по всему телу бодрость, сливаясь с приятной усталостью. Тихо, по-домашнему простреливали в очаге дрова, мясо было сочное, лепешки

свежие, чай ароматный и горячий – хорошо: уютно, спокойно, ни забот, ни тревог. Вот так бы и мне – свой дом, ласковый огонь очага, еда на дастархане, Боздуман и коровы, овцы для Айнабат на дворе. И еще, обязательно, куча черноглазых, тугощеких, круглолицых, как мать, шустрых ребятешек – чем больше, тем лучше. А потом – ночь: очаг погас, детишки угомонились, посапывают во сне, а я, уже заранее улыбаясь, жду, когда Айнабат, закончив дела по хозяйству, придет ко мне, нырнет, горячая и гибкая, под одеяло и опять до утра, до самого рассвета будут моими ее послушное тело и ее обнимающие меня руки...

В этом ауле нам пришлось пробыть три дня – председатель сельсовета увел отбитых у басмачей верблюдов в Тебден и попросил дожждаться его. Вернулся он оттуда не один. Вместе с ним приехали еще двое. Сначала они хотели забрать нас в город, но, прочитав документы, которые дал нам Арнагельды, посоветовавшись между собой, передумали. Только расспросили еще раз о схватке с басмачами и меня, и Ахмед ага, и даже Айнабат, записали все наши показания. А потом пожелали нам счастливого пути, предупредив, что, по их сведениям на дороге, которая ведет через районы Ташауза, появились казахские и туркменские басмачи.

Как только эти люди уехали, Айнабат стала готовиться в путь: взяв у старушки, хозяйки дома, тазик, перестирала всю мою и Ахмеда ага одежду, развесила ее сушиться на солнце, вымыла голову, расчесала волосы.

Мать председателя, ласковая и сладкоречивая женщина, называвшая всех нас “милыми» и “дорогими», все время была рядом с Айнабат, старалась во всем помочь ей.

Вечером она, как обычно, развела огонь в круглом очаге посредине дома – сначала подожгла сухой верблюжий помет, а когда он разгорелся, подложила еще и дров. И задумалась, сидя на корточках и обхватив колени, отчего стала напоминать мокрого голубя, спрятавшегося от дождя в траве.

Спать мы сегодня легли раньше обычного – решили завтра еще затемно тронуться в путь. Председатель, чтобы не стеснять нас, ушел ночевать к соседу.

В эту ночь я долго не мог уснуть. Прислушивался к сытым вздохам коров, привязанных возле дома, к голосам людей на улице, к ровному посапыванию Ахмеда ага и думал об Айнабат. Но больше все же о том, какую дорогу выбрать – мысленно сравнивал путь через Ташауз с тем, который ведет в Куняургенч.

Мы шли по Узбою, по пути, который вел через Дервезе, Шахсенем. Его я выбрал еще в Пенди, прикидывая, как побыстрее добраться до Хивы, – путь этот дня на два короче, чем дороги на Ташауз. Но предупреждение людей из города о том, что в его окрестностях появились басмачи, заставило призадуматься... “А может, если пойти через колодец Заклы Дамла, получится не так уж и плохо? Вдруг повстречается караван из Ашхабада в Гугуртли? Тогда можно будет присоединиться к нему и пройти большую часть с людьми.

А когда караван свернет, останется совсем уж немного. Выберемся на такыр, пойдем быстрее. Глядишь, за пару дней и доберемся до Хивы...»

Отвлек меня от размышлений еле слышный шепот старушки. Я невольно прислушался.

– Дочка, ты не спишь? – окликнула она несмело.

– А что, мать? – отозвалась Айнабат.

– Утром ты уезжаешь, – посмелей продолжала старушка, – и если я сейчас не скажу тебе, что хочу, то знаю, не скажу никогда. – Помолчала. А когда заговорила снова, голос стал просящий и немного заискивающий.

– Я все хочу тебя, детка, кое о чем спросить, да вот никак не решаюсь... Ты только пойми меня правильно.

– Говорите, матушка.

– Ты мне сразу, как увидела тебя, понравилась, дочка. А за это время, что пожила с тобой, и полюбила. Оставайся у меня, будь мне невесткой? – Сына моего ты видела, – голос старушки наполнился гордостью. – Красавец, умница, все, даже старики, его уважают. И начальник он, большой в ауле человек. А постарше станет, еще выше пойдет. Я знаю о твоем горе. Как говорится: из-за того, что кто-то умер, – не умирают, такая мудрость есть: лучше живая мышь, чем мертвый лев. Надо о себе думать...

Сердце мое, услышав это, чуть не остановилось, а потом заколотилось так сильно, что я испугался, как бы женщины не услышали его стук. Но лежал, не шелохнувшись и почти

не дыша, чтобы мать председателя и Айнабат не догадались, что не сплю и слышу их. Больше всего я боялся, что Айнабат поддастся на уговоры старушки. Получилось бы, что я, приведя в этот дом Айнабат, сам, по сути, отдал ее в жены другому – этого я не вынес бы.

Айнабат сразу не ответила. Я понял, что слова матери председателя растревожили ее самые больные раны и сейчас она беззвучно плачет, вспоминая свою жизнь. И в самом деле, когда Айнабат заговорила, голос ее дрожал от сдержанных слез.

– Мой муж – он был для меня единственным, был самым лучшим, любимым...

– Ну что ж, дочка, нет так нет... Тебе видней...

– У вас хороший сын, мать, – тихо сказала Айнабат. – Любая пошла бы за него с радостью, не задумываясь... Но я не могу.

– Но почему? – удивилась старушка. – Ведь тебе все равно рано или поздно надо замуж. Ты же не будешь всю жизнь с родителями. Найдется мужчина, который уведет тебя в свой дом.

– Не могу я, – простионала Айнабат. – На этом разговор, заставивший меня переволноваться, окончился. И сердце мое успокоилось.

Утром провожали нас чуть ли не всем аулом – люди знали о нас уже все, сочувствовали Айнабат и Ахмеду, желали нам счастливого пути, старики просили Аллаха, чтобы помог

нам избежать встречи с басмачами, молодые, кружившие на конях вокруг нас, предлагали себя в сопровождающие, женщины совали в руки узелки с продуктами, мужчины спрашивали, не нужны ли патроны. И все интересовались, какой дорогой пойдем, чтобы еще, не выслушав ответ, вступить в спор друг с другом о том, где опасней.

– Спасибо за беспокойство, – благодарил я. – Какой путь выберу не знаю. Станем приближаться к опасным местам – решим, – потому что не давала покоя мысль: “А не помчится ли кто-нибудь из вас, чтобы предупредить: идет, мол, легкая добыча, два коня, верблюд и красивая женщина, за которую можно получить большие деньги, а ведет эту группу большевистский пес Максут, убивший двух воинов джихада».

– Спасибо, всем спасибо. За нас не беспокойтесь... – и хотел добавить, что в пустыне знаю все, как в собственном доме, но не решился: а вдруг все-таки кто-нибудь успел предупредить врагов? Пусть лучше караулят нас на главных дорогах, а мы – стороной, за барханами, малоизвестными тропами. Поэтому закончил успокаивающе: – Мы пойдем там, где ходили караваны, где заблудиться невозможно.

Наконец, провожающие приотстали, остановились на окраине аула. Нас еще какое-то время сопровождали всадники во главе с председателем, но вскоре и они, придержав коней, пожелав нам доброй дороги, остановились, а потом и развернулись – всклубили, удаляясь, пыль. Мы остались одни.

И опять потянулся монотонный, как песня чабана, переход; опять время измерялось расстоянием от привала до привала. Мы медленно пробирались между серыми барханами, напоминающими огромных верблюдов, которые улеглись, застигнутые песчаной бурей, да так и не встали; пересекали такыры, плоские, как стол, и твердые, как камень; иногда шли по еле приметным ложбинам, которые по весне наполнялись водой, становились руслами ручейков и речушек, а сейчас были унылы и мертвы. Правда, чем дальше удалялись мы от аула, тем больше менялся облик пустыни – в этих краях, видно, прошли благотворные осенние дожди, и чем севернее, тем, судя по всему, дожди эти были затяжней: на барханах возродилась зеленая трава, она становилась с каждым нашим переходом все гуще и выше. «Славная осень в этих краях, есть где скоту нагулять на зиму жир, и тогда, как говорят в народе, ни овцам, ни верблюдам, ни лошадям зимой морозы не страшны», – радовался я, поднимаясь на какой-нибудь пригорок, чтобы оглядеть дали – нет ли опасности, нет ли чужих людей? Но все спокойно под нежарким уже, ласковым осенним солнцем: зелеными волнами уходят в дальнюю даль барханы и – ни цепочки верблюдов, ни группки всадников, ни одинокого конника. Пустыня ожила, расцвела в последней, предзимней щедрости, а для кого, зачем? Где отары, где табуны, где стада? Пусто от горизонта – обезлюдел край в совсем недавнее тревожное время, да и теперь еще пастухи жмутся к селениям, боятся

выйти на дальние пастбища. Лишь маленький наш караванчик медленно, но неуклонно тянувшийся к северу, видит это богатство, узенькой-узенькой ленточкой приминает эти травы. А ведь раньше...

У путника, который во время движения остается один на один со своими думами, есть лишь одна радость – воспоминания. Вспоминаю и я: когда-то здесь, направляясь, как и мы нынче, в Хиву, встречались, случалось, по три-четыре каравана. Оживленно, весело было тогда на привалах: костры, ароматы жареного мяса, супов, гомон, смех, заинтересованные, в полный голос разговоры – какие цены на базарах, какой товар идет, кто что везет? Караван-баши, приказчик и даже погонщики спорят, галдят, что-то продают друг другу, что-то показывают, чем-то меняются. И среди них – невозмутимые, полные достоинства и важные купцы: возлежат на дорогих коврах около костров, чай попивают или кальян покуривают, на гвалт и суету вокруг внимания не обращают. Однажды я даже сопровождал самого известного среди торговых людей, знаменитого Шевкета-купца и самую юную из его жен, которую Шевкет возил с собой и о красе которой ходили легенды, хотя ее лица, спрятанного под сеткой паранджи, никто не видел. Кроме, быть может, какого-то молодого погонщика. Говорили, будто он, когда на караван налетела песчаная буря, сумел заблудиться с белым верблюдом жены грозного Шевкета и два дня и две ночи провел вместе с красавицей в ее паланкине. Что было потом с этим

смельчаком, неизвестно, но, говорят, больше никто и никогда его не видел. Шевкет готов был и мог расправиться с любым мужчиной, пусть он всего лишь задержал заинтересованный взгляд на его жене. А она всячески подчеркивала преданность, послушание и даже рабскую покорность мужу – ластилась к нему, показывала на людях свое восхищение Шевкетом, обожание, преданность и любовь. Купцы посмеивались над Шевкетом и даже пытались урезонить его – недостойно-де мужчине такое поведение и его самого, и его жены, но Шевкет или фыркал – “завидуете, мол», – или зверел, рычал, грозно сдвинув черные кустистые брови: “Подите прочь, знаю, хотите, чтоб я удалил ее от себя и тогда попытаетесь обманом овладеть ею!». Голубые глаза Шевкета в такие минуты делались лютыми, лицо чернело, щеки вваливались и становился этот обычно невозмутимый и солидный купец похожим на ощерившегося волка.

“Что мне Шевкет? Зачем вспомнился?» – удивился я и, задумавшись над этим, сообразил: из-за его жены. Потому что все время думал об Айнабат и невольно всплыл в памяти поразивший когда-то мое мальчишеское воображение образ красавицы, такой же хрупкой, такой же гибкой, как Айнабат, и такой же недоступной.

После подслушанного в доме Назара разговора, я продолжал надеяться, что Айнабат может стать моей.

Она по-прежнему старалась быть неназойливой, незаметной и лицо ее, всегда теперь открытое, было, как обычно, су-

рово-сосредоточенным и спокойным. Она каждый день делала мне перевязки, накладывала распаренные травы на раны, которые почти затянулись и даже не ныли, а лишь неимоверно чесались, подживая. Так же спокойно, не суетясь, старалась Айнабат помогать и Ахмед-майылу, когда тот готовил еду. Но старик не позволял – усаживал женщину у костра в самом удобном, куда не отклонялся дым, месте, предварительно подостлав войлочный коврик. “Я сам, сам, доченька. У меня лучше получится, да и в радость мне это дело. Ты уж не обижайся». Ахмед-майыл очень изменился. Он теперь старался во всем угодить Айнабат, называл “доченькой», “милой», “моей хорошей» – был благодарен за то, что ухаживала за ним, когда освободили из плена: похоже, что обмывая распухший язык старика, Айнабат смыла с него и все спесивые, презрительные, грубые слова. Но я думаю, что дело не только в том, что Ахмед-майыл был признателен женщине, поднявшей его на ноги, и в том, что – теперь я был убежден в этом, – старик тоже подслушал ночной разговор между женщинами и, как и я, был покорен любовью Айнабат к погибшему мужу. Такая верность не может оставить равнодушным никого. И особенно Ахмед-майыла. Ведь и он остался верен. Дружбе. “Да, наверное, дружба может быть даже более сильным чувством, чем любовь», – думал я, слушая, как Ахмед-майыл, в который уж раз, вздыхая, говорил скорбно и убеждающе-искренне, что хотел бы погибнуть вместо Халыка, а тот пусть бы жил на радость семье. Во

время привалов единственной темой у Ахмед-майбыла были воспоминания о том, как он жил в юности рядом с Халыком в Пендинской степи, где оба были пастухами. Там и познакомились, сдружились – отары паслись по соседству...

Так шли мы и шли, удаляясь на север. Старались держаться рядом с караванными тропами, но не выходить на них и не встречаться с людьми. Лишь иногда, в самой крайней необходимости, когда кончалась вода, я, поднимаясь на возвышенность, выискивал на горизонте далекий дымок или крохотные пятнышки кибиток стойбища. И если удавалось увидеть – а такое случалось очень редко – направлял к жилью изможденных, истосковавшихся по свежей воде коней. Встречали нас приветливо, радушно, как и положено в пустыне, резали в нашу честь барана, угощали свежим мясом и всем, что было и чем могли. С расспросами не приставали, потому что гость сам, поев и попив чаю, расскажет, кто он, куда держит путь, какие привез новости. Новостей у нас не было, а о себе мы говорили, как и обусловились заранее, что я и Айнабат муж и жена, едем мы в Хиву к ее родственникам, чтобы познакомить с ними моего дядю, Ахмеда ага, заменившего мне давно умершего отца. Нам желали легкой дороги, счастья, предупреждали, что впереди могут быть разбойники, щедро снабжали провизией: сгущенными сливками, каурмой, лепешками, брынзой из овечьего молока, – просили обязательно заглянуть на обратном пути и долго, пока мы могли видеть их, смотрели нам вслед, желая доброго пути.

И опять – покрытые зеленью барханы, размеренная поступь верблюда, задающего темп движению, привалы, ночевки, солнце, звезды на ночном небе и думы, думы, думы – у каждого из нас свои...

Мы приближались к аулу Оврумли. В это селение я решил обязательно заглянуть. И потому, что там были колодцы и приятель Хекимберды. Я давно не видел его. А ведь раньше, когда ходил с караванами, обязательно заезжал к нему отдохнуть, выпить чаю, переночевать, узнать – не надо ли чего купить, если шел из Хивы. Хороший человек Хекимберды – бесхитростный, надежный, гостеприимный. Я, заранее радуясь встрече, пугаясь, что вдруг приятеля не окажется дома, горячил коня, вылетал из-за взгорка, с удовольствием отмечая – приближаемся, уже скоро, уже совсем немного осталось. И, наконец, увидел вдалеке аул – ничего не изменилось ни в селении, ни вокруг: те же маленькие домики среди деревьев, те же юрты-кибитки на окраине, те же даже, казалось, верблюды на окрестных барханах, застывшие по двое, по трое и напоминающие отсюда, издали, замерший в полете клин журавлей.

На наше счастье Хекимберды оказался дома. Он подновлял кое-где обвалившуюся саксауловую изгородь агыла.. Увидел нас, выпрямился, напряженно всмотрелся и, узнав меня, заулыбался:

– Максут?! Ну точно – Максут! – Отбросил корявый, точно отполированный длинный сук саксаула и, вытирая ладо-

ни о халат, поспешил ко мне. – Вижу, слава Аллаху, опять делом занялся, опять караваны водишь...

– Э, какой это караван, – я соскочил с коня. – Да и делом это назвать трудно. Так, небольшую просьбу взялся выполнить: сопровождаю вот в Хиву хороших людей, – показал взглядом на Айнабат и Ахмед майыла.

– И это неплохо, совсем неплохо, – Хекимберды двумя руками пожал мою руку. – Очень рад, что свернул ко мне, – слегка поклонился моим спутникам. – Спасибо, что не прошли мимо.

Взял под уздцы Боздумана, повел во двор. Крикнул:

– Гозель!..

В дверях дома тотчас появилась женщина. Худая, всегда казавшаяся старше своих лет, сейчас она выглядела чуть ли не бабушкой, настолько была то ли усталой, то ли больной. Но, увидев меня, Гозель взбодрилась, тоже улыбнулась, правда, несмело, не так щедро, как раньше.

– Похож на Максута. Он ли? А потом подошла к верблюду, умело и привычно заставила его опуститься, помогла Айнабат слезть. И они, точно давние знакомые, обнялись, заговорили.

Мы вошли в дом.

Внутри было чисто, уютно, богато по сравнению с жилищем председателя Назара – ковры вместо кошм, одеяла и подушки, стопочкой возвышающиеся в углу, атласные.

Айнабат, как только вошла, заулыбалась – я впервые уви-

дел ее улыбку: белозубую, неожиданную, как молния, сразу осветившую лицо. Протянула руки к малышу, который, присев, на четвереньки, тарасился на нас круглыми черными глазами.

– Иди сюда, маленький, – Айнабат пошевелила пальцами, подзывая. Иди ко мне.

Но карапуз неумело попятился, надулся, оттопырил плаксивую губу – того и гляди заревет.

– Он у нас дикий, туркмененочек этакий, – натянуто засмеялась Гозель и подхватила мальчика на руки. Вышла с малышом за дверь. Вскоре вернулась уже без ребенка и проворно принялась готовить обед, приветливо, ласково переговариваясь с Айнабат.

Я и прежде знал, что Гозель хорошая хозяйка – умелая, опытная, поэтому не удивился, когда и чектырме, и горячие, свежие лепешки появились на дастархане одновременно.

Проголодавшись, мы ели молча, и вдруг в тишине показалось мне, что за стеной слышен женский плач. Я вопросительно посмотрел на Ахмеда ага, на Айнабат; те – на меня. Значит, и они слышали; значит, не померещилось. И хозяйка не то насторожилась, не то смутилась: глаза Гозель стали встревоженными, Хекимберды, евший с нами из одной чашки, нахмурился. Замер, поразмыслял. Положил на сачак кусок лепешки, от которой только что откусил. Прожевал, буркнул: “Я сейчас...», – и вышел.

На душе у меня стало нехорошо – догадался, что в до-

ме этом какая-то беда. Вспомнил, а ведь и при встрече, как только мы слезли с коней, Хекемберды, несмотря на искреннюю радость от того, что увидел меня, выглядел каким-то грустным.

Хекемберды вернулся быстро. Опять сел к дастархану, взял свой кусок лепешки, принялся было за еду, но, уловив нашу настороженность, заметив наши вопросительные взгляды, понял, что мы чувствуем себя неловко, скованно.

– Это мать плакала, – откашлявшись, объяснил он, не поднимая глаз.

И рассказал, что четыре дня назад умерла во время родов его сестра, которая жила здесь же, в ауле, и мать до сих пор не может прийти в себя от горя.

Есть расхотелось – в доме траур, а мы, такие оживленные, радостные, рассмеялись за дастарханом.

После обеда мы попросили Хекемберды, чтобы он отвел нас в дом покойной – помолимся за упокой ее души.

На улице Ахмед ага, приотстав, задержал меня.

– Сынок, в народе говорят: путник должен быть в пути, – тихо сказал он. – Что если мы выйдем в дорогу сегодня же?

– А удобно? – засомневался я. – Не обидятся хозяева, что не остались ночевать?

– Э, сынок, они, конечно, будут упрашивать, чтоб остались. Но посуди сам, до нас ли им? – Старик горестно вздохнул. – Скажи, опаздываем; скажи, нас ждут в определенный день... Словом, попроси у хозяина разрешения уехать. Сам

видишь – надо.

– Вижу, – согласился я...

Когда, побывав в доме умершей и помянув ее, мы возвратились, я отошел с Хекимберды в сторону. Еще раз пособолезновал, пожелал всем родным здоровья. Хекимберды кивал, но смотрел под ноги, и лишь когда я попросил разрешения уехать, поднял лицо. Начал уговаривать, чтоб остались, но ясно было – говорит только из вежливости: голос не обиженный, в глазах тоска.

– Что ж, если вам надо, чтоб не подвести людей, которые ждут, как могу удерживать? – наконец, сказал он. – Пусть будет безопасной ваша дорога, пусть не встретятся вам... – И оборвал себя, вспомнив что-то, спросил: – Скажи, вы так втроем и вышли из Пенди? Или с вами был еще кто-то?

Я удивился, но, почувствовал, что Хекимберды обеспокоенно заволновался, ответил уклончиво:

– Да какое это сейчас имеет значение?

– Может, не имеет, а может, имеет, – твердо сказал Хекимберды. – Вчера к нам заезжал один... пожилой такой. Сказал, что отстал от своих, заблудился в пустыне. Спрашивал, не видел ли я двух мужчин и женщину на верблюде. Описал их. Сейчас вижу – похоже на вас.

“Странно, кто бы это? – торопливо соображал я. – Басмач, который удрал?.. Но откуда он знает про Айнабат? Он ее не видел. И меня не видел. Одного Ахмед-майыла...»

– Такой крепкий, усатый, на сером коне? – деляя вид, буд-

то заинтересован, почти обрадован,

уточнил я.

– Да, да, такой, – кивнул Хекимберды. – И конь серый, все так.

“Проклятье! Этого только не хватало... Где же он мог нас троих видеть? На выходе из аула? Вряд ли – давно бы уж столкнулся с нами. Кто-то из аульских нас описал?»

– Ага, все-таки есть у него совесть, – словно бы с удовлетворением заметил я. И пояснил беспечно, чтоб Хекимберды не беспокоился. – Это наш... В Теджене ушел к другу и не вернулся, думали – бросил нас.

– Похоже на него. Такой может и в пустыне бросить. – вырвалось у Хекимберды и он, смутившись, что обидел моего товарища, виновато взглянул на меня. – Ты уж не сердись, Максут, но не понравился он мне. Злой какой-то, настороженный, глаза бегают. Нехороший человек.

– Да уж, добрым его не назовешь, – усмехнулся я и, чтобы сменить разговор, подчеркнуто удивился. – Странно, что он именно к тебе пришел. Столько в ауле вашем домов, а он – к тебе. Я ему имя твое не называл.

– А-а, – беспечно отмахнулся Хекимберды. – У меня многие, кто из Хивы идут, останавливаются. Дом на хивинской дороге и вода в колодце самая вкусная во всей округе. Люди знают об этом...

Так ясно. Этот недобиток впереди нас. На хивинской до-

роге. Был вчера. Ушел недалеко. Обойти? И вдруг я обозлился на себя. Одного какого-то басмачишки испугался? Да, может, он меня боится, потому и спрашивает!..

– Байрам, иди-ка сюда! – окликнул кого-то Хекимберды.

От небольшой стайки ребятишек, которые, играя, гонялись друг за другом, отделился мальчик лет четырех-пяти и несмело подошел к нам, застенчиво поглядывая на меня. И меня, точно обожгло, – я увидел покойную сестру Хекимберды: такой, какой знал ее, совсем еще девчонкой.

– Племянник? – я перевел взгляд на Хекимберды.

– Да, сын умершей сестры... – Он ласково взъерошил вихры парнишки.

Байрам покраснел, опустил в смущении голову, и у меня защемило сердце – до чего же он все-таки похож на мать, вылитый... как же ее звали? Забыл. Или не знал?.. Вот ведь как бывает – жил человек, мелькнул, точно лучик, и даже имени его не осталось в памяти, только светлое, теплое воспоминание.

Второй день, как мы покинули Оврумли. Ушли, не став беспокоить Гозель, без торопливости, которая была бы оскорбительна для хозяина, но и без долгих прощаний, чаепития на дорогу; ушли с грустным чувством, бессильные чем-либо помочь людям, исправить что-либо в той несправедливости и жестокости, которую на них обрушила судьба.

Со вчерашнего дня потянул над пустыней сильный холодный северный ветер. Он срывал сухие листья, которые, мель-

теша в воздухе, устремленно мчались к югу, точно спасающиеся от непогоды бабочки, ломал их хрупкие ветки, крутил, швырял их вверх-вниз, гнал по пустыне стремительные, подпрыгивающие прозрачно-кружевные шары перекаати-поле. Мы, отворачиваясь, пряча лицо, медленно пробирались равниной между невысокими округлыми барханами и мечтали о солнце, что всего лишь два дня назад такое привычное, дружелюбное, веселое сияло с утра до вечера над нами – казалось, так будет, так должно быть всегда. Но низкие рваные тучи, похожие на грязную кошму, затянули небо, враз поглотив солнце, и теперь представлялось невероятным, что оно было, и совсем уж не верилось, что увидим его снова. «Этот ветер принесет дождь. Обязательно. Будет нудный осенний дождь», – тоскливо думаю я и вспоминаю, как радовался, что пустыня щедро и бескрайне расплеснула зелень трав: теперь их прибудут, умертвят холодные струи ливня, а, значит, скот, который мог бы нагулять силы, чтобы пережить зиму, останется ни с чем.

Барханы впереди сливались, вырастали, переходя в невысокое нагорье. Верблюд, понукаемый Айнабат, ускорил шаг и вскоре, вытянул шею, побежал, раскачиваясь и нелепо выбрасывая ноги. А Боздумана и коня Ахмед-майыла и погонять не надо было.

Ветер, отсекаемый возвышенностью, ослаб – основной поток воздуха проносился пряными запахами трав, а затем и вовсе стих, напоминая о себе лишь все так же летящими в

выси ветками, листьями, туманными клубками перекаати-по-ля.

Я, поглядывая по сторонам, выискивая какую-нибудь расщелину, пещерку, чтобы сделать привал, удивленно оглянулся – не может быть: Ахмед ага запел! Негромко, задумчиво, словно и не замечая этого, а может, и действительно не замечая, – лишь для себя, чтобы излить свои мысли. Но ведь запел же! Впервые после стоянки под Тедженом.

Я прислушался к песне Ахмед-майыла. Старик еле слышно выводил:

Над горами туман – туман,

Ветер идет, Бибиджан!

Открой объятия, прижми к груди.

А то замерзну я, Бибиджан!

“Значит, действительно ожил, если поет любимую песню про Бибиджан, – подумал я. – Наверное, вспомнил свою Огулсапар».

Отсюда дорога ведет к Хиве,

Совсем не рядом Хива, Бибиджан!

Черные глаза твои

Не высыхают от слез, Бибиджан!

Он пел о Хиве, а в мыслях уже возвращался, наверное, к своей желанной Огулсапар и, может быть, даже представлял, как, посадив ее на коня, увозит в Пенди.

Ахмед ага поднял голову, увидел, что я, развернувшись боком, смотрю на него, неуверенно улыбнулся. Тронул пят-

ками бока жеребца, подъехал ко мне.

Вдруг, резко вскинувшись, взмахнул руками, точно хотел взлететь, и тут же эхо выстрела гулко прокатилось по долине. И не успело оно затихнуть, не успел Ахмед ага упасть с коня, раскатисто громыхнул второй выстрел. Боздуман взметнулся на задние ноги и пока он заваливался набок, я уже вылетел из седла, распластался на земле. Тяжелая туша моего мертвого жеребца рухнула рядом – пуля попала ему в голову.

“Стреляли справа, – сообразил я. – Судя по всему, один человек. – И тут же вспомнил про усатого на сером коне, который удрал от нас, и о котором предупреждал Хекимберды. – Ах ты, шакал, подстерег все-таки нас!».

Басмач выстрелил еще раз – я успел заметить откуда; оглянулся испуганно: как там Айнабат? Вдруг целились в нее? Но, видимо, стрелявший решил оставить женщину для себя – Айнабат, хоть и соскочила с верблюда и лежала ничком на земле, была вся на виду и попасть в нее при желании было легче легкого.

Раздались еще два выстрела и оба в мою сторону: пули игриво свистнули совсем рядом. Я ответил. Тоже двумя выстрелами, одним за другим, но сразу же опомнился – в магазине осталось лишь три патрона, а запасные обоймы в хурджуне, который придавил Боздуман: не достать. Надо выждать и бить только наверняка.

Враг выстрелил еще несколько раз, но я не откликнулся. Лежал неподвижно. Долго лежал. Небо уже сплошь затяну-

лось тучами, похожими на грязные черно-серые кошмы, начал накрапывать дождь, потом он заморосил, а мы с басмачом все выжидали.

Он не выдержал первым. Но поступил неосторожно.

– Эй, женщина! – крикнул властно. – А ну подойди к этой собаке, посмотри сдох или нет?.. Иди, иди, не бойся! Я ведь мог сто раз пристрелить тебя и не сделал этого...

Видимо, он решил, что попал в меня, хотя и побаивался – а вдруг притворяюсь?

Послышались медленные неуверенные шаги Айнабат... Подошла.

Не прикрытое паранджой лицо ее было серьезным, губы плотно сжаты. Взгляды наши встретились и Айнабат увидела, что я жив. В ее глазах, только что переполненных страхом и болью, точно два маленьких солнца вспыхнули, – так засияли они от радости.

– Пни его! – повторил свои слова враг.

Айнабат пнула меня в бок – удара я не почувствовал. И вдруг, вместо того, чтобы отбросить мою винтовку, как велели, громко, навзрыв заплакала, закрыв лицо ладонями.

Услышав ее рыдания, мой враг поверил, что я умер и встал из-за укрытия. Вот тут-то я и взял его на прицел. Нажал курок. Басмач упал. И Айнабат упала, одновременно с выстрелом. Вытянулась рядом со мной, уткнувшись лицом в землю.

“Попал или не попал? – мучился я, вглядываясь туда, где

был враг. – Может, он тоже решил притворяться?» И никак не осмеливался встать.

А дождь усиливался. Холодные капли его становились все крупней, все чаще попадали за шиворот, отчего по телу пробегали короткие быстрые судороги. “Кажется, не промахнулся», – решил я.

Начал устало подниматься и... Вздрыгнул испуганно – с той стороны, откуда мы вошли в долину, нарастал беспорядочный топот многих копыт. “Ах, ты... вот влип: только два патрона осталось!» Я, развернувшись на топот, выдохнул топливо:

– Айнабат, посмотри, может, у Ахмеда есть патроны...

И не успел договорить, как женщина была уже около трупа старика. “Не успеет», – поглядывая на нее, тоскливо подумал я, потому что в серой пелене разгулявшегося дождя появились, быстро приближаясь, вырастая, темные фигуры всадников. Я вскинул винтовку, прицелился в головного и тут же облегченно засмеялся, опустил оружие.

Конники были, кто в старой красноармейской форме, кто в гражданской русской одежде – басмачи никогда не носили такое. Пятеро. Четыре человека, сдерживая коней, окружили меня – винтовки направлены в мою грудь, лица суровые; пятый подскакал к Айнабат:

– Кто такой? Документы! – потребовал пожилой русский в белой фуражке, в брезентовом плаще, в очках. Ткнул револьвером в сторону мертвого Ахмед-майыла. – Что все это

значит?!

Я встал. Сгорбившись, чтобы уберечь от дождя, достал бумаги Арнагельды. Сунул их под папаху, подал всаднику. Тот вложил револьвер в кобуру. Крылом взметнув полу плаща, прикрыл им документ. Прочитал. Так же прикрывая, вернул мне.

– Все ясно... Это наш, – сказал спутник и слез с седла.

Объяснил мне, что они едут из Ташауза в Дарвазу на серый завод. Сюда свернули, услышав выстрелы. Поинтересовался: куда едем, зачем? Я сказал.

Я, ссутулившись, побрел к Ахмеду ага, возле которого, закрыв перед чужими лицо паранджой, понуро стояла Айнабат. Русский начальник шел рядом.

Айнабат и спешившийся конник уже перевернули Ахмед-майыла на спину, сложили ему руки на груди. Старик лежал строгий и немного торжественный. Только лицо вот... Дождь стекал по нему струйками и казалось, будто Ахмед ага плачет от бессилия, от того, что ничего нельзя исправить. Я опустил перед ним, положил голову старика на колени и, погладив лицо ладонью, закрыл ему глаза...

Басмача мы закопали там же, где нашли его труп: за выступом небольшой ложбинки, в которой стоял Тулпар – серый конь Ахмеда ага.

Ахмеда-майыла похоронили с правой стороны долины, на возвышении, чтобы могильный холмик виден был издалека.

Когда попрощались с русскими, и они уехали на восток,

в сторону Гугуртли, я, выдернув из лопаты черенок, глубоко вбил его в изголовье могилы, а Айнабат привязала к нему белый шелковый платок – пусть все проезжающие и проходящие видят: здесь погребен невинный, злодейски убитый человек – шехид.

Мы решили не задерживаться в этой проклятой, принесшей горе, долине. Я попрощался с Боздуманом, сел на Тулпара; Айнабат на коня Ахмеда-майыла. И мы, бок о бок, поспешили поскорей уйти от этого печального места. Сворачивая вслед за изгибом долины, оба враз, не сговариваясь, оглянулись – платок Айнабат над могилой слабенько, небольшим пятнышком белел сквозь дождь и, казалось, светился. Прощай, Ахмед ага, пусть будет земля тебе пухом!

Только в сумерках выбрались мы из долины и опять попали под ветер. Но это был другой ветер – южный, приветливо обвевающий нас теплом, словно лаская. Я обрадовался: значит, он переборол северный, значит, отгонит тучи, они пойдут стороной и потому дождь должен, обязан будет прекратиться. И тут же почувствовал, как же, оказывается, я промок и продрог! А какво Айнабат. Она, нахохлившись, спряталась под войлочной накидкой, которая уже не спасала – пропиталась влагой, набухла, с нижнего края ее текли тоненькие ручейки. “Все, хватит! Надо обсушиться, переодеться. Да и перекусить пора», – и сразу же в животе режущее засосало, в глазах потемнело от голода. “О, Аллах, а Айнабат терпит, молчит».

Я стал озираться, выискивая место, где бы сделать привал. Айнабат догадалась, видимо, в чем дело, попросила торопливо:

– Давай поедем, Максут, пока не кончился дождь... Если ты проголодался, на, подкрепись, – достала кусок брынзы, протянула. – Дождь скоро перестанет, вот увидишь. Давай не будем останавливаться, а?

Я растерялся: молчальница Айнабат впервые сама заговорила со мной, впервые обратилась ко мне. Да еще с просьбой! И от неожиданности я ляпнул:

– Как хочешь. Можем ехать хоть до утра, – хотя сразу же и пожалел об этом: а вдруг женщина заболит? Но слово есть слово и менять его не гоже мужчине.

Дождь прекратился только глубокой ночью, когда ехать дальше все равно не имело смысла – было так темно, что я даже не видел головы коня. И все же мы, доверившись коням, продолжали путь, пока не почувствовали, что от песков исходит накопленное днем тепло.

Остановились. Слезли. Я наощупь наломал сухих веток саксаула, на который, чуть не выколов глаза, налетел во тьме; Айнабат отыскала в темноте два мертвых перекасти-поля. Развела огонь. Мрак отполз на несколько шагов. Без разговоров, привычно и скоро, разобрали мы поклажу. Женщина начала готовить ужин, а я достал из своего хурджуна узел со сменным бельем, швырнул его к костру.

– Переоденься! – приказа Айнабат. – А то простудишься.

Порылся в хурджуне Ахмед-майыла, отыскал его запасную одежду и, не глядя на женщину, ушел в темноту. Переоделся во все сухое, повеселел. Обернулся. Айнабат к моему узлу и не прикоснулась. Сидела на корточках в мокрой парандже, от которой прозрачным облачком поднимался пар.

– Ну вот, совсем другое дело, – весело сказал я, подходя к костру.

– Иди, переодевайся. Не бойся, не стану подсматривать.

– Я не буду надевать это, – тихо, но твердо сказала Айнабат, показав пальцем на узел. – Обойдусь.

– Да ты не думай, это мое, а не Ахмеда ага. – решив, что ей неприятно надевать вещи мертвого, пояснил я. – Его – на мне. Вот оно, – похлопал себя по груди, по бокам.

– Все равно не буду, – упрямо повторила Айнабат. И со злой обидой стрельнула на меня взглядом. – Чтобы я надела мужское?! Вот вы какой меня считаете!

Я пораженно заморгал, хотел рассмеяться, но вместо этого неожиданно для себя рассвирепел:

– А ну ступай переодеваться – рявкнул непритворно. – Хочешь из-за своих дурацких предрассудков заболеть?! Хочешь умереть, чтоб я привез твоим родственникам труп?! Не выйдет! Я пообещал доставить тебя целой и невредимой и доставлю! Поняла? Мигом переодеваться!.. – И покачал головой. – Вот уж не знал, что ты такая темная, как древняя бабка: мужское, даже под страхом смерти, надевать не хочешь – старорежимная ты какая-то, дореволюционная.

Даже в розовом свете костра видно было, как густо покраснела Айнабат. Она рывком схватила узел, вскочила и, наклоняясь, словно падала, метнулась в темноту. Вернулась прямая, гордая, распустив по плечам моей рубахи густые мокрые волосы. Посмотрела на меня сверху вниз, усмехнулась: ну, доволен, дескать? И, как мне показалось, нарочно медленно, чтоб позлить, подала мне каурму, чай. Я, развалившись на мокром, исходящем паром, войлоке, который Айнабат использовала, как накидку, добродушно и весело поглядывал на женщину: что ж, если, мол, тебе нравится, можешь показывать характер.

Ужинали молча и улыбка моя постепенно угасла – вспомнились Ахмед-майыл, Хекимберды, Нурсолтан: сколько горя увидели мы, сколько сдержанных, а оттого особенно едких слез. Я опрокинулся на спину, прикрыл глаза, стал думать об Айнабат; о том, как, не сдержавшись, мучительно и отчаянно плакала она ночью в доме председателя Назара, о том, как на следующее утро и виду не подала, что тяжело ей; потом с грустью вспомнил, что вот-де скоро мы расстанемся с ней и, кто знает, может, со временем забуду и этот переход от Тахта-Базара до Хивы, и саму Айнабат. Я почувствовал, что недоверчиво, иронически улыбаюсь – мысль, что забуду эту женщину, была нелепой. Очнулся от того, что меня осторожно тронули за плечо. Открыл глаза.

Айнабат пододвинула по песку к моей голове седло – вместо подушки; подала попону – накрыться. И пошла к приго-

товленной себе постели, под куст саксаула, на котором висели расправленная паранджа и моя одежда...

Проснулся от утренней прохлады. Оказывается, совсем рассвело. Айнабат, опять в парандже, сидела около расстеленного сачака с разложенной на нем едой и, задумавшись, положив подбородок на колени, смотрела, не мигая, на побулькивающий тунче. Я кашлянул. Айнабат, вздрогнув, очнулась. Сдвинула тунче подальше от огня, мельком взглянула на меня.

Лицо женщины было опухшее, глаза и веки воспаленные. «Плакала», – понял я.

– Ты хоть немного поспала? – спросил ворчливо.

– Пыталась заснуть. Не получилось, – Айнабат виновато улыбнулась.

– Это плохо, – осуждающе отрубил я. – Надо восстанавливать силы. А то долго ты не протянешь.

– А долго теперь и не надо. Скоро конец нашей поездке, – спокойно, почти равнодушно, без сожаления, но и, как мне показалось, без особой радости, заметила она. – Я узнала эти места. Утром ходила вокруг и узнала. Мы сюда пришли из Куня – Ургенча на третий день...

– В пустыне много похожих мест, – сказал я. И неуверенно предположил. – Может, ты ошиблась?

А сам отвел глаза, потому что знал: в одном она права – отсюда до Куня – Ургенча ходу действительно дня два, два с половиной.

– Ошиблась? – Айнабат подняла брови, склонила, словно в раздумье, голову к плечу. – Как я могла ошибиться, если вон там, показала рукой на невысокий холм с плоской вершиной, – сама обед готовила. Я даже место нашего костра нашла, неизрасходованные сучья, которые сама собирала, нашла... А вот здесь, – плавно повела рукой в сторону длинного, крутосклонного бархана, – здесь упал верблюд Гулмет ага, двоюродного брата моего мужа, и чуть не сломал шею. Мужчины еще огорчились – плохая примета. А Гулмет ага сказал моему Акмурату: “Пусть на середине дороги конь не падает, пусть на середине жизни жена не умрет!».

Опустила голову, стала наливать чай. Рука дрогнула, струйка плеснула мимо пиалы. Я сделал вид, что ничего не заметил. “Да-а, вот как получилось, – и удержал вздох. – Желал этот Гулмет ага Акмурату, а надо бы Айнабат... И не в середине жизни потеряла она мужа, а в самом начале. Как бы отвлечь ее от этих невеселых мыслей... Так, нашел!».

Потянувшись за пиалой, я резко повернулся и тихо ойкнул, скривившись, схватился за простреленное плечо, о котором уже и забыл.

Глаза женщины широко раскрылись в испуге и сострадании.

– Что, опять заболело? – встревожилась она.

– Давай посмотрю!

– Потом, когда поедем... Ничего страшного, – пробормотал я. – Просто забылся, сильно дернул рукой. Не беспокой-

ся.

Но лицо Айнабат оставалось озабоченно-виноватым и, пока мы завтракали, она нет-нет да и посматривала на мое лицо. Как только я выпил последнюю пиалу, женщина решительно встала и молча, но так же решительно, осмотрела мои раны. Повязку на голове больше накладывать не стала, а плечо, обмыв, опять обложила распаренными травами и тщательно перебинтовала. И опять я, широко раздувая ноздри, впитывал тонкий, еле уловимый запах ее тела, опять перед глазами – нежно-смуглая шея и плавный овал щеки, припухлые губы, которые Айнабат слегка выпячивала от усердия, опять волнистые волосы ее щекотали мне кожу, опять шумело в голове, опять все плыло и качалось перед глазами – нет, ничего не изменилось, не перебороть мне себя, не избавиться от сладкого наваждения, имя которому Айнабат. Она, видимо, почувствовала мое состояние – несколько раз пытливо и настороженно глянула мне в глаза, нахмурилась. Быстро закончила перевязку, быстро собралась в путь.

Я ехал, чуть приотстав от нее и согласен был ехать так всю жизнь, лишь бы Айнабат была рядом... “Что же делать? Как быть? Еще день – два, и она уйдет от меня. Навсегда». От этой мысли мне стало и больно, и страшно, и тоскливо. Надо попытаться счастье еще раз. Она уже не такая, как в начале пути. Поймет». Знал, что поймет, уверен был, потому что теперь разгадал Айнабат – очень скромную и нежную, с характером мягким, послушным, верную любимому мужу.

Именно такой, еще не зная ее, видел в мечтах женщину, которую мог бы полюбить.

Слегка стегнув коня, я поравнялся с ней.

– Айнабат... – начал, но горло перехватило. Она искоса взглянула на мое лицо и опустила голову.

– Не надо, – попросила тихо. Покраснела. И еще ниже опустила голову. – Прошу, Максут, не надо.

– Айнабат, я хотел только спросить... хотел сказать... – быстро, не соображая, что говорю, начал я, но она мягко перебила:

– Я знаю, что ты все время думал обо мне. Даже после того... под Тедженом, думал, как сейчас думаешь, – голос ее дрогнул, но она овладела собой. Помолчав, продолжала уже спокойно, тоном, каким говорят взрослые с обиженными детьми. – Если бы мне надо было выходить замуж, лучше тебя и не сыскать. Но мне еще не время открывать дверь в чужой дом, дом моего мужа. Мне надо очень многое выплакать... Не обижайся, Максут, за прямоту, но я не хочу ни тебя, ни себя связывать словом.

Я набычился, засопел; Айнабат слегка коснулась моей руки пальцами, огорчилась:

– Ну, вот и рассердился... – Неглубоко, но горестно вздохнула. – Что поделать, если я еще в прошлом, а не в будущем. Хотя... – она невесело усмехнулась. – Это прошлое, кажется, начинает удаляться от меня, – и, перехватив мой удивленный взгляд, спросила серьезно. – Знаешь, что мне сего-

дня снилось?

– Твой муж, – не задумываясь, решительно ответил я.

– Верно, – она слегка растерялась. – Как ты догадался?–

Но ответа, кажется, ждать и не собиралась. Глаза ее затуманились, стали печальными. – Вижу я, будто сидим мы с ним на каком-то бархане, похожем на тот, что рядом с нашим домом. Мы на нем играли в детстве, – начала рассказывать она. – Муж ласкает меня и так мне хорошо, такая я счастливая, какой никогда наяву не была... Вдруг бархан раскололся прямо между нами, – глаза Айнабат наполнились ужасом. – Я оказалась на одной стороне, он – на другой. А трещина между нами растет, растет, да быстро так, что пока я металась, не зная, что делать, образовалась широкая и глубокая пропасть. Я кричу: “Прыгай ко мне, прыгай же!». Он приготовился и, казалось, вот-вот с силой оттолкнется и перепрыгнет ко мне. Но он почему-то не прыгнул. И удаляется, удаляется... Скоро и та часть бархана, на которой он стоял, и сам он совсем скрылись из виду. И так мне жутко, так горько, так одиноко стало. Умерла бы, только вижу – летит оттуда, где он исчез, какая-то белая птица. Что за птица – непонятно. Ближе, ближе, крупней, крупней. Гляжу, а птица на него похожа. Я зову ее, руки к ней протягиваю – не подлетает, кружит в отдалении. И вдруг та часть бархана, на которой стояла я, плавно двинулась, поплыла – такое впечатление, будто кто-то поднял ее и понес на спине – в другую сторону... И вижу, на высоком холме люди какие-то. Всмотр-

лась. Узнала среди них сначала Арнагельды ага, потом того русского командира, потом Ахмед ага. Улыбается, усы свои подстриженные поглаживает, на меня смотрит, а стоит он – с кем бы, ты думаешь? Рядом с моим отцом и братьями, а среди них – ты! Я удивилась как ты оказался среди нашей родни?.. Все вдруг начали отделяться от тебя, отодвигаться, отплывать, пока совсем не растаяли, исчезли. И остался ты один... Ну, что скажешь? – И снова сбоку посмотрела на меня.

– Хороший сон, – я хмыкнул. – Если только не придумала его.

Она оскорбленно вскинула голову, смерила меня уничтожающим взглядом. За весь день мы больше не обмолвились ни словом, думая каждый о своем.

К вечеру мы выбрались на такыр, за которым начинались села Хивинского оазиса... Земли Хивы...

* * *

Возвращался я из Хивы, когда осенние дожди иссякли и установились зимние холода, покрыв землю тонким, легким, готовым в любую минуту исчезнуть снегом.

В Тахта-Базар приехал утром, сразу же после подъема отряда. И, не откладывая, отправился в штаб к Арнагельды ага.

Рассказал ему подробно о случившемся на дороге, о смерти Ахмед майыла, о его друге Халыке, рассказал еще как близкие с благодарностью приняли Айнабат и меня.

Арнагельды слушал, не перебивая. Узнав, что нет в живых

Ахмеда ага помрачнел, задумался. Наверное, в этот миг он вспомнил тот эпизод, связанный с Ахмедом-майылом...

Я достал из хурджуна и выложил на стол папаху с широким верхом, затем хивинский халат, и, наконец, узелок с джугарой и соль.

– Вот, родственники Айнабат прислали вам, – и добавил, стыдясь, что подарки такие скромные. – Хорошо еще, что я вспомнил про ваш наказ и намекнул. Могли бы и этого не дать.

А сам уже решил, что если Арнагельды будет недоволен, отдам ему впридачу еще хивинский халат, который подарили мне родственники Айнабат. Он внимательно осмотрел вещи и задумался.

Долго не отводил от этих вещей глаз, стоял, как будто читая из них какие-то тайные мысли. Потом посмотрел на меня потеплевшим взглядом.

– Спасибо, Максут. Вижу дело с Ахмедом выполнили добросовестно. А потом, увидев мои вопрошающие, не понимающие глаза, Арнагельды ага объяснил, какой смысл вкладывали в эти вещи.

Хивинский халат и такая шапка с широким верхом утверждали своей своеобразностью, что мы были именно в Хиве, не в каком другом месте. Такие папахи и такие халаты в наших краях не носят. Они были характерны только хивинским туркменам. А соль и джугара знак того, что родители получили свою дочь в целости и сохранности.

Так, с помощью вещей в старину часто разговаривали умные люди между собой, и расстояние не было помехой.

Арнагельды тоже, оказывается, использовал этот древний, теперь уже почти забытый тайный язык.

Я схватил хурджун и чуть ли не выскочил на улицу, смутившись и испугавшись неожиданной мысли. И хоть мысль эта была нелепа разве мог бы я отдать Айнабат кому-нибудь, кроме ее родственников?! -Но все же она мелькнула: «Вот бы влип я, если б дал Ахмеду-майылу уговорить себя и оставил бы Айнабат в Теджене, а вместо скромных подтверждений подарил бы коня. Командир сразу раскрыл бы мой обман и тогда... Ох и досталось бы мне от Арнагельды ага. Врагу даже такого не пожелаю».

Перевод Э.Бутина. 1979 – 1980 гг.

БЕЛЫЙ КОНЬ

Конь – желание джигита

Гёроглы*

I

...И вновь на вершине холма, вдали, у самого горизонта, вырастает, словно из-под земли, Гырат, конь стального цвета, с гордой статью; и вновь холм становится похож на юрту, где царят достаток и благополучие, с лошадьё у коновязи; и вновь я всматриваюсь, пытаюсь понять, наяву это происходит или только в моем воображении, вслушиваюсь и, кажется, улавливаю едва различимый постук копыт, и тогда сердце начинает биться в такт с этими знакомыми и все же такими неожиданными каждый раз и влекущими звуками...

А может быть, я просто заморожен красотой, не могу привыкнуть к ней?

В самом деле, когда Гырат с разметавшейся на ветру гривой будто летит по воздуху, на него нельзя налюбоваться. Копыта высекают искры, земля и облака глухо дрожат. Удивительный это конь – где бы он ни появился, все вокруг озаряется каким-то новым чудесным светом. Так, молодая невеста, впервые вошедшая в дом жениха, одним своим видом подчеркивает особую, доселе неизвестную прелесть обстановки жилища.

И опять я всматриваюсь и вижу, как конь стального цве-

та, рассекая грудь травы на широком зеленом лугу, словно бы разбивает морские волны, вздымая каскад искрящихся на солнце брызг. Наконец, Гырат выходит из воды и продолжает свой бег или полет, или парение, вот так, как сейчас, стремительно оставляя за собой гору за горой, долину за долиной, – а я все вслушиваюсь в то приближающийся, то удаляющийся дробный топот копыт, и мне постепенно начинает казаться, что я лечу вместе с ним, этим необыкновенным конем...

В воздухе пахло землей – верный признак наступившей весны! Небо над аулом то затягивалось серой пеленой, то вновь прояснялось, пока, наконец, огромные вислые тучи не принесли долгожданный дождь. Он обрушился яростно, подхлестываемый порывами сырого ветра, и земля жадно впитывала, поглощала влагу, столь необходимую ей для жизни и обновления.

Тот день я запомнил хорошо: вечером отец вернулся домой верхом на коне. Навстречу ему вышла бабушка с деревянной миской, присыпала лоб коня мукой и, улыбаясь, проговорила тихо какие-то слова. Я не разобрал их, но сердце мое тотчас радостно заколотилось.

И прежде отец, бывало, приезжал верхом, – обычно, когда для его трактора срочно требовалась какая-нибудь деталь. Тогда он просил у кого-нибудь лошадь и спешил домой. Порывшись у себя в ящике с запчастями, к которому мне строго-настрого запрещено было прикасаться, отец быстро отыскивал необходимое и уезжал обратно в поле. А после работы,

к моему великому огорчению, возвращался один, без лошади. И вот сегодня, впервые в жизни, я увидел, как бабушка присыпает мукой лоб коня. Нашего коня. На радостях я помчался домой, карманы мои были оттопырены от сладостей, которыми меня угощали. Отец понял, что я не успокоюсь, пока не сяду в седло, и разрешил мне проехаться вокруг дома.

Если верить бабушке, равнодушие к лошади у меня с младенческого возраста. Услышав стук копыт, я начинал беспокойно вертеть головой, что-то мычал, иногда пускался в плач. Взяв меня на руки, бабушка выходила из дому и просила всадника покатать меня немного. «Мальчик не похож ни на отца, ни на мать, – со вздохом объяснила она. – Вылитый дед! Тот тоже всю жизнь провел в вечных заботах о лошадях. Поди, и внуку передалось».

У туркмен женщины любят сравнивать детей со своими братьями. Бабушка в этом отношении была не похожа на остальных: всем мало-мальски хорошим во мне, она считала, я обязан деду.

После возвращения с фронта он много лет пас колхозный табун. Война окончилась для него в сорок третьем – осколок артснаряда раздробил ему ступню. Вернулся в аул он инвалидом второй группы, про ходьбе чуть волочил ногу и, кажется, очень этого стеснялся. Зато сидя в седле, вновь становился подтянутым, молодеватым, не старым еще вовсе мужчиной. Может быть, поэтому его и тянуло к лошадям.

Лет десять назад – я только-только родился – дедушка отправился в пустыню искать отбившуюся часть табуна и погиб там от безводья. Лишь спустя месяц, вышедшие на поиск родственники, набрали на его останки. Он лежал, положив под голову седло. Его узнали по кожаному ремню, который он привез с фронта и с которым никогда не расставался.

– Ведь говорила же ему, – убивалась бабушка, – сколько раз говорила: на других посмотри! Днем трудятся, вечером дома. Что, он бы так не мог?

И со здоровьем не больно хорошо было, а дома я, дети, какой-никакой уход. Ну, зачем ему эти лошади? Помоложе б табунщика нашли... Нет, выслушает, бывало, головой кивает – да-да непременно скажу председателю, пусть другую работу дает, а сам... Упрямый был чересчур, на словах не перечил, а поступал всегда по-своему.

Вот так и я, мне тоже не хотелось огорчать бабушку. Каждое утро, позавтракав, я торопился в Камышовую балку, на северо-восток от аула. По правде говоря, я готов был бежать туда, не взяв ни крошки в рот, но бабушка бы расстроилась.

– Сынок, куда ты так спешишь? Воду, что ли, на тебе возят? – иной раз удивлялась она.

Тогда я принимался усиленно жевать, делая вид, будто ем с большим аппетитом. Ее глаза вмиг веселели:

– Так, так, сынок, молодец. Чтоб долго не проголодаться. Небось на весь день убежишь?

В нашей семье только маме не нравилось, когда я просыпался ни свет, ни заря. Она считала, что это вредно для ребенка.

– Тебе что, в колхоз на работу? Ну, и спал бы себе, пока солнце не поднимется над домом, – время от времени ворчала она и следом обязательно прибавляла, что желает мне счастливого беззаботного детства, которое, увы, не успеешь оглянуться, – пройдет.

Мама, когда была маленькой, рассказывают, очень любила поваляться в постели, и однажды ее отец, вернувшись с работы на обед, даже испугался, что полдень, а она спит так крепко, хоть из пушки стреляй; крикнул жене: “Эй, посмотри, твоя дочь дышит?».

Впрочем обо всем этом я забывал, едва только выходил их дому. Я спешил в Камышовую балку, я бежал туда! Там пасся скот нашего аула. Летом после полива в низину сгоняли лишнюю воду. Влаги было достаточно, поэтому до самой поздней осени подножный корм здесь не переводился.

Чего только ни увидишь на этом небольшом зеленеющем пространстве земли! Вот мирно пасется черноухий чабанский верблюд, зашедший отдохнуть из пустыни, а рядом ослы с седлами на спинах прячутся от своих хозяев. Островки бараньих отар, еле видные в высокой траве, издали похожи на стаи диких плавающих уток. Корма хватает всем, и потому здесь не встретишь поджарых, со слезящимися голодными глазами животных, как в загонах наших малджелладов

– они уводили чужой скот (под предлогом, что он, якобы, забрел на хлопковое поле) и сутками держат его без пищи.

Но главное, что влекло меня сюда, были, конечно, лошади. В Камышовой балке кое-кто оставлял их на привязи, и если явиться спозаранку, можно было увидеть довольно много лошадей, целый маленький табун. Ну, а опоздаешь – когда уж каждый успел ускакать на своей в поле или по делам, – застанешь только одну, Моммада ага. Она была первая, с которой я подружился.

Иногда я подходил и давал ей сахар, припрятанный украдкой от бабушки во время завтрака. Как-то, заметив мою хитрость, бабушка рассердилась:

– У нас нет столько сахара, чтоб его животным скармливать. Это тебе не камень или глина, за сахар деньги надо платить. Посмотри, с каким трудом твой отец зарабатывает их, с утра до вечера на тракторе.

Хочешь сам есть – пожалуйста, на здоровье, а лошади твои как-нибудь обойдутся и без сладостей. Ишь, богач какой выискался! Добренький за чужой счет.

И все-таки, если удавалось, я продолжал тайком уносить сахар. Серая лошадь жадно припадала длинными губами к моей ладони, на которой лежал небольшой кусочек сахара, и мне казалось, она проглотит вместе с ним мою руку. Я пробовал класть лакомство на землю, но тогда она словно бы не замечала его. “Это собаки подбирают еду с земли», – говорил ее укоризненный взгляд. Сахар ей надо было непре-

менно поднести на ладони, как на блюде, иначе он так и оставался пылиться у ее копыт, весь облепленный муравьями или раскрошившийся от влаги.

Хозяин серой лошади дядя Моммад на фронте потерял ногу. Служил он в кавалерии, да так и не расстался с седлом после войны. В самом деле для человека с деревянным протезом лошадь – незаменимый помощник и друг, без нее, можно сказать – никуда.

Из камышовой балки серую лошадь забирали младшие братья Моммада – Гек и Асман, оба лихие бесшабашные наездники. Не успеют привязь собрать, как уже – в седле и ну давай пинать лошадь в живот! Бедная, она стрелой несется через вспаханное поле. Зато лишь въедут в аул, сразу придержат поводья и дальше уж движутся спокойным мерным шагом, не трогая животное. Знаю, если примчатся на полном скаку, дядя Моммад задаст трепку. По крайней мере, проворчит недобро: “Что, за тобой шайтан гонится?».

Если же братьев нет дома, за лошадю в балку является сам хозяин. Я узнаю его издали по походке: он хромает на правую ногу. Подхожу и вежливо здороваюсь с ним. Он приостанавливается, отвечает приветливо:

– Доброе утро, племянник. Кони как, не запутались снова?

Смущенная улыбка сама собой возникает на моем лице. Совсем недавно к дяде в гости приехал один его знакомый, Кара, который тоже привел на ночь свою лошадь в балку. То

ли этот Кара не умел как следует завязывать узел “гондубаг», то ли, второпях, просто небрежно закрепил веревку на два хлипких узелка, – как бы то ни было, лошадь его отвязалась и начала брыкаться со стоявшей рядом лошадей дяди Моммада. Вскоре обе запутались в своей привязи, и утром, придя в балку, я застал их растянувшимися и хрипящими на земле. Веревки, точно змеи, цепко опутывали их тела, морды и ноги. Я сразу поспешил обратно в аул звать дядю Моммада.

Выслушав мой рассказ, он немедленно разбудил младших братьев. Те, еле разобравшись спросонья в чем дело, кинулись к месту происшествия. Дядя, со своим протезом, подошел туда позже, вслед за мной.

– Молодец, – похвалил он меня, как только пришел в балку. Потом полез в карман за бумажником и протянул мне десятку:

– Это тебе награда! Бери, бери, не стесняйся.

– Не-а, не надо... – Я опустил голову, не решался попросить о том, о чем мечтал давным-давно.

– Ты чего? В кино пойдешь, или там... Ну, не знаю. Учти, когда дают от души, отказываться грех. – Тут дядя метнул на меня быстрый взгляд и будто прочел мои тайные мысли.

– Гек, – засовывая деньги обратно в бумажник, сказал он брату, – оседлай жеребца, посади сзади племянника и прокати его до самых ворот. Только чтоб без глупостей, аккуратно. Понял?

От счастья я чуть было не захлопал в ладоши!

Всю дорогу Гек недовольно бубнил, поучая меня уму-разуму:

– Вот чудак, деньги-то надо было взять, в магазин бы я пошел, купил бы там чего-нибудь вкусенького, потом бы съели вместе. Ты уж смотри, в следующий раз бери, пожалуйста, не отказывайся. Брательник мой сроду никому еще копейки не предлагал. Тебе только... Все у него на учете, сам не тратит и другим не даёт.

А я ни капли не жалел об этой десятке. Зачем она мне? К тому же, возьми я деньги, разве догадался бы дядя о моем заветном желании?

Прошло время, и наступил день, когда мне было разрешено самому проехать на коне. Стального цвета конь дяди Моммада – Гырат по протоптанной коровой тропе через зябь иноходью привез меня в аул. Я гордо восседал в седле, не забывая при этом искоса поглядывать по сторонам. Видят ли меня мальчишки, мои сверстники? Как здорово, я уже могу сидеть верхом, значит, – мужчина, совсем взрослый!

...На глазах у бабушки слезы. Это – от радости. Я знаю, она давно уже живет нашими только печальями и надеждами, переживает за папу, за меня, за моего братишку. И теперь она счастлива, что любовь к скакунам, унаследованная мной от дедушки, привела, наконец, в наш дом коня. Она верит, что это доброе приобретение, и тут уж никто не в силах переубедить ее. Хотя переубеждать никто и не пытается, все домашние, кажется, согласны с ней.

Вечерняя тишина окутала аул. Решив, что конь, уже поостыл, отец снял с него седло и отнес в сарай, где зимой у нас хранились дрова. Я пообещал отцу сейчас же отправиться в дом, но так мне не хотелось покидать моего нового друга!.. Вторично вышла на веранду бабушка звать меня.

– Ты, может, собираешься ночевать в стойле? Знаешь, который час?

– Иду, иду... ну, еще одну минутку... Прошло целых пятнадцать, и я вновь услышал ее голос:

– Придется сказать отцу, чтоб на ночь оставлял коня в колхозном стойле. И вообще, что-то этот конь мне не нравится, еще клевер коровий сожрет.

Испугавшись, как бы бабушкина угроза не осуществилась, я скоренько юркнул в дом. За чаем бабушка вдруг выложила отцу все, что заботило ее последние дни:

– Бригада, которую повесили тебе на шею, развалится, попомнишь мое слово. Тебя они просто слушаться не станут. Ты слишком мягкий, а им нужна плетка. Вот Шеммет находил на них управу, а как только ушел, так у них каждый стал сам себе головой. Разве это дело? Года не проходит – выбирают себе нового бригадира. А что толку? Там, где люди лишь о своей выгоде пекутся, ничего путного не жди.

– Увидим, – спокойно ответил отец. Оперевшись на подушку, он прихлебывал из пиалы чай.

– Сыночек-то наш как обрадовался коню, места прямо себе не находит, – перевела бабушка разговор на меня.

Отец хотел было что-то ответить, но тут раскапризничался мой младший брат, снова попросивший чаю, и взрослые стали говорить ему, что уже поздно, пора идти спать.

Вскоре все разошлись по своим комнатам, и мы с бабушкой остались вдвоем. Я разделся, выключил свет и лег а постель. Сон никак не приходил: перед моими глазами стоял наш конь. Я думал о том, что надо бы повести его подковать к Курбандурды уста; если я помогу раздуть мехи нашему пожилому кузнецу, он мне не откажет.

Послышалось ровное дыхание бабушки, всегда засыпавшей очень быстро. Я бесшумно, по-кошачьи, встал и прокрался к окну. Было тихо, казалось, наступившая ночь поглотила все звуки. На дальнюю часть нашего двора падал неяркий отблеск света из окна соседского дома, где жил Сапар ага. Большой стог сена возле стойла в сумраке напоминал камышовый шалаш. Там, в стойле, наверно, уже спал мой скакун – спал на своих тонких и сильных красивых ногах.

II

Я назвал его Гырат – конь цвета стали. Потому что настоящий конь должен зваться именно так. Когда я сказал об этом бабушке, она согласилась со мной:

– Хорошо, сынок. Только пусть твой конь будет достоин своего имени. Быстрый, как птица, и понятливый как человек, – вот каким был тот Гырат, самый верный друг нашего Гёроглы.

Раньше каждое утро, прежде, чем сесть завтракать, отец выходил во двор, поил и кормил скотину. С тех пор, как у нас появился Гырат, эти обязанности легли на меня. Вернее, я принял их сам с охотой и рвением: только проснусь – бегу к стогу сена, что высится шпилем возле хлева. Первую порцию намереваюсь отдать Гырату, но часть ее обязательно перепадает и черной ослице и удивительно похожему на нее белому осленку. Эти двое, едва слышат шорох вил, вонзающихся в сухую траву, начинают фыркать и метаться. Какие же нетерпеливые! Ладно, бросаю сено им, они успокаиваются, с аппетитом жуют его, а уж тогда заново набираю полные вилы и отношу в стойло.

– Про корову не забудь, – раздается из окна голос бабушки, – смотри, задай ей травы побольше. От твоего коня и глухых ослов какой прок, а она, буренка, кормилица наша.

О черной корове, неповоротливой, медлительно-важной,

заботится, в основном, бабушка. Просеет муку, а оставшиеся в сите отруби соберет в отдельную миску и – корове. Интересно, думает бабушка о ней столько же, сколько я о своем Гырате?

Пожалуй, нет, ведь даже в школе на ураках у меня не выходит из головы наш конь. Я мысленно представляю, как он перебирает копытами, стоя на привязи, вижу, словно наяву, как непокорно встряхивает гривой, а иногда, закрыв глаза, галопом скачу на нем по самой широкой улице нашего аула...

Однажды на уроке туркменского, прочитав предложение, которое я написал на доске, учитель усмехнулся:

– Скажи, пожалуйста, можешь ты что-нибудь придумать без Гырата?

Сперва по рассеяности я не понял, уставился на доску, выискивая ошибки во фразах: «Мой Гырат – мои крылья» и «Из Фарангистана доносится голос Гырата». Все вроде бы правильно... Класс уже начал хихикать. До меня вдруг дошел смысл слов учителя, я быстренько стер с доски написанное и – замер в растерянности. Разве придумаешь вот так сразу что-нибудь новое, да еще, чтобы оно не имело отношение к Гырату? «Мой папа работает в колхозе трактористом»... Нет, это я уже не раз писал и разбирал на классной доске. К тому же, теперь он бригадир. Но не сообщишь ведь об этом во всеуслышание, как-то неловко, еще подумают – хвастаюсь. Что же делать? Хорошо, тут спас меня прозвеневший

звонок. Урок туркменского был последним в тот день, и я, чуть не забыв в парте портфель, первым выбежал из школы: здорово все-таки получилось, во-первых, плохой оценки не заработал, а во-вторых, скоро опять увижу моего Гырата!

Каждый день я прогуливаю коня, еду с ним на водопой. Он, бедняга, мается в стойле, как и человеку, ему нужен простор, нужна дорога. Будь моя воля,

я б его поил часто-часто, однако ему хватает одного раза в день. Сколько ни свисти, пить не станет, если уже утолил жажду. Понимает, должно быть, что это моя маленькая хитрость, что меня просто тянет проехаться на нём лишний раз.

И окружающие, кстати, это тоже понимают. Только выеду за ворота, кто-нибудь непременно да спросит:

– Куда собрался, Эзиз?

– К Дербентскому арыку. Коня хочу напоить.

– Да ты сегодня уже поил его.

– Ну и что? Жара какая, пить всем охота.

– Думаешь, у твоего коня внутри рисовое поле? Хватит ему воды.

Говорят мне это, а сами, чувствую, с трудом улыбку прячут: когда проезжаю по аулу, я похож, наверно, на свирепого цыпленка, вылупившегося из яйца в отсутствие матери.

Как-то мне довелось увидеть такого. Играя с ребятами в прятки, я забежал за сеновал и там спугнул курицу-наседку. Она вскочила с яиц и закудаhtала беспокойно, будто зовя

на помощь. В этот момент одно яйцо вдруг треснуло, потом расколосось на две половинки и в нижней появился цыпленок. Скорлупа была похожа на маленький белый кораблик, а крохотный живой комочек – на его капитана, приплывшего издалека и повстречавшего невиданный сказочный остров.

Некоторое время цыпленок с чувством достоинства, даже превосходства, осматривался по сторонам, а затем, по-видимому, придя к выводу, что жить здесь можно, не торопясь ступил со своего белого кораблика на землю...

Вернувшись из школы, я напрямик отправился к Гырату, но его в стойле не было: болталась пустая привязь. Я огорчился. Ослы, увидев меня, зафыркали, прося корма. Телка же, у которой быстро вырастали рога и которая с каждым днем все больше походила на мать, набрав побольше воздуха, лишь с силой выдохнула его.

Перед каждым животным лежали почти нетронутые кучки сена. Это было делом рук бабушки. Она и нас учила щедрости:

– Зимой не жалейте корма, сытой скотине и холод нипочем. – Она пеклась не только о корове. – Говорят вот, осел глупый. Да я и сама непрочь иногда поворчать, какой, мол, прок от него. С другой стороны, как без осла? Чтоб вязанку дров привезти, надо у кого-то одалживать. Ну, раз попросишь, два, а потом...

В соседние аулы к родственникам бабушка, как правило, ездила на осле. Раньше и меня брала с собой. Если мы при-

ходили в дом, где родился мальчик, бабушка, показывая на розовенького карапуза в пеленках, непременно желала такого же чудесного крепыша-внука моему отцу; если поздравляла с невесткой, то никогда не забывала прибавить:

– Пусть и нашему Эзизу достанется такая же умная, речистая, здоровая и красивая!

Раньше я просто не понимал, о чём идёт речь. Но став постарше, стал стесняться этих разговоров. Мне они были не по душе. Однажды я отказался отправиться с бабушкой на свадьбу к какой-то ее дальней родне.

– А Союн с нами едет, – сказала она, рассчитывая привлечь меня компанией с приятелем-сверстником.

– Ну и пусть. А я не хочу. Опять начнешь там мечтать о невестке.

Несколько женщин, собравшихся у нас, чтобы ехать вместе с бабушкой, так и прыснули со смеху.

– Эх, сынок, – почему-то грустно улыбнулась бабушка, – придет время, поспеет плод, и девушки станут для тебя слаще многого, а уж та единственная, которую ты выберешь, покажется милее отца с матерью. И дай мне бог дожить до того времени и поглядеть на тебя. А что нынче не желаешь ехать – не беда.

С этими словами она посадила впереди себя моего младшего брата, и ослик тихо потрусил. Брат страшно обрадовался: еще бы, это была первая его поездка за пределы аула!

...Все же я не на шутку встревожился, не найдя в стойле

Гырата. Оделся и вышел на поиски. По давней привычке, зашагал к Камышовой балке – зимой она превращалась в покрытое льдом озеро. Когда по пути попался невысокий пригорок, я влез на него, осмотрелся. По заснеженному полю бегали три аульные собаки, вырвавшиеся на свободу. Одна из них, Васка Мурада ага, вся обросшая длинной клочковатой шерстью, узнала меня и подошла ближе, ожидая, видимо, доброго слова. Но у меня не было охоты общаться с ней, мысль о пропавшем коне не давала покоя.

В том месте, где Дербенский арык изгибается и почти вплотную подступает к камышовой балке, кто-то виднелся. Вероятно, какой-нибудь заядлый охотник. Я спустился с пригорка и зашагал быстрее.

Вроде я шел вдоль арыка, где зимовала похожая на красноватый тамариск солодка. Впереди, в окружении туговых деревьев, вырос бригадный полевой стан. Зимой сюда, спасаясь от пронизывающего студеного ветра, случалось, забредала скотина. Может, и мой Гырат здесь? А может... даже подумать жутко, – может, его задрал лев, нет-нет, да и промышляющий на кладбище, возле аула? Гырат животное крупное, а царь зверей именно за такими и охотится, трогать всякую мелочь он считает зазорным для себя. Говорят, Мурад ага, живущий неподалеку от кладбища, недавно слышал его рев. А Аман Гек, когда проходил там со своим стадом овец, видел львиные следы. Они вели к большой могиле с куполом, трижды огибали ее и уходили обратно в сторону Гиндуку-

ша. Кое-кто в ауле считает, что лев неспроста повадился на кладбище: ведь этот зверь произошел от человека и почти так же умен, как человек.

Мне вдруг вспомнился рассказ, как один торговец женил своего единственного сына. Свадьбу отпраздновали богато, пышно, собралось видимо-невидимо гостей. А у этого торговца был сосед, который очень ему завидовал. Вечером за торжественным столом соседу удалось подложить в блюда жениху и невесте специально приготовленную им еду. Наутро забеспокоились, что молодая чета долго спит, откинули полог юрты и увидели рычащих льва и львицу. Звери рвались на волю. Никто, конечно не стал их удерживать. Они убежали в пустыню, а после еще не раз возвращались в аул навестить своих родителей...

Может быть, это те самые львы?» – подумал я, вспоминая рассказ Аман Гека про обнаруженные им следы чуть поменьше верблюжьей стопы и с отпечатками когтей. Хотя, кто теперь верит в такие красивые легенды? Да и возле нашего хлева львиных следов не было, это точно. А раз так – Гырат и невредим. Вот только, где он?

Домой я вернулся вконец расстроенный. Бабушка, расстелив дастархан, кормила моего брата. Она была спокойна, даже весела, будто ничего не случилось.

– Ты где пропадал? Лицо-то красное, прямо как свекла. Замерз? Иди ешь, пока все горячее. Только руки как следует вымой, в кундуке должна быть теплая вода.

– А папа... он тоже пошел искать? – с надеждой глядя на бабушку, тихо спросил я.

– У отца дела поважнее, в правление вызвали. Да что ты изводишь себя так? Никуда не денется наша кляча. Стоит себе, небось, у чьего-нибудь стога и сено уплетает за милую душу. А ты, дурачок, бегаешь за ним по такому холоду. На дворе погода – хороший хозяин собаку не выпустит.

Я поел, согрелся и стал ждать. В полдень пришел из правления отец и, прихватив ружье, отправился на поиски Гырата. Сказал, пойдет посмотрит беглеца в саксауловой роще, к югу от аула. Но я знал – с ружьем он может так увлечься своей любимой охотой, что запросто забудет, зачем вообще выходил из дому. Разве что столкнется с нашим конем лоб в лоб, и тот спросит, совсем как в сказке: “Не меня ли ты ищешь, добрый человек?». Недаром, проводив отца, бабушка вздохнула:

– Не иначе, допоздна будет бродить, пока ноги не загудят.

В тот день я горько пожалел, что в свое время не взял одного из щенков Васки. Дядя Мурад предлагал мне любого, на выбор. Из этой породы вырастают отличные ищейки, с чьей помощью я бы уже раз десять успел отыскать моего Гырата. Но поди тогда знай...

До самого ужина я не мог найти себе места. За что бы ни брался, все падало из рук. Школьные уроки не лезли в голову. И только когда мы сели пить чай – скрипнула калитка, и Чары, сын Шеммета ага, торжественно ввел во двор нашего

коня. Оказалось, Гырат вспомнил свое старое стойло и ушел туда. Я поставил перед ним полное ведро воды, но он лишь понюхал его, пить не стал. Не притронулся и к сену.

Ясно, Шеммет ага, его прежний хозяин, весь день поил и кормил Гырата – за верность старому стойлу.

III

С наступлением марта забот в ауле удваивается. А если к тому же год выпал дождливый, и вовсе пиши пропало. Бывает, земля покрывается такой твердой коркой, что никакая борона ее не берет. И семена хлопчатника так и гниют на глубине, не давая всходов. Потом эти поля надо заново перепаживать, заново засеивать. В общем, с первых дней весны неторопливая и размеренная жизнь сразу же, как говорится, уходит в область предания.

Отец теперь каждое утро едва рассветёт, торопится на работу. Чаю не всегда успевает выпить. Он бригадир, должен быть примером для других.

Чтоб увидеть Гырата, я хожу в поле, где идет сев и где вместе с остальными колхозниками трудится мой отец. Победав после школы, сворачиваю мешок, засовываю его под мышку и говорю бабушке, что пошел за травой.

– Давай, сынок, – кивает она. – Помнишь пословицу: Умный дрова “собирает, а бездельник – слова»? Сухая трава – огонь для тамдыра в самый раз. А смешать ее с кизяком, так и дров не надо, почище саксаула гореть будет.

Если честно, трава для меня лишь предлог, я просто соскучился по Гырату, пока сидел в школе.

Гырат узнает меня, где бы мы ни встретились. Пока я не подойду и не поглажу его по гриве, он держит уши торчком и

храпит, давая понять, что зовет меня. В моем кармане обязательно найдется несколько кусочков сахара для него. Гырат это знает. Случается, я приношу завернутый в мешок хлеб, еще теплый, только что из тамдыра, и мы с моим другом делим его по-братски, пополам. Эта привычка у меня, наверное, от бабушки. Когда в гостях ее угощают чем-нибудь особенно вкусным, она к своей порции иной раз и не притронется, отнесет ее мне домой. Или попросит добавки для внука. Если это сладость, ей дают две штуки, а если лакомство кисленькое, то три, чтоб число было нечетным. Своих гостей она тоже никогда не отпустит с пустыми руками, для их детей или внуков непременно передаст какой-нибудь платочек, рубашечку, а то и дынькой наградит или фруктами. Такой у бабушки порядок.

Ах, до чего аппетитно хрустит обжаренная с масле слоеная лепешка, посыпанная сверху сахаром! Вот только Гырату почему-то она не по вкусу. Как ни принесу катламу, каждый раз съедаю ее сам. Ну да не беда, говорят, «то сладко, от чего обиженный отказался».

А на поле между тем кипит работа. Поначалу я стою в стороне, наблюдаю, как вороны садятся на отцовский трактор, потом слетают на землю, подпрыгивая, передрыгивая, переваливаясь на лапках, движутся вслед за плугом, стараясь не отставать от него. Меня окликают – здесь не любят, когда стоишь без дела. Надо взять по кумгану в руки и пойти за водой к дальнему арыку. А то дадут тебе телегу и будь добр,

ссыпай на закраину поля сухую траву, собранную колхозниками. Зато, поспев к полуденному чаю, услышишь интересные истории о лошадях.

Недавно, например, рассказывали о Джинсате, породистом сакуне. Его поймал председатель нашего сельсовета Баллы-большевик, спустя два дня после стычки с басмачами у Карабиля. Было это давно, вскоре после революции. Никак не подпускал к себе Джинсат нашего председателя. Он все без устали носился по полю боя, волоча за собой уже не нужные поводья; время от времени останавливался и, призывая хозяина, быть может, убитого в схватке, – жалобно и пронзительно ржал – земля вокруг дрожала! Конь считал недостойным служить другому человеку. Его поймали арканом.

Басмачи потом не раз устраивали засады, подкарауливали Баллы. Но Джинсат загодя чувствовал опасность и ни разу не подвел своего нового хозяина под пули врагов. Те ненавидели не только самого Баллы, но и его коня, называли его тоже «Большевиком»...

В этом месте рассказ прерывается, к нам подходит Шеммет ага. Имя его часто слышно у нас в доме: бабушка ставит бывшего бригадира отцу в пример: вот, мол, как надо руководить людьми. Шеммет ага в белой папахе, галифе и сапогах с высокими голенищами. Его движения резки и порывисты, он всегда торопится, лицо потное, волосы встрепаны, – будто только с молотьбы вернулся. В пору своего бригадирства он днями не слезал с коня, мотался как угорелый по по-

лям бригады. Если ему не нравилось что-то, он не отставал, заставлял всю работу переделывать заново. Про него говорили: «Ох, и настырный! Слава богу, колодцы под его началом не роют. А то бы уж, наверняка, сквозную дырку в земле пробурили».

Стоило Шеммету ага заметить, как кто-нибудь из молодых женщин или девушек сидит без дела, он, ни слова не говоря, подзывал ребят, работающих по соседству, и весь пыл своего красноречия обрушивал на них:

– Что сидите, штаны протираете? Устали,

бедненькие, переутомились? А может, хотите, чтоб я вам трудодни урезал? Небось, дома говорите – работать пошли, а сами здесь с утра до вечера на грядках посиживаете, анекдотами балуетесь?

С ним не препирались, понимали, что этот спектакль – в назидание нерадивым женщинам. По пословице – «Кошку бьют – невестке урок дают». Бригадный доводился дальней родней многим жителям аула – со стороны их мужей, – и по старому туркменскому обычаю, общались с ними не иначе как с помощью посредников.

Лишь чайханщице Огульболды эдже, сверстнице Шеммета ага, позволялось переругиваться с ним на равных.

Бывало, он нарочно, чтоб подразнить чайханщицу, придирался к ней:

– Почему чай вовремя не вскипятила?

Хотя на самом деле свои обязанности Огульболды выполняла исправно. Или принимался ворчать на кого-нибудь громко, что та услышала:

– Ты что шумишь вечно, как Огульболды?

Однако и женщина в долгу не оставалась:

– Слушай, бригадир, надоело мне ишачить на вас, ищите себе другую чайханщицу. Знаешь, сколько воды я перетаскала из дальнего арыка? У меня плечи не каменные. И так война отняла всё, а тут еще ты... Язык поточить захотелось? Так приведи сюда жену, и пусть она вам чай кипятит. Здоровая же, по аулу, как жеребец, мотается. А я поеду в другую бригаду, на вашей свет клином не сошелся!

Но было ясно, никуда Огульболды не уйдет, да и Шеммет ага выговаривает, народ посмешить – и, как ни в чем не бывало, снова принимаются за работу. Вот уж правда, милые бранятся – только тешатся!

Мой отец совсем не похож на Шеммет ага. И бригадирствует он по-иному. Поглядишь со стороны – не скажешь, что должность человек занимает. Засучив рукава, весь в масле, копается в неисправном моторе трактора. А когда починит, потрет руки от удовольствия и тут же лезет в кабину: его дело – пахать и бороновать землю, в этом он незаменим. Работу же членам бригады может распределить звеньевой Джуматы.

Говорят, отца так же редко увидишь возле колхозников, как в свое время Шеммета ага возле тракторов. Еще бы!

Прежний бригадир мало что смыслил, а однажды даже с ним приключился форменный конфуз.

В тот день у тракториста Пайзы сильно разболелся зуб. Тут как тут Шеммет ага: что за непорядок, почему машина стоит? Не обратил внимания даже, что парень за вспухшую щеку держится, чуть не стонет от боли. Другой бы посочувствовал, а то и к врачу бы отпустил, но Шеммет ага все безразлично, кроме работы и плана. Черствость всегда людей ранит, вот и Пайзы обидно стало и, зная, что в тракторак бригадир не силен, решил он подшутить над ним:

– Нигрол в моторе сломался, – объяснил он причину остановки.

– И что, никак починить нельзя?

– Попролам согнулся, вот так. – Пайзы показал руками.

– Да-а... А штука эта очень дефицитная?

– Может на складе есть, только дадут ли.

– Если есть – достанем.

– Вы не знаете нашего завскладом. Захочет – даст, а не захочет...

– Здесь ему не частная лавка и не папин дом! – вспыхнул Шеммет ага. – Значит, так, – этим вопросом я займусь сам, немедленно. А ты пока перекур сделай, поешь-попей, а после уж будешь работать без перерыва.

Пайзы уныло кивнул, боль опять заставила его поморщиться... Шеммет ага помчался на склад. Когда услышал от заведующего, что нигрола нет, устроил такой скандал – на

весь аул гремел:

– Думаешь, ты идешь против моей бригады только? Нет, милый, ты против государства, против политики партии. Это знаешь как называется? Вредительство! И за такие вещи в Сибирь надо ссылать. Попилишь там дрова на морозе – одумаешься. А мать твоя будет ходить по клочку шерсти тебе на теплые рукавицы собирать. Понял?

Напрасно заведующий пытался объяснить, что нигрол не железка, а специальное масло, и на складе у Меред ага его полно – разъяренный Шеммет ага не дал ему и рта раскрыть.

В конце-концов, история эта дошла до самого председателя колхоза, а Шеммет ага, чтоб снова не попасть впросак, с тех пор при встрече с трактористами ни в какие деловые беседы не вступал, здоровался и проходил мимо.

То, что Шеммета переизбрали, кое-кому не по душе. Огульболды, к примеру. Я слышал, как она жаловалась:

– Хоть и новый бригадир мне почти деверем приходится, но до Шеммета ему, ох, как далеко! Раньше-то было с кем словом перемолвиться, а теперь? Как будто глухонемые все, одними тракторами занимаются.

Я, по глупости, передал этот разговор дома. Отец лишь улыбнулся, мать, может, и сказала бы что-нибудь, да в этот момент заплакал мой братишка, и она кинулась в другую комнату успокаивать его. Зато бабушка, внимательно выслушав меня – речь-то шла о ее сыне! – здорово рассердилась.

– Огульболды привыкла языком молоть, вот ей и не хва-

тает Шеммета. Оба они хороши! Да какое тебе дело до бригадира, до председателя? Седая уже, ведьма, ну и сиди себе дома, нянчи внуков. Нет, кусок ей в горло не лезет, пока руганью его не протолкнет!

Для меня это был хороший урок. Никогда больше я не рассказывал дома то, что слышал на поле. К чему людей ссорить, к чему вызывать лишние обиды?

IV

Осень приносит в аул новые хлопоты. Их достает на всех, даже на стариков и детей.

Темпы уборки растут с каждым днем. Люди работают за светло и затемно; колхозный кассир, не так давно еле кивавший колхозникам, когда те приходили к нему в правление просить аванс, теперь сам приезжает в поле, почтительно вручает каждому причитающуюся ему, чаще всего, немалую сумму.

А заведующий колхозной библиотекой Таир ага решил порадовать людей книжками. Привез их на телеге и разложил на старых мешках для сбора хлопка. Впрочем, известно, на всех не угодишь, иные недовольно бурчали, глядя на пестрые, внешне привлекательные обложки:

– И вправду, кому что. Ну, до чтения ли нам, подумай? Да хоть принеси ты сюда книгу про самого Гёроглы!.. Читать мы зимой будем, с ребятишками вместе. Они эти твои книжки за один вечер, как семечки щелкают. А хочешь сейчас помочь, пошел бы и собрал пару фартуков хлопка.

Тогда через неделю-другую Таир ага вместе с книгами привез свой дутар в бархатном чехле. Тут уж никто не стал ему ничего говорить, на инструмент смотрели с уважением, авторитет библиотекаря рос буквально на глазах.

В обеденный перерыв, когда пили чай, зазвучала мелодия дутара. Баир ага пел с большим чувством. Сборщики хлопка слушали его очень внимательно, и если мы, мальчишки, не больно-то разбирающиеся в музыке, начинали переговариваться чересчур громко, они жестами, как глухонемые, отгоняли нас под дальнюю тень.

Между тем, дела в отцовской бригаде шли неважно. После того, как за короткий промежуток времени выполнили более половины плана и вышли в передовые, прирост хлопка резко упал. Стали собирать второй урожай и вовсе скатились в середняки. А отсюда было уже рукой подать до отстающих...

– Наш бригадир слишком мягкий человек, – считал поливальщик Акы ага. – Хлопка полно, но нужны руки. Будь на его месте Шеммет ага, он бы до председателя, а то и до самого секретаря райкома дошел. Никого бы в покое не оставил! И правильно, так и надо. Бригадирство, это ж ведь тяжелый труд. На каждом шагу драться за все приходится. Сейчас горжан бы к нам на ёвар, на один, второй, третий, и я вам обещаю, показатели о-го-го как полезут вверх! Представьте, если на каждый куст хлопчатника будет по человеку. Да никто и никогда обойти нас не сможет!

– Точно, – соглашались с Акы ага колхозники. – Туркме-

ны недаром говорят: «Пока умный подумает, дурак своего сына дважды поженит». Вон соседняя бригада, где кривой Султан. У самого глаза еле открываются, на вид старец древний, а вся помощь шефов мимо нас к нему идет. Потому что умеет человек с начальством ладить, подход к нему знает. И опять же, хитер, как шайтан.

Может, и прав Акры ага, а может, на полях бригады кривого Султана выросло просто больше хлопка. Бывает ведь так? Повезло им, только и всего.

Слушать эти разговоры мне было неловко, я чувствовал обиду за отца, ждал, что Акры ага честно выскажет ему в лицо все, что думает о нем. Но тот, странно, при встрече с бригадиром подчеркнуто уважительно здоровался, спрашивал, все ли благополучно в нашей семье, и вообще вел себя крайне любезно и предупредительно. Что это, отменное воспитание или неискренность? Да, взрослых не всегда поймешь...

Во время сбора хлопка у трех тутовников вышла стычка с ребятами из соседней бригады, с которой мы продолжали упорно соперничать.

...Услышав пронзительный свист, я вздрогнул и поднял голову: на противоположном берегу арыка, разделявшего хлопковое поле на равные половины, несколько человек переговаривались между собой. Я прислушался. Вроде бы они болтали про наших девчонок: мол, знаем, они собирают больше парней, а те потом свой хлопок взвешивают вместе с их и получают приличные цифры, да только дутые.

Я посмотрел на девчонок – они как ни в чем ни бывало продолжали себе работать. А на том берегу не унимались. Голоса все громче, отчетливее. Вот уже и пустыми фартуками над головой размахивают, подбрасывают кепки. Понятное дело, вчера они снова обогнали нас.

– Ленивцам и лежебокам отстающей бригады, а также ее бригадиру и его адыютанту хулигану Джуматы от тружеников-передовиков и от себя лично... – Мальчишка, несший эту галиматью, выждал паузу и, призывно оглядев товарищей, подал знак рукой.

– ...Привет! – дружно грохнули те.

– Девчатам отстающей бригады от ребят бригады-победительницы пламенный...

– ...Привет!

Здесь уж наши рыцарские сердца не выдержали. Побросав фартуки, мы во главе с Сапаром ринулись вперед. Напрасно наши женщины пытались утихомирить нас – мы рвались защитить их честь!

У звеньевого Джуматы в таких случаях прямо глаза разгораются: пусть парни косточки разомнут, в ловкости и силе посоревнуются. Всем нам он советует поступать в военное училище. Ему самому, когда служил в армии, это же советовали, а Джуматы, по своей деревенской застенчивости, не решился. Сейчас бы наверняка полковничьи, а то и генеральские погоны имел. У него ведь способности находили командирские... А теперь только и остается что посмотреть,

как ребята устраивают схватки, приемы борьбы им показать, знакомые еще со времен молодости.

И в этот раз дядя Джуматы от души поддержал наш порыв. А заметив, что сын Кадыра Чорли, отстав от нас, дратья явно не намерен, принялся даже стыдить его:

– Эй, ты чего? В засаду за кустом спрятался? Или, может, такой сознательный, от работы боишься оторваться? Да нужен мне сейчас твой хлопок... А ну, марш к коллективу!

После короткой «артподготовки» – снарядами были комки глины, сошлись врукопашную. Мне достался Агаберды из нашего класса. Вернее, я сам кинулся к нему, сцепился сразу с двумя нашими ребятами. Подражая Котовскому (мы с детства помнили фильм об этом легендарном командире), он ловко бодался головой. Один из наших упал. Тут Абу и приметил Сапар. Скоренько расправившись с хлипким мальчишкой из соседней бригады, он кинулся на главного из врагов. В школе считалось, они равны по силе, но сейчас неукротимая жажда мести – те ведь первыми задели нас! – давала Сапару преимущество. По крайней мере, я верил, что он победит.

Однако спор этот остался неоконченным, рукопашная внезапно оборвалась. Мы разбежались в разные стороны, будто атакованные осиным роем. Оказалось, звеньевой соседней Аныш ага, увидев драку, вскочил на неоседланную лошадь и поскакал к нам. Здоровенная его хворостина, посвистывая в воздухе, хлестала всех без разбору!

– Поглядим, что будет, если вечером вы положите на весы меньше вчерашнего! – кричал Аныш ага вдогонку удирающим мальчишкам из своей бригады.

Подошел наш Джуматы, степенно поприветствовал соседского звеньевого.

– Ты что, сам не мог их разогнать? – упрекнул его тот, слезая с лошади. – Рядом же находился.

– Брось, Аныш, парни ведь, кровь горячая. Ну поразмялись маленько, что тут дурного?

– Смотрю я, Джумаберды, не меняешься ты... Ладно, угости, что ли, насом?

Они присели на корточки, каждый на свою сторону арыка, наш звеньевой вытащил из кармана брюк табакерку, постукал ею по колену, встряхивая нас, и кивнул Аныш ага. Потом снял выцветшую шапку, провел рукой по седой, лысеющей голове... Начали вспоминать, как проказничали в детстве. Тоже дрались, и Джуматы, и Аныш; в то время, кстати, мальчишеские потасовки нередко переходили во взрослые, аул на аул. Запрещалось одно – пускать в ход холодное оружие (если, конечно, дело не касалось вопросов чести). Туркмены народ великодушный, но к нарушителям этого закона были предельно суровы.

Тут Джуматы заметил меня. Делая вид, будто поправляю порвавшиеся в схватке штаны, я прислушивался к их разговору.

– Эй, друг, нехорошо. Пойди лучше собери немного хлоп-

ка. А раны, не беда, ночью посмотришь на звезды, и все заживет, как у джигитов Гёроглы.

Каждый вечер, взвесив собранный урожай, отец при свете керосиновой лампы сосредоточенно считал на бухгалтерских счетах. Если цифры по каким-то причинам были меньше ожидаемых, круглые деревянные костяшки он, как мне казалось, не сбрасывал, а неуверенно мял пальцами.

Пока отец занимался этим, бригада, расположившись на куче хлопка под навесом, слева от площадки для просушки, ждала объявления результатов. И хоть не терпелось уйти домой, никто не уходил. Потом бригадир зачитывал, кто сколько собрал, хвалил отличившихся, просил отстающих прибавить завтра в работе. Закончивал всегда одним и тем же:

– Постараемся, друзья, пока позволяет погода, собрать основной урожай. Начнутся дожди или, чего доброго, снег выпадет, будет совсем трудно.

Как мне хотелось помочь отцу! Чтоб его бригада обогнала всех, чтоб всегда была на первом месте. Но что я мог сделать?

Долго я думал и наконец, вспомнил о Гоше дөрвезе – Двойных воротах.

Существует предание: некогда в старину, когда на Чардыглы Чандыбил напали враги, Гёроглы со своими джигитами прошел через эти ворота.

В 1941 году старейшины аула провожали отсюда парней на войну, напутствовали их на ратные подвиги. Гоша дер-

везе – место священное, овеянное легендарной славой наших предков, нашего Героглы. Каждый, кто прикоснется к этой земле, обретет новую, быть может, даже чудодейственную силу. Во всяком случае я верил – все будет именно так, и тогда я смогу помочь отцовской бригаде.

Пару лет назад учительница истории водила наш класс к Гоша деревезе. Это было весной, трава в долине доходила до пояса. Издали два холма напоминали два высоких берега, а зеленая масса, заполнившая пространство меж ними и колышущаяся на ветру, представлялась бурной рекой. От тюльпанов, которых было здесь видимо-невидимо, исходил острый и приятный аромат. С порывами ветра он разносился далеко вокруг.

Вернулись мы в аул вечером, усталые, на обратном пути вымокшие под дождем, и тем не менее бодрые. Вторично я попал к Гоша деревезе, когда земля кое-где еще была припорошена снегом, хотя ранние подснежники то тут, то там пробивались. Мы приехали втроем на ослике Хомматджи. Нашим проводником был Сапар, знавший это место лучше нас. Только потом мы пожалели, что не прихватили с собой маленького осленка – боясь простудить, заперли его в сарае. Пока мы собирали луковицы подснежников, похожие на крохотные птичьи яйца, ослица разбрыкалась, разорвала путы на передних ногах и помчалась в сторону аула, к своему детенышу...

И вот сегодня я решил в третий раз ехать к Гоша деревезе.

Часов до одиннадцати, не разгибаясь, работал в поле. Затем сказал, что хочу подкрепиться дыней, и пошел к тутовникам, где ждал меня на привязи Гырат. Мы поели дыню, отдохнули немного в тени и двинулись в путь.

Сперва я вел Гырата на поводу. И лишь когда миновали арык, сел верхом.

Доскакали мы быстро. Два одинаковых холма, между которыми лежала дорога, простирались, казалось, на всю длину, начинавшуюся у Гиндукуша и на горизонте поднявшую небо. Травы – весной это было целое зеленое море! – сейчас желтели. Я почувствовал, как бьется сердце. Ехал и смотрел то на один, то на другой холм. Может быть, они сейчас говорят про себя:

– Мы поможем тебе, Эзиз. То, о чем ты мечтаешь, исполнится.

В один момент я будто наяву услышал эти слова. Кто произнес их? В воображении вдруг мелькнуло: на одной из вершин стоит седобородый старец с посохом и благословляет меня: “Твои мечты исполнятся, аминь...». Я вздрогнул, ощутив мгновенный и приятный укол страха. Повернув коня, стал поспешно удаляться от Гоша дервезе. Хотелось обернуться, еще раз посмотреть на холмы, но что-то удержало. Внезапно возникла необъяснимая счастливая уверенность: моя поездка сюда – не зря, и я пустил Гырата во всю прыть.

Уже смеркалось, когда мы подъехали к полю. Сборщики ходили и подбирали оставленные там и сям фартуки с хлоп-

ком. Вой шакалов откуда-то издалека, предвещавший на завтра такую же ясную солнечную погоду. Сидевший на своем плотно набитом хлопком мешке Садык мирно грыз дыньку, как вдруг, увидав меня, сорвался с места и закричал так, словно на заброшенной бахче обнаружил огромную спелую дыню!

– Эге, люди! Эзиз нашелся!

Мои планы полетели вверх тормашками. Вернувшись, я хотел незаметно присоединиться к работающим и вместе с ними подойти к весам. А малое количество собранного объяснил бы плохим самочувствием. Отец бы поверил. У меня и раньше кружилась голова, а однажды даже кровь пошла из носу, врачи потом советовали есть побольше винограда.

– Зачем столько шума? – подсадовал я на Садыка.

– Тебя же все ищут.

– А что случилось?

– Как это что? Ты ведь пропал, потерялся...

Теперь и Садык выглядел немного растерянным, мне аж неловко стало.

Оказалось, Тачсолтан из нашей бригады пошла к арыку напиться и увидела, как я уезжаю верхом на коне. К вечеру, забеспокоившись, отец послал одного колхозника справиться, нет ли меня дома. Поскольку там меня не нашли, дали лошадь звеньевому Джуматы, и он поехал на поиски.

Отец не стал ни о чем спрашивать, только приказал негромко:

– С коня не слезай, прямо домой. Бабушка там... – Не договорил, махнул рукой и, круто повернувшись, ушел.

Бабушка встретила меня у порога, обняла, заплакала, молча завела в дом. Мое долгое отсутствие извело ее, она пообещала принести в жертву святому Хыдыру две лепешки, если я вернусь. Все это я услышал от нашей соседки Кюмюш, которая пришла к нам утешить бабушку.

– Эзиз, разве нельзя было предупредить? Вспомни, как погиб твой дед. – И после паузы Кюмюш тихо добавила: – Бабушка и так напугана пустыней.

Конечно, я поступил нехорошо. С другой стороны, скажи, куда я собираюсь, разве отпустили бы меня? Эх, жаль, не догадался предупредить, на всякий случай, Сапара или Хомматджу. Да кто знал, что так обернется?

Вечером отец все же поинтересовался, куда я ездил. Я рассказал про Гоша дервезе и пообещал, что теперь наша бригада будет победительницей. Отец вообще-то нечасто смеялся, но сейчас улыбка сама собой тронула его губы. Наверное, чтобы я этого не заметил, он поспешно отвернулся. А бабушка запричитала, покачивая головой:

– Ох, чуяло мое сердце, он придумает такое!.. В нашем роду все хороши. Бородатому всю жизнь твердила: брось своих коней, не ходи в пустыню. Да разве послушался? Теперь бы аксакалом был, на внуков радовался. Э, да что говорить... Господи, хоть бы с вами, живыми, ничего не случилось!

Потом, вспомнив про внука Язгуль эдже, принялась ру-

гать нашу учительницу истории.

– Акмурадик вон, совсем еще ребенок, а туда же: вырасту – поеду в Индию, как поэт Махтумкули. Язгуль, бедная, ему: “Индия далеко, куда же ты поедешь?”. А он ни в какую: “Должен и все! Не могу, говорит, не посмотреть Туркменские ворота”. “Ладно, поезжай, но когда взрослым станешь. – “А если вдруг сейчас сбежит в эту самую Индию? – Язгуль боится очень. А виновата во всем, оказывается, младшая невестка чабана Аллаяра. Выучилась в Ашхабаде и теперь забивает головы детям бог знает чем. Современные, они все чересчур грамотные да языкастые. Помните, что случилось в прошлом году с сыном Назара Ешана? Сел на отцовский трактор и свалил каменную плиту с письменами, что в голой степи. Когда же спросили, зачем ему это понадобилось, ответил: “Памятник врагу не должен стоять на нашей земле». Небось, и тут учительница Мехриджемал постаралась. На уроке истории повела класс в степь, к камню, прочитала надпись на плите и объяснила, что памятник этот поставлен завоевателем на могиле своего воина. Ну что ты после этого сделаешь? Чего ж мальчишку ругать? Разве сам бы додумался до таких вещей? Ох, дети, дети...

Закончив говорить, бабушка добрыми и чуть грустными глазами смотрит на моего брата. Тот носится, как угорелый, по комнате, топает, с шумом передвигает стулья. Если окликнешь его, обязательно остановится, оглядит тебя с улыбкой. В этот момент замечаешь, до чего он похож на на-

шего отца.

– Покататься на лошадке хочешь? – спрашиваю я.

Брат принимается неразборчиво лопотать, показывает рукой в направлении стойла. Потом снимает с качалки подушку, тащит ее на середину комнаты и садится верхом. Лицо бабушки, пьющей чай, остается спокойным. Но когда, разыгравшись, брат начинает стегать свою подушку все сильнее, чаще, – будто настоящий конь у него под седлом! – бабушка глубоко вздыхает.

А может, опять со здоровьем у нее нелады? Уже несколько лет из-за радикулита не показывается бабушка на хлопковом поле. Вконец замучила ее эта болезнь. И все же нынешним летом, когда отца назначили бригадиром, она не удержалась, собрала несколько полных фартуков. После долго кряхтела, грелки себе ставила.

Вообще, все наша бригада трудилась на совесть с раннего утра до темноты. Казалось, руки насквозь пропитаны липким соком хлопчатника. Мы делали все возможное, чтоб поддержать авторитет отца, чтоб ему не было стыдно перед руководством колхоза. Но хотя и собрали хлопка больше, чем в прошлом году, все-таки оказались в числе пяти бригад, не выполнивших плана.

В день, когда это окончательно выяснилось, отец – теперь уже бывший бригадир – вернул Гырата в колхозную конюшню. Конь ему больше не полагался. Зная, как меня это расстроит, он накануне ничего мне не сказал, а коня отвел днем,

до моего возвращения из школы. Я понимал, что рано или поздно это случится и все же надеялся до последнего. Но напрасно: в стойле было пусто и такую же пустоту ощутил я в своей душе.

Не скрою, мне было обидно и за отца, но, в конце концов, потерять должность – беда не самая страшная. Человек, разбирающийся в технике, не пропадёт, а отец мой как раз из таких.

Раньше он был бригадиром у трактористов. Маленький, я не раз наблюдал, как поломавшийся и отбуксированный на край поля трактор от одного прикосновения отцовской руки, точно по-волшебству, вдруг с ревом рвался обратно в поле. Трактористы пили воду из промасленного ведра, и я тоже пил, сдувая с поверхности воды радужные пятна. Потом меня брали в кабину, и мы вместе пахали землю.

Помню, отцу достаточно было услышать звук работающего мотора, чтобы определить, кто сидит за рулем трактора. Иной раз, если звук этот ему не нравится, он начинал ругать водителя:

– Колхоз ему машину доверил, а он... Да я б осла на него не оставил. Ему бы сейчас заглушить мотор да подтянуть гайки ключом на «семнадцать». Вот неуч! – нервничал отец.

А спустя немного времени за окном раздавался голос тракториста:

– Яздурды ага! Выйди, пожалуйста. – Лаяла наша собака, не пускавшая чужого во двор.

Отец обычно посылал меня вперед:

– Иди, скажи, я сейчас.

А сам уже накидывал ватник и проверял, на месте ли сумка, в которой – термос с кипятком и еда. Что поделаешь, в пахоту у трактористов не должно быть ни минуты простоя, значит, нужно помогать...

Теперь мы с Гыратом виделись тайком. Я крался между длинных и одинаковых, как в поезде, навесов колхозной конюшни; тут же высились скирды сена. Только бы конюх не заметил, а то неприятный может получиться разговор.

– Что слоняешься вокруг лошади? – например, спросит он у меня. – Твой отец больше не бригадир.

Вряд ли я найду что ответить...

Гырат, едва увидит меня, непременно подойдет. Я глажу ему гриву, лоб и всегда даю что-нибудь вкусненькое. Мы вспоминаем нашу прежнюю дружбу... Хотя, почему “прежнюю»? Дружба продолжается!

Вскоре, однако, избрали нового бригадира, и он должен был отвести коня к себе в стойло.

Хорошо помню тот дождливый день нашей последней встречи. Вымокший до нитки, я прибежал в конюшню и увидел, как Гырат, высунув голову из-под навеса, неподвижно устоял на косые струи дождя. Вероятно, монотонный звук падающей воды навевал на коня дрему. Я тихо окликнул его, но он, то ли не расслышал, то ли не узнал мой голос. Когда позвал погромче, конь мгновенно оживился и взглянул на

заросли тутовника, где я прятался. Несмотря на дождь, он подошел ко мне. Я покормил его с ладони жареной кукурузой и отправил обратно под навес:

– Завтра, как только взойдет солнце, я приду опять.

– Но на следующее утро Гырата забрал новый бригадир...

Трудная пора наступила в моей жизни! Я скучал по своему другу и чем дальше, тем сильнее. Однажды, чтобы повидаться с ним, пошел к дому его нового хозяина. Гырат стоял как раз неподалеку от приоткрытой калитки. И тогда в голову мне стукнула одна шальная мысль (после сам долго не мог понять, как это произошло).

Я скользнул во двор и спрятался за стогом колючки. Убедившись, что остался незамеченным, подкрался к вбитому в землю деревянному колу, сдернул с него веревку с недоуздом и впопыхах кинулся искать сбрую. Ее нигде не было, скорее всего, она лежала на пне вместе с седлом, но идти туда было опасно, еще нарвешься на кого-нибудь из хозяев. Я вскочил на Гырата, хлеснул его концом веревки от недоуздка, и он, прямо-таки выстрелившись вперед, легко перемахнул через палку, загораживающую поперек проход из стойла. Хорошо, я крепко держался за гриву...

Но на мое несчастье, во дворе все же оказалась какая-то женщина: из стога хлопчатника, на котором сушились детские пеленки, она вытягивала ветки для тамдыра. Я ее заметил слишком поздно, когда уже сидел верхом.

– Ой, парень, ты кто?! Куда лошадь угоняешь? – закрича-

ла она.

Гырат не обратил на нее ни малейшего внимания. В три прыжка он очутился за околицей аула и по тропе у самого края вспаханного поля, вихрем полетел в сторону камышовой балки.

Там мы оба перевели дух, я спрыгнул на землю. Вокруг буйно зеленели травы, кусты солодки покачивались на красноватых стеблях. Мимо протрусил охотничий пес Джумы мергена, с трудом несший свое одряхлевшее тело. Он остановился, задумчиво поглядел на меня и побрел дальше. Раньше его часто можно было встретить с хозяином. Когда они возвращались с охоты, с пояса Джумы мергена свисала тушка подстреленного фазана. Мы, ребята, тоже мечтали стать охотниками, иметь такую же замечательную собаку. Года два назад Джума мерген внезапно умер, а Сарыбай уже совсем старый. Наверное, сейчас он обходит знакомые места, вспоминает разные случаи из своей охотничьей жизни...

Мне стало жаль одинокого пса. Настроение сразу упало. Я подумал, что надо бы вернуть Гырата в стойло: вдруг он потребуется новому бригадиру? Я сел на коня, и мы не спеша поехали по извилистой тропе, тянувшейся вдоль Дербенского арыка. Там, где арык огибал невысокую горку, у брода, слышались какие-то непонятные звуки. Я вспомнил, что в прошлом году Гыджан ага наткнулся в этом месте на дикого кабана, завязшего в глине. Может быть, опять кабан?

Нет, у брода сидел человек, длинный Меред, учившийся

тремя классами старше меня; он ловил в арыке рыбу.

– Иди сюда, – позвал он, – канар поддержишь. Тут есть во какие рыбины! – Он показал на ногу.

Мое намерение отвести Гырата в стойло почему-то сразу забылось. Да и неудобно было отказывать приятелю, к тому же старшему. Я пустил коня пастись, а сам стал помогать Мереду. Гораздо выше меня ростом, он зашел на глубину. Я старался не отставать. В порванную посередине сеть-мешок в самом деле попало порядочно рыбы, но все больше мелочь.

Что ж, каждый рыбак, а Меред в особенности (за ним это давненько водилось, я знал), любит прихвастнуть.

Улов мы разделили поровну, после чего длинный Меред, весело насвистывая, зашагал в сторону аула, а я отправился к Гырату, щипавшему траву невдалеке.

Только я подошел к коню, сзади зашуршало и из зарослей коршуном выметнулся подкарауливший меня Таллы, сын нового бригадира. Как и Меред, он был старше меня на три года и, думаю, во столько же раз сильнее.

– Попался, конокрад! – воскликнул Таллы обрадованно, как человек, наконец, дождавшийся своего часа.

– Это наш конь, – кинул я первое, что пришло на язык.

– Был ваш. Ясно. Был! А теперь твоего отца – того, тю-тю, попросили и правильно сделали! Он же развалил всю работу.

– Твоего тоже через год попросят.

Мы сцепились. Таллы скрутил мне руку и ухитрился дважды ударить по лицу. «Ты же украл, ты же вор», – тяжело дыша, приговаривал он. У меня из носа пошла кровь. Это, видно, охладило его пыл, он вспрыгнул на коня и поехал, а я метнул вдогонку твердый, как камень, ком земли. Таллы охнул и схватился за ушибленную спину. Взбодренный этим маленьким успехом, я лихорадочно осмотрелся в надежде найти еще что-нибудь увесистое.

– Я тебя завтра еще найду в школе! – погрозил кулаком Таллы и пустил Гырата вскачь.

Рукав моей рубашки был порван и испачкан глиной, но домашние, когда я пришел с длинной камышинкой, унизанной рыбами, не заподозрили меня в драке. Конечно, и я им не стал ничего говорить, понимал: в случившемся виноват сам.

Обещание Таллы повстречаться со мной в школе, ясное дело, не сулило мне ничего приятного. Кушая рыбу, я думал, что же предпринять. Нет, прощения у него все равно не буду просить. Жаль нет у меня старшего брата. Ну ничего, кто-нибудь из старшекласников заступится.

На следующий день во время урока раздался стук в дверь. Учитель выглянул в коридор, кивнул кому-то и позвал меня: – Эзиз, выйди, пожалуйста. – А сам продолжал вести урок.

Я вышел – и оказался один на один с Таллы. Должно быть, он наврал что-то учителю, иначе тот ни за что бы не отпустил меня.

– Ну, вор, поквитаемся? – Он с усмешечкой поманил меня пальцем.

– Мать у тебя воровка, – огрызнулся я.

Утром, одеваясь, я предупредительно надел под рубашку дядин солдатский ремень. Это придавало мне сейчас уверенности. Я надеялся, что если ударю первым, победа будет на моей стороне.

– А ну повтори, чья мать воровка? – Лицо Таллы вмиг налилось краской.

– Твоя, сказал же.

– Тогда пошли. – Он, кажется, понял, что коридор не самое подходящее место для выяснения отношений, удобнее всего это сделать в туалете или на лестничной клетке.

Шагая вслед за ним, я успел намотать ремень на руку, и когда Таллы остановился, с размаху ударил его по спине. Устояв на ногах, он проворно обернулся и по-бараньи боднул меня в грудь. Я упал.

– А ну прекратите немедленно!

К нам спешил случайно проходивший мимо учитель физкультуры. Пытаться улизнуть было бы глупо – это ведь не толстяк, учитель математики Якуб, а кандидат в мастера спорта по бегу. Он, ни слова не говоря, крепко взял нас обоих за руки и повел в учительскую.

Там пришлось выложить причину нашей драки. Завуч долго стыдил нас, в особенности Таллы: как старшего и за то, что специально вызвал меня с урока. Потом началась пе-

ремена, появились другие учителя и, узнав в чем дело, тоже качали головами. В конце концов мы с Таллы пообещали, что впредь этого не повторится и, понурые, не глядя друг на друга, зашагали из учительской.

В коридоре я столкнулся с длинным Мередом. Он искал меня по всей школе: позарез требовался свидетель вчерашней рыбалки. Мы пошли к его одноклассникам.

– Так, значит, вдвоем вы поймали целый мешок рыбы? – спросил меня полный, круглолицый Сеид, заранее приготовившись рассмеяться.

– Да. – Я решил, что буду отвечать как можно короче. Кто знает, какие небылицы наплел ребятам Меред, мне не хотелось его подводить.

– Да вы спрашивайте, спрашивайте, человек же видел все собственными глазами. – В тоне Мереда была снисходительность, он будто недоумевал, как это можно сомневаться в его словах.

– Ну, хорошо, – продолжил Сеид, опять обращаясь ко мне, – а видели рыбу величиной с его ногу? – Он показал на Мереда.

– Да.

– Почему же вы ее не поймали?

Я пожал плечами, запнувшись лишь на секунду:

– Мы... мы замерзли, и пришлось уйти.

Длинный Меред с торжествующим видом расправил плечи, кажется, еще прибавив в росте: “Ну? А вы не верили!» –

говорил его взгляд правдолюбца и победителя.

Потом мы с ним отошли, и он весьма довольный мною, осведомился, что я делал в учительской. Я сказал.

– Настоящий мужчина должен пройти и через это, – небрежно кинул он, давая понять, что сам не раз бывал в таких переделках. – Девчонок за косы дергал?

Я отрицательно покачал головой.

– Мой тебе совет, с ними лучше не связывайся. Понял?

– При чем тут девчонки? – вздохнул я. – С Таллы подрались, а мимо – физкультурник... Влипил, в общем.

– Это какой Таллы, из восьмого “б»?

– Ага. Его отец недавно бригадиром стал.

– Слушай, какая разница, кто его отец? Меня интересует одно: почему он обижает друга Мереда? На силу, что ли, надеется? А ты тоже хорош, не мог сказать Язы? – Он назвал имя моего двоюродного брата. Затем резко повернулся и припустил по коридору, успев на ходу бросить: – Я мигом.

Вернулся и вправду очень скоро, ведя впереди себя Таллы.

– Вот, можешь отдать ему должок, – хитро подмигнул он мне. Бей, не бойся, пока я здесь, он дыхнуть на тебя не посмеет.

На Таллы, что называется, не было лица. Сгорбившись, он замер в беспомощном ожидании. Сперва я почувствовал нечто вроде злорадства: попался, голубчик, теперь посмотрим кто кого! Но в следующий момент, неожиданно для себя

самого, протянул моему недавнему врагу руку:

– Держи!

Мальчишки, окружившие нас в надежде на веселое представление, были разочарованы. Кое-кто наверняка посчитал, будто я испугался встретиться после с Таллы наедине. На самом же деле до меня дошло просто, что ничего бы не изменилось, врежь я сейчас моему обидчику. Все равно на Гырате будет ездить он, так как его отец бригадир. Да и нечестно это было бы, если б я его сейчас ударил.

Таллы сначала не поверил моей протянутой руке, продолжал стоять, втянув плечи.

– А не врешь? – глянув исподлобья, глухо спросил, наконец.

– Не будем посмешищем для других.

– Согласен. – Только теперь на его лице мелькнуло что-то вроде улыбки облегчения. На виду у всех мы пожали друг другу руки и решили забыть старые обиды. Я думал, длинный Меред разозлится – получилось, ведь, я отказался от его помощи, – но он нашел достойный выход из положения.

– Видал? Так-то. С дураком или лгуном я никогда не пошел бы ловить рыбу, – важно подытожил он и похлопал по плечу нас обоих – Таллы и меня.

Вместо эпилога

Когда я проснулся, небо на востоке только начало алеть. Сквозь распахнутое окно в комнату вливался утренний воздух. Он был чист и прохладен. На подоконнике – книга, ко-

торуя я читал перед сном; набегающий ветерок с легким шелестом переворачивает ее страницы. Наверное, вчера я так и заснул с ней, а уж после бабушка осторожно вытянула ее у меня из рук и положила на подоконник.

Раньше я не любил читать. Одноклассница Айна, никогда не расстававшаяся с книгой, казалась мне не совсем нормальной. “Какая-то старушка, а не девчонка», – думал я. Правда, и учителя нам советовали побольше знакомиться с художественной литературой, но как скучно звучали их призывы. А вокруг было так много всего интересного!..

Помню, я однажды с иронией рассказывал бабушке про Айну: за всю перемену ни разу не оторвалась от страницы, а когда прозвенел звонок, спрятала книгу под парту и весь урок украдкой читала. И вообще она давно уже носит очки, по математике получает одни тройки, и только литературу и историю знает лучше всех в классе.

Бабушка, выслушав меня, задумчиво улыбнулась. Может, представила себе большие серые глаза Айны, ее косы с заплетенными в них белыми бантами? Взрослых иногда трудно понять, они могут улыбаться совсем не тому, что забавит тебя, – я это давно заметил.

– Сынок, – сказала бабушка, – чему удивишься, с тем и повстречаешься. Твою будущую маму отец иначе не называл, как “эта с раскосыми глазами». А прошел десяток лет, стал твердить, что только она ему и нужна. Судьба гораздо на всякие шутки.

К книгам я приохотился, когда окончательно расстался с Гыратом. Они научили меня думать. А еще помогали переносить одиночество без моего любимого коня. Я все чаще бывал с ним в воображении – чтение развило во мне эту способность.

Теперь я часто наведывался в колхозную библиотеку, помещавшуюся в двух маленьких узких комнатах. Брал домой сразу три книги. Мог бы и больше, да Таир ага не позволял.

– Эти прочтешь, возьмешь другие, библиотека из аула никуда не денется, – осаживал он особо ретивых читателей. Как-то я сказал Таир ага, что люблю книги про войну и про коней, и с тех пор он мне обязательно помогал выбрать что-нибудь подходящее.

Когда я однажды принес сдавать «Гёроглы», библиотекарь недоверчиво посмотрел на меня, положил книгу на ладонь, словно взвешивал, и едва-едва заметно усмехнулся в усы:

– Быстро же ты одолел такую толстую... Ну и как, понравилась?

– Да, – ответил я уверенно, потому что прочитал ее два раза. А уж сколько от бабушки слышал про подвиги нашего героя!

Она же рассказывала мне, что у деда было старое издание «Гёроглы», еще с латинским алфавитом. Обшил он книгу материей и хранил ее, как муллы – Коран. Давным-давно, в ауле еще не было электричества, по вечерам на середину комнаты ставили перевернутое корыто, на него керосиновую лампу, и

дедушка вслух читал «Гёроглы» собравшимся в доме. А наш родственник Языр пел из этой книги песни своим чистым и сильным голосом. Перед отъездом на фронт дедушка отдал кому-то «Гёроглы», а кому – забыл. Арнагельды ага, воевавший вместе с Языром, вспоминал, как тот в минуты отдыха собирал вокруг себя солдат и читал им какую-то книгу. Может быть, ту самую, что дал ему мой дед? Языр пал смертью храбрых под Конотопом, а ведь и Гёроглы всегда находился там, где шумел бой, где правда и справедливость побеждали ложь и насилие.

– А ну, Эзиз, перекинемся-ка словами, – неожиданно предлагает Таир ага. И вот уже он – старый Джыгалыбег, а я юный Гёроглы, который, посадив дедушку позади себя, убеждает от злого Хункара к горе Уч-Гумбез.

– ...Погляди-ка, сынок, не отстала ли погоня?

– Дедушка, всадников не видать, только один догоняет нас.

– Если конь у него серый, правь под солнце. У коня цвета чакан глаза солнечных лучей боятся.

– Отстал это всадник. Но теперь за нами резво мчится гнедой жеребец.

– Если темно-гнедой, сворачивай в лес, в заросли. Такая масть обычно у коней, болевших паршой. У них семь лет чесотка не проходит.

– Отстал и он, да вырвался вперед светло-серый.

– Тогда посмотри, сынок, нет ли поблизости гор?

– Есть, дедушка.

– Скачи прямо туда. У коня цвета боз копыта для камней не приспособлены.

– Уже не виден и этот. Только вот преследует нас конь железно-серого цвета.

– Не цвет ли чистой стали – гыр, сынок?

– Нет, дедушка.

– Лишь бы не он. Скачи спокойно, не подобает железно-серому коню догонять нас. – После этого экзамена Таир ага больше не сомневался, что книги я читаю, а не картинки в них рассматриваю.

...Я подумал было встать с постели, подойти к окну и окликнуть бабушку, хлопотавшую во дворе, но тут вспомнился вчерашний случай, и я улыбнулся.

Ранним утром какая-то молодая женщина с двумя полными ведрами возвращалась с нижнего арыка. Неторопливо шла она по еще пустынной улице, и походка ее напоминала низкий полет фазаньей курочки. Гуляка на шее отливала солнечным блеском, подвески мелодично позванивали в такт шагам.

Когда она приблизилась к нашему дому, навстречу ей показался мужчина верхом на осле; поперек седла он держал лопату. Женщина узнала его – видимо, это был старший родственник ее мужа, – уступила дорогу, поставила ведра и почтительно поклонилась. А мужчина вдруг занервничал, что-то неразборчиво, хриплым голосом ответил на приветствие.

По всему было видно, он не на шутку смущен. Чтобы поскорее проехать, он со всей силы замахнулся хворостиной и вместо шеи угодил ослу в голову, так что несчастное животное от боли завертелось на одном месте.

Недаром бабушка говорит: человек только тогда спокоен, когда он на коне и в кармане у него хоть небольшой кусочек золота. В старину без этого никогда не отправлялись в чужие края. Конь и золото были вроде талисмана на счастье.

На одной свадьбе в ауле я слышал такую легенду.

Бедный чабан пришел к баю просить муки, бочку воды и одежду, словом, то, что он зарабатывал своим нелегким трудом. Бай пригласил гостя в дом, поставил перед ним угощение и осведомился, зачем тот пожаловал.

– Бай ага, все говорят, у тебя есть прекрасная дочь, – неожиданно произнес чабан. – Я хочу, чтоб она стала моей женой, отдай ее мне!

Хозяин сразу смекнул, в чем дело, и попросил гостя чуть отодвинуться от очага. Чабан послушался, пересел и тотчас, вместо прекрасной девушки, стал смиренно просить еды и немного соли. Потом выяснилось, что там, где сперва расположился чабан, был зарыт под полом мешок с золотом. Это и придало бедняку смелости требовать невозможного.

...Какое чудесное светлое утро! Лежать бы вот так, нежась в теплой постели, а после закрыть глаза, и...

Опять, откуда ни возьмись, на вершине далекого холма появляется Гырат, с гордой статью и разметавшейся на ветру

гривой. И опять холм становится похож на юрту, где царят достаток и благополучие, с лошадьёу у коновязи.

Уже и не вспомнить, когда мы с Гыратом впервые встретились. Знаю лишь, что помогли мне в этом книги. Воображение рисовало прекрасного коня цвета чистой стали, похожего на тех двух коней, что смотрят на меня сейчас со стены комнаты. На одном из них сидит султан Чардаглы Чандыбия Гёроглы с грозной саблей на поясе и со щитом в руке. Рядом с этой репродукцией, вырезанной из старого журнала, – фотография: маршал Жуков принимает парад Победы в Москве на Красной площади. Я недавно выменял ее на авторучку с золотым пером, подаренную мне дядей. Газеты писали, что под седлом у Жукова был чистокровный туркменский скакун.

Ну, а еще об одном, третьем, Гырате пока никто не догадывается. Мне однажды захотелось рассказать о нем бабушке, но, чего доброго, она еще подумала бы, что со мной что-то случилось. Нет, лучше до поры до времени держать все в секрете. К тому же, бабушка любит повторять, едва речь заходит о коне, который когда-то стоял в нашем стойле:

– Не переживай, сынок, из-за этой клячи. Нет ее, и слава богу.

Когда-нибудь она непременно узнает о моем Гырате и порадуетя:

– Молодец, вылитый дед. С тобой наш дом вновь оседлал коня!

...Рассекая грудью высокую траву, Гырат опять несется по необъятному лугу. Копыта его еле касаются земли. Он почти летит, этот сказочный и вместе с тем живой, настоящий конь. Он оставляет за собой горы, долины, и я, слушая дробный ритмичный постук его копыт, задумываюсь, забываюсь...

Потом, когда мое сердце начинает биться в такт этим звукам, я вновь вижу себя верхом на Гырате.

Перевод А.Левашова 1985 г.

НЕ ЗАБУДЬ О ДЯДЕ

Бабагельды еще ранней весной узнал, что будет служить в десантных войсках. В марте его вызвали в военкомат и вместе с другими призывниками отправили в Ашхабад на подготовительные курсы. Первое знакомство с парашютом началось здесь, в республиканской школе ДОСААФ города Ашхабада. Медицинская комиссия тщательно отбирала каждого призывника для службы в десантных войсках. Многим пришлось вернуться назад – не подходили по тем или иным медицинским параметрам (к службе). После недельных занятий начались прыжки с учебных самолетов. Всего удалось сделать три прыжка, но первого чувства полета ему не забыть никогда.

Когда поезд из Мары отправился в сторону Ашхабада, вместе с Бабагельды в вагоне оказалось много ребят, с которыми он занимался в школе ДОСААФ. Наверное, через Каспий на Кавказ повезут. Может там будем служить?» – гадали ребята. На другой день поезд с полпути, не доезжая до Красноводска, снова повернул назад в сторону Мары.

На сборном пункте Ашхабада ребят встретил высокий капитан и три солдата – десантника.

Проверив список и построив команду, капитан повел ребят к площади где уже стояли группа военных, среди которых выделялся высокий генерал. Прозвучала команда:

«Смирно!»». Строй притих, голоса смолкли, ребята подтянулись выровнялись.

– Поздравляю с началом воинского пути, – прозвучал голос генерала. Служба у вас в десантных войсках не простая, но романтики и героических дел хватает. Желаю стать настоящими воинами, защитниками родины, такими, какими были погибшие на войне наши земляки.

Бабагельды узнал его. Это был генерал Бегши Атаев – начальник штаба легендарной туркменской дивизии, про которую он, еще учась в педучилище, собирал документальный материал, разыскивал участников ВОВ и многих нашел.

– Будьте достойны памяти погибших за вас солдат. Желаю вам счастливого пути!

Ребята загомонили: кто-то крикнул «спасибо», кто-то захлопал, никто не знал, что в данном случае нужно было сказать в ответ.

Капитан построил призывников, и они отправились на вокзал.

Только поздно вечером их вагон прицепили к поезду «Ашхабад-Москва», соседями по вагону оказались знакомые Бабагельды еще по ашхабадской школе ребята. Круглоголовый Ильмурад достал туго набитый рюкзак и стал угощать ребят.

– Давайте, налетайте, а то когда еще так поесть сможем. Старшая сестра целый день ждала, когда нас к поезду привезут, чтоб рюкзак отдать. Мы ведь тут недалеко от города

живем, вот она и решила меня проводить, чтоб самой увидеть, как я ей из поезда махать буду.

Смуглолицый до черноты Язмухаммед не заставил себя долго упрашивать, и вместе с Бабагельды они подсели к столу. Третьим в купе был высокий и смуглый парень по имени Нургельды. Он почти все время молчал, от еды отказался и только поздно ночью, когда поезд, набирая скорость, увозил их все дальше, они узнали, что Нургельды недавно женился, всего двадцать дней назад. Он бы мог остаться, попросив отсрочку на год. Оказывается, отец его жены был ответственным работником и помочь Нургельды в этом деле ему ничего не стоило.

– Я просить его не стал, неудобно как-то, а он сам мне не предложил. Вот и еду теперь.

– Ничего, крепче любить будет, говорят, разлука проверяет чувства. Да и мы ведь не на всю жизнь уехали из дома. Отслужим, – вернемся, – весело ответил ему Язмухаммед...

Ночью Бабагельды не спалось. Приходили мысли о доме, от которого он уезжал сейчас все дальше и дальше. Правда, грустить особых причин не было. Молодая жена дома не ждала. А вот отец... С ним расставаться на два года было тяжело.

Назар ага работал в колхозе бригадиром тракторной бригады. Слыл он человеком замкнутым, малоразговорчивым. Видимо, потому и сторонились его люди, суровость отгаливала. Но уважать, уважали – знали, что в работе он зверь

и от других того же требовал. А в селе судачили, как это ему удалось вырастить своих десятерых детей такими добрыми и заботливыми. Дети понимали отца, и с годами он становился для них все ближе, да и характер его узнавали все больше. Всем сердцем и душой он был всегда с людьми, болел их горестями и заботами, радовался их счастьем и успехам. А на лице по-прежнему суровость.

И еще он думал о бабушке. Вот она на своем обычном месте, прислонившись спиной к тяриму, и серая кошка, с которой Бабагельды играл в детстве, лежа на краю кошмы.

Прощаясь, бабушка обняла его и сказала:

– Ты, сынок, служи хорошо и возвращайся с почетом. И про дядю помни, он тоже, как и ты, в Россию ушел служить...

Когда Бабагельды проснулся, Ильмурада в купе не было, видимо, он уже пошел умываться. Язмухаммед сидел, прилягиваясь головой к окошку, глаза его были закрыты, рукой он все время проводил по лицу, словно стгоняя сон. Нургельды стоял перед открытым окном в тамбуре с высоким парнем, который без конца смеялся. Солнце было уже высоко и начинало припекать. «Смешливый», как прозвал его про себя Бабагельды, выкинул окурочок и ушел в свое купе. У окна остался один Нургельды.

– Куда это мы приехали? – поинтересовался Бабагельды.

– Следующая станция Мары.

– Так, значит, снова, в родные края вернулись?

– Ну, да.

– О чем ты думаешь?

– Ай, ни о чем, просто смотрю в окно.

– В один прекрасный день мы вот так же и вернемся домой... Но уже совсем другими, – мечтательно сказал Нургельды.

Когда поезд отъехал от Мары, выяснилось, что пропал Язмухаммед. Все решили, что он где-нибудь в соседнем купе, и вот-вот появится, но его в вагоне не было. Капитан, узнав, что Язмухаммед отстал от поезда, воспринял это очень спокойно: “Ну, если отстал, ему подскажут, где нас найти». Улучив удобный момент, Бабагельды спросил капитана:

– Куда вы нас везете, товарищ капитан?

– Отсюда не видно, – капитан улыбнулся.

– Это что – военная тайна?

– Почти. Приедем на место, тогда все и узнаете.

Поздно вечером поезд остановился в Чарджоу. Ильмурад с Бабагельды вышли на перрон и тут же увидели улыбающегося Язмухаммеда.

За чаем он рассказал, что еще в Ашхабаде отправил телеграмму своей девушке: “Едем через Мары». Не увидев ее на вокзале, остановил такси и поехал к ней домой. А в Чарджоу прилетел самолетом.

Бабагельды всегда мечтал увидеть Амударью, но мечта так и осталась мечтою. Когда поезд с грохотом проносился по мосту, была уже ночь.

Уже три дня ехали они к месту своей службы...

...Барханы Туркмении, узбекские полустанки, где на вокзалах продавали разнообразные угощения – всему этому не было, казалось, конца. Утром, во время завтрака, Бабагельды снова вспомнил девушку с добрыми глазами, которая на станции продавала круглые, как солнце, лепешки. Он купил три, отойдя немного в сторонку, увидел, что к ней уже выстроилась очередь. Ребята, шутя, со всех сторон окружили девушку, не замечая, что рядом тоже торгуют лепешками. Девушка, быстро распродав свой товар, стала помогать своей соседке – старушке и до отхода поезда успела распродать и ее лепешки. Когда поезд тронулся, ребята высунулись из окон и долго кричали и махали стоявшей на перроне девушке, а она, улыбаясь, махала им в ответ косынкой.

Вскоре начались бесконечные казахские степи. Сколько ни смотрел Бабагельды в окно, ничего не менялось – кругом голая степь с редкими озерцами. Каждая станция встречала их здесь связками сушеной рыбы, которую выносили продавать к поезду. “Эх, к этой рыбешке еще бы пива!» – наевшись ее вволю, мечтали ребята.

Ильмурад, увидев, как капитан Абрамов купил несколько связок, подумал, что в тех краях, куда их везут, нет такой рыбы.

* * *

Бабагельды, с вечера поменявшись местами, спал наверху, чтобы было попрохладнее. Ночью он замерз, сжался в комочек. Подняв голову, выглянул в окно и увидел, что поезд

остановился на какой-то станции. При свете фонаря поблескивала намоченная дождем земля. Когда поезд вздрогнул и тихонько тронулся, Бабагельды закрыл окно и снова уснул. Проснулся он рано. День еще только занимался. Солнце не согрело землю, и ночной туман медленно поднимался вверх. Часа через два он увидел домики, крытые черепицей, аккуратные стога сена, промокшие насквозь, темные, поникшие деревья, зеленые поля с высокой травой. Узкая дорога бежала рядом с железнодорожным полотном.

– Ребята, вставайте скорее. Мы догнали весну! – громко крикнул он.

– Что догнали? – спросил Ильмурад сонным голосом, продолжая лежать.

– Говорю, мы догнали весну, – повторил Бабагельды. – У нас дома лето, а здесь весна-хозяйка.

Вагон понемногу просыпался. Ребята смотрели в окна, громко переговаривались, сравнивая незнакомую местность с Каракумами.

– Слушай, а ты случайно не пишешь стихи? – спросил Ильмурад у Бабагельды?

– А что, ты любишь стихи?

– Нет, просто как-то получается, что судьба часто сводила меня с людьми, пишущими стихи. Когда я учился в училище, там был один парень вроде тебя. Как-то раз он взял да и написал в газету рассказ. Так рассказ, ничего особенного, в основном, наши разговоры записал на переменах и на заня-

тиях, а мы прочитали и, знаешь, все узнали себя. Так вот, он тоже иногда вдруг начинал говорить непонятные вещи.

– И где он теперь, этот товарищ? – поинтересовался Яз-мухаммед.

– Служит. Его забрали в армию до окончания училища.

Ильмурад, видимо, подумал, что Бабагельды обиделся на него. Дотронувшись рукой до его плеча, он сказал:

– Только он был это... Не такой, как ты. Он переживал из-за всего, даже за то, что было еще при царе Горохе. “Вот если б в тот раз наши предки не ошиблись, могло быть совсем иначе»..., – говорил он нам.

Ребята заулыбались.

– А в самом деле, весна-попутчица наша идет на север, поддержал Нургельды, который до сих пор сидел молча. – Я бы никогда не заметил этого,

если б Бабагельды не подсказал.

На станции Тожеская Бабагельды вышел из вагона.

Моросил дождь, народу на вокзале было мало. За углом оказался маленький базарчик, какие бывают на всех станциях. Старые женщины стояли со связками сушеных грибов. В уголке базара сидел маленький, сгорбленный старичок, ожидая покупателей на живую рыбу, которая плавала у него в ведре, вдали от вагонов продавали цветы.

Бабагельды на несколько минут остановился возле лотка с вареными раками. Он слышал, что их едят, но сам никогда в

жизни не ел и не видел. В детстве, он слышал, как мальчишки болтали: “Если в тебя вцепится рак, его ни за что не оторвешь, пока не заставишь одновременно закричать сорок белых ишаков, сорок серых ишаков и сорок коричневых ишаков, и только тогда рак отцепится».

В детстве он верил всем этим присказкам. И сейчас, с улыбкой, вспомнил это наивное детское заклинание.

Купив морковь и жареную рыбу, он вернулся в вагон. В соседнем купе краснолицый Цыбин и узкоглазый Цай, накупив груды вареных раков, аппетитно разделялись с ними.

Целый день ждали, когда появится солнце, но оно так и не выглянуло из-за плотно нависших туч...

Через два дня поезд, наконец, прибыл в Москву. Капитан Абрамов продержал парней в вагоне до тех пор, пока перрон не опустел. Построившись, двинулись за Абрамовым. Ребята с любопытством смотрели по сторонам. Большинство из призывников не видели Москву. И теперь, разглядывая столицу, они сравнивали ее с той, которая представлялась по рассказам очевидцев и виделась на картинках. От красоты подземных дворцов, движущихся лестниц, массы людей, спешащих по своим делам, у Бабагельды закружилась голова. Посмотрев на ребят, он увидел, что все чувствовали себя не лучше его и старались держаться плотной кучкой.

Выйдя из метро, увидели на здании надпись большими буквами “Белорусский вокзал».

– Москва, столица, вот, наконец, мы и приехали сюда, –

произнес Ильмурад, снимая со спины вещмешок.

– Эх, если бы здесь послужить! – вздохнул Бабагельды, оглядываясь по сторонам.

– Нет, нас здесь не оставят, – авторитетно заявил Нургельды.

– Почему ты так думаешь!

– А потому, что мы переехали с одного вокзала на другой. И это значит, что нам придется ехать дальше.

– Ну и пусть везут, это даже хорошо, страну посмотрим, – обрадовался Бабагельды.

Через два часа стало известно, что едут они в одну из прибалтийских республик. Поезд отправляется только поздно ночью, и капитан Абрамов разрешил ребятам, не отходя далеко от вокзала, побродить по улицам города.

Бабагельды, Ильмурад и Нургельды решили время даром не терять и посмотреть Кремль, и, если останется время, то и центр Москвы.

На площади у вокзала стояли в ряд машины такси. Шофер, посмотрел в зеркальце, на пассажиров, спросил, куда едем? Они назвали Красную Площадь, МГУ и Большой театр. Основной набор исторических мест, которые знает любой человек, приезжающий в столицу, даже если он никогда здесь не был.

Широкоплечий таксист с мохнатыми бровями, поначалу показавшийся неприветливым, как только узнал, что парни едут на службу в армию и времени у них всего несколько

часов, стал рассказывать о Москве не хуже экскурсовода.

Объехав Большой театр, Кремль, библиотеку Ленина и Калининский проспект, машина свернула на Ленинские горы.

Бабагельды почти всю дорогу молчал, Москва была для него мечтой недостижимой.

А тут просто глазам не верилось.

Тучи словно догадывались, что ребята в столице проездом, рассеялись, выпустили солнце из плена, стараясь показать Москву во всей ее красе. От потока людей и машин рябило в глазах. Стараясь не пропустить, посмотреть все вокруг, вобрать впечатления от города за это случайно подаренное судьбой время, ребята крутили головами во все стороны. А таксист все говорил и говорил...

Когда они вернулись на вокзал, то застали на месте почти всех ребят. Все собрались у газетного киоска, только Какаджан, уверявший, что знает Москву, как свои пять пальцев, пока не появлялся. Бабагельды сидел на скамеечке, молча перелистывая журнал. Он был перегружен увиденным, и услышанным. Только громкие голоса вывели его из оцепенения. Он увидел, как к ним подходили много девушек в национальных платьях и тюбетейках, парней в шелковых халатах и папах с дутарами и бубнами в руках. Он не поверил своим глазам, казалось, что они сошли со страниц сказки, так необычно выглядели они в зале ожидания вокзала. Но увидев среди них улыбающегося Какаджана, встал и быстро по-

шел навстречу весело галдящей толпе. Оказалось, что это ребята из Щепкинского театрального училища, и пришли они проводить своих земляков.

Зазвучали знакомые мелодии, сразу напомнили о близких сердцу Каракумах. Родные мелодии подействовали и на Бабагельды. Незаметно для себя он тоже оказался среди танцующих кушт-депди. Рядом с ним танцевала стройная девушка. Он не мог оторвать взгляда от ее раскрасневшегося лица, сияющих глаз, от кос, скользящих по плечам. “Бывают же такие красавицы!” – подумал он восхищенно. Девушка, словно угадав мысли Бабагельды, взглянула на него, кокетливо улыбнулась и пошла по кругу еще быстрее.

И тут металлический голос объявил посадку на поезд. Все остановились. Ребята быстро стали разбирать свои вещи и строиться, а студенты пестрой толпой пошли вместе с ними на перрон. В суете расставания даже не заметили, когда поезд вздрогнул и медленно двинулся вдоль перрона, и только тогда стали прощаться, желая счастливого пути и службы.

Вскоре Белорусский вокзал, а потом и Москва остались позади. В вагоне давно погас свет, а ребята все не могли заснуть. Впечатления от столицы, от необычных проводов на вокзале разбередили души ребят. Лежавший на верхней полке Ильмурад тяжело вздохнул:

– Какие провода...

– Хороши ребята, а девушки... – Хриплый голос Язмухаммеда дополнил то, что не успел сказать Ильмурад.

– Туркмены в грязь лицом не ударят!

– Ты хочешь сказать, что мы тоже не хуже? – спросил кто-то.

– Да дело не в нас! – сказал Бабагельды.

– Почему? – Не всякий может стать десантником! – громко сказал Нургельды.

– Давайте сначала станем десантниками, а потом и хвалиться будем! – ответил ему Бабагельды.

– Мы уже и так десантники, три раза прыгали с “Анов», – сказал невысокий крепыш, подошедший к ним, – Вот если еще удастся привыкнуть к дождям и сырости, со всем остальным как-нибудь можно будет справиться...

– Ребята, давайте спать, стрелка часов где-то возле двух гуляет. А вы все еще трепетесь. Спите, пока есть такая возможность, потом мечтать о сне будем! – раздался громкий голос из соседнего купе.

На следующий день перед полуднем вагон отцепили от состава. Старенький паровоз, пыхтя, отогнал его на запасной путь. Когда выгрузились, капитан Абрамов построил их и еще раз проверил по списку. В этот раз зачитали три списка. Ребят разделили на три группы, которые с этого момента начинали жить своей самостоятельной жизнью. Поручив сопровождающим солдатам каждую группу, капитан Абрамов отдал им в руки список.

Машины с эмблемами десантных войск на кабинах, повезли их дальше. Ребята, с которыми Бабагельды подружил-

ся по дороге, и с которыми мечтал служить в одной части, попали в разные группы.

Вместе с Бабагельды в машину сел и капитан Абрамов. Поздно вечером они остановились возле дома, стоящего у самого леса, а невдалеке суетились солдаты, которые пилили дрова. Они обернулись на звук подъехавшей машины и дружно закричали; «Ура!».

В этот день в часть прибыли призывники из Туркмении и Белоруссии. После размещения в казармах, ребят отправили в баню. Рядом с Бабагельды мылся высокий, лопухий парень. Он обернулся и, улыбаясь, протянул Бабагельды мочалку.

– Друг, потри мне спину, а то самому несподручно, – попросил он.

– Ты из Туркмении?

– Да, – ответил Бабагельды.

– Ну, давай знакомиться, я Луговкин.

– А я Бабагельды.

– Ба – ба – гель – ды?

Луговкину, видимо, трудно было выговорить вторую часть имени. Он произнес его имя по слогам. – Это у тебя и имя, и фамилия сразу? – поинтересовался он.

– Нет, только одно имя...

– Тогда ты, пожалуй, пока не говори своей фамилии, я забыть могу, память у меня дырявая. Я вначале имя твое выучу, ладно?

– Смотри сам! – согласился Бабагельды и стал старательно натирать спину Луговкину.

– Молодец, – похвалил он, когда спина стала гореть, – с этого дня тебе придется тереть мне спину каждый банный день!

– Что?.. Что ты сказал? – вспыхнув, Бабагельды схватил Луговкина за плечо и повернул к себе. – Что ты сказал, длинный? Бабагельды видел, что Луговкин шутливо улыбается, разозлился и швырнул мочалку и мыло в угол бани.

Ребята стали оглядываться на них. Луговкин, видя, что его не поняли, пожал плечами и виновато улыбнулся.

– Ну, ты и в самом деле из горячих краев приехал, – и пошел поднимать мыло и мочалку. Вернувшись, он снова устроился рядом с Бабагельды.

– Я слышал, что десантники любят пошутить, да, видно, это неправда.

– Мы пока не десантники. Вот станем ими, тогда... – ответил Бабагельды.

– А до этого я молчать должен, да? – удивленно спросил Луговкин.

– Теперь можешь и не молчать, – ответил спокойно Бабагельды и пошел одеваться.

Из бани ребята вышли в новенькой военной форме. Трудно было поверить, что это одни и те же парни – так они изменились за час.

На улице курила группа ребят, в центре которой стоял Лу-

говкин. Он рассказывал, размахивая руками, о чем-то интересном. Судя по тому, что он все время показывал на стоящие невдалеке самолеты, Бабагельды понял, что он делится впечатлениями о свои первых прыжках с самолета.

Когда перед баней собралось много ребят, к ним подошел сержант, стоявший до этого неподалеку, и громко сказал:

– Товарищи, прибывшие на военную службу, слушайте мою команду! Построиться в шеренгу по росту!

Суета с построением длилась минут пять. Сержанту, видимо, надоело ждать. Он скомандовал: «Кругом!» и повел ребят по пыльной дороге. Было темно. В светящихся окнах казарм виднелись солдаты, занятые перед отбоем своими делами. Возле казармы сидели и курили человек десять десантников. Увидев новеньких, они повскакивали с мест и обступили ребят. Со всех сторон посыпались вопросы:

– Эй, журавли, откуда прилетели?
– Из Белоруссии...
– Земляки! Сябры...
– Смена прибыла, ребята!
– Давайте, обживайтесь скорее, а то меня дома девушка заждалась... – не скрывая радости, громко говорил белобрысый парень. Так вместе дошли до столовой. Вновь прибывших усадили за один стол, на котором уже стояли тарелки и кастрюля с супом. Подошел сержант, в руках у него была связка ложек, нанизанных на веревочку, словно сушеная рыба. Он роздал ложки, и ребята с жадностью набросились на

еду. Повар выглянул из окошка раздачи и, улыбаясь, смотрел, как ребята орудовали ложками. Присел рядом с сержантом.

– Откуда новенькие? – спросил он у сержанта.

– Из Белоруссии и Туркмении.

– Земляки нашего Курбанова?

– Курбанов из Душанбе, а эти, вроде бы, из Ашхабада.

– Сколько им еще каши придется съесть! – сказал повар и вздохнул.

– Ты и нам так говорил, помнишь? – улыбаясь, ответил сержант.

– Помню. Все помню. Вроде бы вчера прибыли, а все мысли уже о доме.

– Теперь и уезжать вроде жалко. Но как бы то ни было, а по гражданке все же соскучились, – вздохнув, сказал сержант.

Когда ребята вышли на улицу, до отбоя оставалось минут сорок.

Издали были слышны четкие шаги солдат и песня:

Лучше нету войск на свете,

Чем десантные войска...

Это была песня о десантниках, которую пел взвод, возвращаясь с занятий.

* * *

Лейтенант Буйнов появился в казарме дня через три после прибытия пополнения. Лицо его показалось суровым. И Бабагельды решил про себя, что им с командиром не повезло.

Первое знакомство с личным составом началось с замечаний. Лейтенанту не понравилось, как сержант Суглубов построил роту. Решительным голосом, больше похожим на приказ, он сказал:

– Привести свою форму в порядок, сапоги должны блестеть. Каждый должен знать свое место в строю. Даю на это три минуты, – и ушел.

Бабагельды, оглядев себя, решил почистить сапоги щеткой и побежал в каптерку. Высокий, плечистый парень встал рядом с ним, ожидая, когда Бабагельды отдаст ему щетку.

– Началось, – сказал он, сняв пилотку.

Бабагельды не был знаком с ним. Знал только, что он с Камчатки. Эта группа прибыла на два дня позже.

– Что началось? – удивленно спросил Бабагельды.

– Воспитательная работа, – зло ответил парень. – Теперь нас будут гонять днем и ночью.

– А иначе настоящими солдатами не станем, – возразил ему Бабагельды и отдал щетку.

– Служить-то мы будем, вот только бы поскорее привыкнуть к этим бесконечным командам и к казарме, – сказал ему парень вдогонку.

– Привыкнем... – ответил уже на ходу Бабагельды и пошел строиться, но его остановил окрик нового знакомого:

– Постой, друг, махни щеткой пару раз по голенищу, у тебя что-то прилипло там, а то лейтенант заметит. Ругнувшись про себя, Бабагельды заново почистил сапоги и выскочил из

казармы.

Когда лейтенант снова попросил своих подопечных построиться, каждый почувствовал на себе его оценивающий взгляд. Ребята выпрямились, стараясь казаться выше, чем есть на самом деле, расправили плечи, подтянули животы.

Окинув еще раз внимательным взглядом строй, лейтенант Буйнов представился официально:

– Я командир вашей карантинной роты.

Это было только началом знакомства с командным составом полка. Бабагельды даже не подозревал, сколько служб имеет полк, в котором ему предстояло служить целых два года, и какое это огромное и хлопотное хозяйство.

Заместителя командира полка по политической части подполковника Сидорова, ветерана войны, «старики» называли попросту комиссаром.

Когда он пришел в карантинную роту, то никто не ожидал, что он начнет разговор о «гражданке». Комиссар начал с того, что расспросил ребят, кто и кем работал до призыва в армию, и так расположил к себе всех, что после часового разговора казалось: этого человека они знают давным-давно. Это знакомство заставило Бабагельды вспомнить своего дядю, старших братьев Арнагельды и Хаки Джума. И на сей раз рядом с ними мелькнуло лицо лейтенанта Сидорова – молодого, сильного, добродушного парня, каким он был на фронте, а не седеющего полковника с медалью ветерана Великой Отечественной войны на груди. «С таким командиром

можно любую крепости взять», – подумал он.

Майора Брунчукова ребята уже знали. Когда полк построился на плацу, он, поджидая командира полка, расхаживал перед строем, заложив руки за спину и строго поглядывая на солдат. Заметив идущего по дороге к плацу командира, он строевым шагом, который так не вязался с его щуплой фигурой, подошел к командиру и доложил, что полк построен. При встрече с новым пополнением он никакой «лирики» себе не позволял. Сказал только, что полк за прошлые учения получил оценку «отлично» и надеется, что молодые воины не подведут и будут равняться на лучших гвардейцев полка.

Заместитель командира полка по снабжению подполковник Коробочка представился им так:

– Я подполковник Коробочка. Однако я никому не позволю называть Пачочка, – сказал он строго и тут же шутливо добавил, как один солдат-грузин однажды по ошибке обратился к нему: «Товарищ подполковник Пачочка!».

Слушая подполковника, Бабагельды переводил взгляд с него на Буйнова, который сидел среди солдат и размышлял: «До чего же разными бывают люди. Когда смотришь на подполковника, так словно солнце смеется, а посмотришь на лейтенанта Буйнова, – хмуро вокруг, словно снег идет».

– Понял? – озорно сказал Луговкин, сидевший сзади, и положил руку на плечо задумавшегося Бабагельды.

– Что?

– Не вздумай назвать его Пачочкой?

– Но я же не тот грузин!

– Все одно ты на него похож, такой же темный... На них зашикали со всех сторон. Они замолчали, опустив глаза.

– ...Наполеон как-то сказал: “Путь к сердцу воина идет через его желудок», – продолжал подполковник. Мы это хорошо знаем. Вы служите так, как предписывает Устав! А уж мы позаботимся о том, чтобы вы не были голодными. – С виду подполковник Коробочка казался человеком открытым, но понять, когда он шутит, а когда говорит серьезно, оказалось делом нелегким.

Встречи с заместителем полка по ПДП – парашютно-десантной подготовке, полковником Иценом ждали с особым нетерпением. Рассчитывая, что именно он ответит на все интересующие их вопросы о службе, главное – когда начнутся прыжки? И он удовлетворил их любопытство.

Когда очередь дошла до вопросов и ответов, с места встал смуглолицый юноша, сидевший напротив лейтенанта Буйнова. Два дня назад он рассказывал всем в курилке: “Мама у меня русская, а отец кореец, по специальности я токарь-слесарь”.

– Товарищ подполковник, когда прыжки начнутся?

– Что не терпится?

– Конечно, товарищ подполковник, не без этого.

– Вы прежде прыгали?

– Три раза.

– Тогда неплохо. Если тоскуете по небу, это хорошо. А

у вас когда-нибудь появлялась мысль: А вдруг парашют не раскроется? – неожиданно спросил подполковник.

Парень не сразу нашелся, что ответить. Он растерялся и смотрел на товарищей, пытаясь понять по их лицам, что нужно ответить. Чувствовалось, как он волнуется.

– Честно говоря, когда прыгаю, немного страшновато бывает. Но только почему-то потом снова хочется прыгать.

– Спасибо тебе за правду, сынок! Могу вам сказать, что со следующей недели начнем готовиться к прыжкам.

В казарме почувствовалось заметное оживление. Ребята, решив, что после наземной подготовки очень скоро начнутся и сами прыжки, довольно переглядывались.

Широкоплечий, низкорослый юноша с белым лицом, которого товарищи вот уже несколько дней называли меж собой “Колобок», встал с места.

– Рядовой Самохин.

– Слушаю вас, рядовой Самохин, – подполковник Ицен повернулся в его сторону.

– Товарищ подполковник, а если нет желания прыгать, то можно не прыгать? – Колобок произнес эти слова тихо, но они прозвучали отчетливо в наступившей вокруг тишине. Никому в голову даже не приходила такая мысль, не то чтобы кто-то осмелился произнести ее вслух. Многие подумали, что Колобок просто боится прыгать, и все напряженно молчали, ожидая ответа подполковника Ицена.

– Можно...

Все удивленно переглянулись.

– Ну, если ты один сможешь не прыгать, когда все будут, тогда можешь не прыгать. Но думаю, что этого не случится. Ты не один, с тобой рядом коллектив, друзья, которые не допустят, чтоб ты остался в стороне... Правда?!

Самохин насупился:

– Товарищ подполковник, вы не подумайте, что я трус. Я уже сорок прыжков сделал с парашютом. И если надо, буду прыгать столько, сколько прикажут.

– Я верю тебе, сынок!

* * *

Лейтенант Буйнов ждал ребят возле столовой, чтобы отправиться с ними на полковое собрание. Другие роты уже собрались на площадке.

Старший лейтенант, которого все за глаза называли “рыжим», подошел к Буйнову.

– Чего не торопитесь?

– Успеем, – ответил Буйнов спокойно. Лейтенант вместо ответа улыбнулся:

– Ты гоняй их побольше, иначе получишь выговор!

В центре, где обычно, заложив руки за спину, прохаживался в ожидании командира полка майор Брунчуков, сегодня прогуливался подполковник Сидоров.

Видимо подполковник по каким-то делам уехал, и вместо себя оставил майора Брунчукова. Выслушав доклад подполковника Сидорова, поздоровался с полком, затем, собрав

возле себя командиров, перед каждым поставил задачу. Как обычно, сбор на плацу окончился парадным маршем.

Майор Брунчуков и еще несколько командиров поднялись на трибуну. Раздались звуки оркестра, подразделения полка, чеканя шаг, прошли перед трибуной.

Вся рота лейтенанта Буйнова, пройдя мимо трибуны, старалась чеканить шаг, словно от этого зависела их дальнейшая судьба.

Когда их догнал приказом остановить «роту» голубоглазый капитан из штаба полка, всем стало ясно, что-то случилось.

Петя про себя подумал, что когда он шел мимо трибуны, то наступил на ногу впереди идущему и не успел поменять ее, и это кто-то заметил.

Майор Брунчуков подошел к роте лейтенанта Буйнова. Оставшись за командира полка, он выглядел сейчас еще более надменным и властным, чем обычно. Лейтенант Буйнов спокойно ждал, когда майор объяснит, что произошло, а ребята, пытаясь понять в чем дело, молча переглядывались.

Встав перед строем, майор внимательно смотрел на солдат. Его взгляд задержался на сапоге Бабагельды, голенище которого было оттопырено. Он поднял голову и спросил:

– Ты, товарищ солдат!

– Я? – Колобок сглотнул слюну, решив, что обращаются к нему.

– Нет, что стоит слева от тебя. Ты, ты, – показал он рукой

на Бабагельды.

– Я, рядовой Назаров.

– Тогда выйди на два шага вперед, гвардеец! Бабагельды вышел из строя.

– А ну, покажи, что в сапоге прячешь? – спросил он, показывая на сапог. Бабагельды нагнулся и вытащил завернутую в газету книгу.

– Что это значит?

– Книга.

– Кто разрешил тебе прятать книгу в сапоге?

– Никто, я сам...

– Чем ты занимался на гражданке?

– Я был учителем в школе.

– Значит, учитель? Вон как! – голос майора заметно потеплел.

– Да, учитель.

– Товарищ, учитель, теперь тебе придется забыть про школу. Теперь ты на службе, теперь ты ученик, а мы твои учителя.

– Так точно, товарищ майор!

– Интересно, как ты еще находишь время читать книги! – Сказав это, он повернулся к лейтенанту, словно спрашивая его: «Им, что больше нечем заняться?»

– Товарищ лейтенант, – обратился майор к лейтенанту Буйнову, – поручите его сержанту, пусть погоняет этого книголюба, как следует.

– Я читаю книгу в свободное время или во время перекуров, товарищ майор.

– Гм.

– Другие дымят, а я в это время читаю книгу или газету, – громко сказал Бабагельды.

– Вы меня поняли, лейтенант Буйнов, – еще раз сказал майор. – Можете отправляться в казарму.

Лейтенант, получив разрешение идти, еще раз строем провел своих солдат перед майором Брунчуковым и командирами.

* * *

Как только дневальный сообщил, что через несколько минут отправление в поле, на тактические занятия, в казарме сразу же началось оживление.

Бабагельды, вешая на бок лопату, вспоминал, что должен еще прицепить к ремню гранату и запасные пули в патрон-таше, взять с собой противогаз и резиновый плащ.

Колобок разложил перед собой, как на рынке, все, что он получил со склада, и теперь все это нецеплял на ремень, словно рыбу нанизывал на проволоку.

Толя Андурсов растерялся и, укладывая вещмешок, видимо, взял что-то у своего брата. Андурсов-второй ругал брата тихонько.

Видимо, Толя по ошибке взял противогаз Олега. Толя смиренно слушал упреки Олега, видимо, соглашаясь с тем, что виноват.

Андурсовы двойняшки, но мало похожи друг на друга по характеру, да и внешне их не спутаешь.

Толя Андурсов – широкоплечий, борцовского вида юноша, несколько ленив, больше молчит, сощутив глаза. Олег, хоть и родился с Толей в один день, казался намного младше его. Ростом он был чуть выше брата, а карие с поволокой глаза придавали лицу независимый вид. В отличие от брата он всегда старался, чтобы на него обратили внимание. В первые же дни, в столовой, он остановил Сашу Чашина, который первым взял масло с тарелки.

“С сегодняшнего дня, если ты без моего разрешения потянешься за едой, пеняй на себя!».

– Это что еще за птица – удивился Чашин и засмеялся, – молод, чтоб мне указывать.

Олег схватил его за руку и попытался выкрутить ее, и если бы не подоспевший сержант, который остановил их, неизвестно, чем бы это могло кончиться.

С самого утра моросил дождь. Лейтенант Буйнов догнал роту, которая шла вдоль кромки леса, и завернул ее на поле между баней и казармами.

Кучерявый Авагян называл тактические учения “маленькой войной». Это определение прижилось в роте. “Маленькая война» всегда напоминала Бабагельды его детство, когда он с такими же, как и сам мальчишками, играл в войну. Занятия на турнике, бег и прыжки – все это возвращало его к

детским играм.

Рота, разделившись на взводы и соблюдая дистанцию, перешла в наступление. Все сразу же забыли про дождь. Макет самолета, который был для них “объектом захвата», находился недалеко, но рота очень долго добиралась до него.

Лейтенант без конца заставлял своих солдат ложиться на мокрую землю и ползти, стараясь не попасть под прицельный огонь “противника». Чувствуя, что ребята дальше ползти не смогут, лейтенант приказал окопаться и готовиться к новой атаке. Копать для себя окопчик никому из ребят раньше не приходилось, поэтому получалось это у всех по-разному, но одинаково медленно. Андурсову-второму, казалось, что мучаются они зря, все равно ни у кого ничего толком не получится. Увидев, что Чашин встал на колени и так копает землю сапёрной лопаткой, закричал:

– Ты еще во весь рост встань. Приказа не слышал, как надо окапываться. Ведь еще раз заставят окоп рыть. Ну, студент, ты только в казарму приди, – угрожающе заорал он.

– А что ты на меня кричишь? Разве я виноват, что лежать не получается? – стал оправдываться Чашин, которого призывали с третьего курса техникума лесного хозяйства.

Перепалка была прекращена громким голосом лейтенанта.

– Внимание! Получен приказ! Наша рота должна пересечь вот это зараженное “поле». Приготовить противогазы! – голос звучал громко и властно. Ребята, получив приказ, стали

лежа одевать противогазы и резиновые плащи. Первое боевое учение в их жизни далось не просто. У Луговкина стекло противогаза запотело, и пока он пытался как-то протереть его, зацепился за чью-то ногу и упал. В ту же минуту раздалась команда “Ложись!». Дышать в противогазе было тяжело, одной рукой он держался за ушибленное плечо, а другой все время тер стекло и дергал резиновый хобот, проклиная про себя такое длинное “зараженное поле».

Когда лейтенант упал на землю и ползком стал пробираться к самолету, оборачиваясь и жестом приказывая всем следовать за ним, раздался чей-то голос:

– Не могу я больше, хоть убейте, – и, сняв с себя противогаз, встал во весь рост. Это оказался Андурсов-первый.

Удивительное дело, но лейтенант не обратил на него никакого внимания, даже головы не повернул, продолжая ползти впереди всех. Когда, наконец, все доползли до самолета и, помогая друг другу, стали разоблачаться из защитной одежды, Толя Андурсов все еще стоял на том же месте, не решаясь двинуться вперед.

Вначале он хотел было пойти к ребятам, но остановился в нерешительности. Никто не позвал его, никто ничего не приказал и, сообразив, что вернуться в ребятах он сможет только таким же путем, что и все – ползком, Андурсов надел противогаз, лег на землю и пополз к самолету.

* * *

Рано утром, перед зарядкой сержант Суглубов приказал

карантинной роте вынести на улицу свои постели, чтоб просушить. Ребята, дружно похватав матрацы, разложили их на длинных скамейках у летнего клуба. Увидев Бабагельды, который, разложив матрац на одной из поперечных досок, собирался уходить, сержант остановил его:

– Рядовой Назаров!

Бабагельды остановился перед сержантом по стойке «смирно», как его учили.

– Вы должны остаться здесь, присматривать за этим хозяйством.

– Есть, присматривать за хозяйством.

– Чтоб ни одна вещь не пропала!

– Есть, товарищ сержант!

После того, как рота ушла на спортплощадку, Бабагельды остался один.

Солнце поднималось все выше и выше. Медленно движущиеся по небу облака были похожи на куски ваты, развешанные то тут, то там. Припекало сильно, Бабагельды вспомнил о доме.

...Вон бабушка, она сидит, прислонившись к тяриму, и тихонько шепчет молитву. Закрыв глаза и увидел, как едет хлопковым полем трактор и на нем отец. Рядом с ним сидит младший братишка Чары, держась за спинку сидения отца, радуясь, что его посадили на трактор, и широко улыбаясь. «Я теперь стал помощником на папином тракторе, он говорит, что как-нибудь, когда у него будет время, он меня и управ-

лять им научит», – писал Чары в своем письме.

– Рядовой Назаров!

Бабагельды, когда его называли по имени, только-только задремал. Подняв голову, он увидел стоявшего рядом с ним сержанта Суглубова, чесавшего затылок.

– Мы зыбыли про тебя, когда пошли на обед, ты иди в столовую, наверное, наряд еще не пообедал, скажи мол, так и так, дадут что-нибудь поесть! А до твоего возвращения я сам тут покараулю.

Перед кухней ходил сухощавый, невысокого роста старшина, с кем-то ругаясь. Когда Бабагельды проходил мимо, он остановил его:

– Куда ты идешь?

– Обедать.

– А что, разве для тебя нет правил? Почему один?

– Я отстал от обедающих...

– А ты что, на своих руках землю держал, что опоздал на обед?

– Нет.

– А если нет, то тебе и обеда нет. Беги отсюда! Голодный! Попробуй еще раз опоздать!..

Вобщем-то, у Бабагельды особого аппетита не было, и поэтому он молча повернул назад.

– Эй, солдат! – Бабагельды оглянулся и увидел, что старшина махал ему рукой.

Когда Бабагельды подошел, он сказал: “Иди, скажи пова-

рам, что старшина велел накормить». После обеда он снова пришел на свой пост. Сержант Суглубов читал книгу.

– Ну как, пообедал? – спросил сержант, оторвавшись от книги.

– Пообедал.

– Старшину Марчилюнаса видел?

– Какой-то старшина там был.

– Ругался?

– Да, ругался.

– Тогда это Марчилюнас. Его все знают. Он хороший человек, поворчать любит, но отходчивый.

Сержант ушел, а Бабагельды опять прилег на матрацы. Сколько он еще продремал сказать трудно, но открыв глаза, увидел, что остался один, а все матрацы уже унесли в казарму.

– Ты всегда так крепко спишь? – раздался рядом с ним голос сержанта Суглубова.

– Раньше не замечал за собой такого, товарищ сержант, – ответил Бабагельды, смущенно переминаясь с ноги на ногу.

– Как же ты в карауле стоять будешь? – сказал Суглубов, глядя на сонное лицо Бабагельды.

Оказывается, это было дело рук Луговкина: увидев, что Бабагельды задремал, он уговорил ребят потихоньку унести матрацы в казарму и оставить его одного, а потом показал сержанту на спящего сторожа.

Из-за леса поднималось солнце. В траве засверкали ка-

пельки росы, похожие на удивительные огоньки. Начинался день. Карантинная рота занималась зарядкой на спортплощадке. Ребята, посматривая на небо, надеялись на хорошую погоду. Если день будет погожий, то начнутся занятия с парашютами.

– Сегодня мы поработаем с подполковником Иценом, – сказал рыжий паренек, стоявший рядом с турником.

– Да, подполковник Ицен обязательно зацепится за краешек солнышка, – поддержал его голый до пояса солдат, висевший на турнекете.

Минут через пятнадцать на спортплощадку прибежал дежурный по роте и объявил, что вчерашний план для карантинной роты отменяется и все отправляются на парашютный склад.

Парашюты расстелили на поле, выложив их в ряд на подстилках. Когда первая карантинная рота вернулась из столовой и начала укладку парашютов, третий батальон уже почти заканчивал работу.

От разложенных парашютов, казалось, что на поле выпал снег. Ребята разделись до пояса, в сторонке аккуратно составили сапоги и босиком ходили по траве. Луговкин разложил свой парашют на траве, готовясь начать укладку, как вдруг он неожиданно наполнился воздухом и потащил его за собой. И если бы ребята не подоспели вовремя ему на помощь, то вряд ли ему удалось бы самому справиться с натянутыми стропами парашюта. Все возились с парашютной укладкой,

только парашют сержанта Суглубова одиноко стоял не развязанным. Сержант буквально час назад узнал о своей демобилизации и сейчас в казарме собирал вещи. Когда демобилизованные с чемоданами пришли на плац, молодежь с завистью смотрела на них.

– Счастливые, скоро дома будут, – позавидовал кто-то из ребят.

– Эх, когда мы в последний раз на плацу построимся, – размечтался, почесывая в затылке, Луговкин.

– А ты не спеши, – сказал Чашин, – и у нас будет последний день.

– Ну что, уже о демобилизации размечтались, салажата! – сказал подошедший к ним майор. Бабагельды, видя, что сейчас будут проверять укладку парашютов, подошел к своему. Нагнувшись, он поднял вверх помеченную заранее красной меткой стропу.

– Тебе пока еще рано думать о “дембеле», – с упреком сказал майор, показывая на неправильно собранный запасной парашют.

Торжественные звуки марша опять заставили всех оторваться от дел и оглянуться на плац, где, выстроившись в три ряда, проходили мимо полкового знамени увольнявшиеся в запас. Ребята издали узнали своего сержанта. Он шел первым в третьем ряду.

За несколько дней до приказа сержант старательно готовился к отъезду. Каждую свободную минуту он начи-

шал ремень, пуговицы, чистил парадный китель. Однажды, проснувшись среди ночи, Бабагельды увидел Суглубова, который в гладильной комнате о чем-то беседовал с усатым каптерщиком, вскакивал с места и тихонько смеялся, а утром Бабагельды рассказал об этом ребятам. Оказалось, что многие тоже заметили его суетливость.

– Да он не только сегодня, а уже дня три не спит. Целыми ночами свое хозяйство в порядок приводит, сапоги начищает, погоны пришивает, – сказал Андурсов-второй.

Выйдя с плаца, группа демобилизованных остановилась. Кто-то отделился на поле с парашютами, долго махал рукой. Это был Витя Суглубов. Карантинная рота поняла, что это он с ними прощается, и громкое “Ура!» огласило поле. Ребята прощались со своим командиром, желая ему счастливого пути.

* * *

Лейтенант Буйнов снова вывел карантинную роту на тактические занятия. Вспоминая прошлые учения, кое-кто думал о предстоящих с ужасом. “Погоняет нас лейтенант, дай бог! Пока семь потов с нас не сойдет, не отпустит». Ребята уже знали; если что не получается на учении или во время строевой подготовки, лейтенант заставлял повторять до тех пор, пока ему не покажется, что все выполняют задание правильно.

Войдя в лес, остановились на опушке. Лейтенант некоторое время молча смотрел на них как бы прикидывая, чем бы

заняться, но, видимо, не решив, разрешил отдохнуть. Солдаты разошлись по опушке, оставив с вещмешками и положенным на них оружием Андурсова-первого и младшего сержанта Морозова, который постоянно ворчал себе под нос.

Бабагельды чувствовал себя в лесу как-то неуютно. Он привык к свету и краскам пустыни. Она была для него родной и понятной, как его немногословный отец. Сзади послышался шорох, и Бабагельды оглянулся, думая, что это кто-нибудь из ребят. Но никого не было. Где-то впереди раздавался звонкий голос Луговкина. Повернув на него, Бабагельды в низкорослом кустарнике увидел олениху с олененком. Зная, что этот зверь очень пуглив, Бабагельды стоял неподвижно, стараясь не спугнуть мать с детенышем.

Тишину леса нарушил дятел, который сидел на высокой сосне. Увидев человека, птица взмахнула крыльями и перелетела на другое дерево. Через минуту ее «молотенок» застучал снова.

На кромке старого окопа росли ландыши. Бабагельды остановился. Запах от цветов был дурманящим. Вернувшись на опушку, Бабагельды увидел лежащих на солнышке своих товарищей. Пахло прелой листвой, а трава, растущая здесь, по сравнению с той, что зеленела под деревьями, была и выше, и сочнее.

Ребята, удобно устроившись, курили, разговаривали, кто-то дремал тихонько. Солнце пригревало, и всем казалось, что лучше этого места сейчас на свете нет и хорошо бы

остаться здесь подольше.

– Интересно, а в уставе есть пункт об обязательном отдыхе на опушке леса, – спросил хрипловатым голосом Инюшин.

– Похоже, что лейтенант дал нам время полюбоваться природой, – откликнулся Бабагельды. Он хотел еще сказать, что этот лес своей неприступностью похож на лейтенанта Буйнова, но промолчал.

– Ну, ты даешь, учитель! Ему что, больше делать нечего, как экскурсии в лес нам устраивать? Эй, ребята, слышали, что говорит этот чудило, – смеясь проговорил Луговкин.

– Луговкин, возьми, что хочешь, но только сейчас же прекрати свой писк. Как комар над ухом жужжишь, – сказал Колобок и пересел подальше от Луговкина.

– Колобок, замолчи, иначе я тебя съем! – шутливо пропел Луговкин басом.

Только на следующий день, когда рота была поднята по тревоге и отправилась на аэродром, вчерашний день в лесу вспомнился, как отдых перед боем.

* * *

Когда машины остановились на аэродроме, еще не рассвело. Слышны были звуки заводящихся моторов. Рассвело быстро. Пока подошла очередь на посадку в самолет, стало уже совсем светло.

На открытом поле стояли готовые к взлету самолеты. Один за другим они выруливали на взлетную полосу и через равные промежутки взлетали. Бабагельды, сидя в самолете,

из иллюминатора наблюдал, как его товарищи быстро исчезают в проёме двери.

Через десять минут взлетел их самолет. Ребята притихли, казалось, что каждый остался наедине с самим собой, со своими мыслями.

Капитан, сидевший у люка, посмотрел на часы и, улыбувшись, поднялся со скамейки. Открыл дверь в кабину к летчикам и что-то сказал им. Загудела над люком зеленая лампочка. Поднялись со своих мест те, кто прыгали первыми.

– Пошли... – скомандовал капитан.

Когда Бабагельды подошел к люку, влажный воздух ударил ему в лицо, и он, в первый момент, задохнулся. Внизу уже парили раскрытые купола парашютов. Он шагнул за борт самолета. Закрыв глаза и почувствовал, что несется вниз со страшной скоростью. “Нужно считать», – подумал он и после того, как сосчитал после небольшой паузы до пяти, дернул за кольцо. Тело, до этого свободно парящее, вздрогнуло – это открылся купол парашюта и скорость полета стала падать. Он посмотрел вверх и увидел, как парашют, наполняясь воздухом, раскрывался все больше и больше. Над ним в воздухе было много раскрытых шаров: одни парни еще высоко в небе, а другие уже приближались к земле.

Настроение было отличное. Каждый раз, когда он оказывался в воздухе, ему хотелось петь, хоть прежде он за собой такого желания не замечал. Глядя сверху на приближающуюся

юся землю, ему казалось, что все это он видит нарисованным, как бы на картине художника. На зеленой траве – яркие купола парашютов, с двух сторон полянку окружал лес, деревья, освещенные ярким осенним солнцем, выглядели позолоченными. Казалось, что деревья замерли, недоуменно смотрят на такое представление. Бабагельды всегда казалось, что парящие в воздухе парашюты похожи на туркменские кибитки, а сам он себе представлялся всадником, въезжающим в аул.

“...Возле кибитки, как всегда увидел бабушку, которая сидела, прислонившись к тяриму.

– Сынок, как ты жив-здоров?

– Хорошо, – хотелось крикнуть Бабагельды.

– Не видал ли ты там дядю своего, он тоже в Россию ушел...»

Теперь перед глазами Бабагельды ожило лицо дяди. И он тотчас забыл о том, что еще несколько секунд назад ему хотелось петь.

* * *

Прыжки подходили к концу. Парашюты были сложены поротно. Ребята группами расселись на поле, устроив маленький перекур, да и поговорить есть о чем, столько впечатлений за сегодняшний день, а главное, как им кажется, что учения прошли на “отлично». Теперь дело за командирами, что скажут они.

Офицеры небольшой группы собрались возле руководи-

теля полетов, обсуждая только что закончившиеся прыжки. Видимо, все прошло хорошо, командиры улыбаются и, пожимая руку подполковника Ицена, расходятся по своим подразделениям.

Только лейтенант Буйнов по-прежнему оставался суровым. На его лице ничего нельзя прочесть. Проверив наличие парашютов и личного состава, он доложил об этом длиннорукому майору и повел ребят к машинам.

И в машине, пока ехали в полк, ребята говорили только о прыжках. Вспоминали, как парень из другой роты, растерявшись, открыл запасной парашют, который можно было использовать только в случае крайней необходимости. Но никто не знал о ЧП, которое произошло с Витей Бахтияровым, да и самого Вити среди ребят не было. Он не смог заставить себя прыгнуть с самолета, когда был отдан приказ. Бахтияров остался в самолете. Его сразу отослали с каким-то поручением, поэтому никто ничего не знал о нем. Все были увлечены прыжком парня, который одновременно открыл оба парашюта: одни его осуждали, другие сочувствовали. Богатырского сложения Инюшин сказал, что это его земляк, и стал описывать его внешность для тех, кто не мог его вспомнить:

– Ну, еще до того, как нас поделили на роты, спал между Прокопенко и Андурсовым-вторым. Да его нос стоит один раз увидеть и уже никогда не забудешь. На лису похож, и сам цвета желтого...

– Нам его внешность ни к чему, а поступил он глупо, –

осуждающе сказал Луговкин.

Не слушая Луговкина, Инюшин рассказывал, как его земляк пытался в небе исправить свою ошибку. Увидев, что основной парашют раскрывается, он попытался тут же, в воздухе, собрать запасной. Луговкин ехидно улыбнулся и посмотрел по сторонам, пытаясь по лицам товарищей прочесть их отношение к этому событию.

– Он должен был хорошенько посмотреть наверх. Видишь, что парашют бездействует, через некоторое время снова посмотри наверх.

– А потом, уже на подходе к земле, посмотри на небо в третий раз, и это будет твоим последним видением голубого неба, – издеваясь над Колобком, произнес Андурсов и засмеялся.

– Это на словах так просто, смотреть по сторонам. До того, как парашют раскроется, не то что по нескольку раз на небо смотреть, а в себя-то прийти никак не можешь, – негромко сказал Михайлино.

– С Михайлиной все ясно. Он каждый раз приходит в себя после того, как парашют раскроется, – смеясь, ответил Луговкин.

– А ты не болтай глупостей, Луговкин! – возмутился Михайлино, лицо его покраснело от возмущения.

– Небо не прощает ошибок, – сказал кто-то.

– Самое главное, он ведь благополучно опустился на землю. Спустился! Вот в чем дело! – не отступал Михайлино.

– Ты хочешь сказать, что победитель имеет право заказывать музыку.

– Мне хочется быть музыкантом, чтобы играть в честь этой победы.

– Хотел бы и я быть в этом оркестре, – не успокаивался Колобок.

– Давай, давай, издевайся. Если и в следующий раз так случится, то он не отделается так легко. Хорошо, что сегодня ветра не было, а то его парашюты запутались бы, и тогда точно был бы концерт по заявкам... – высказался Михайлино.

Некоторое время в машине стояла тишина. И только сейчас Луговкин заметил Бабагельды, который сидел через человека от него. Надвинув пилотку на лоб, он похлопал его по плечу. Тот нехотя повернул голову в сторону Луговкина и кивнул головой, словно спрашивая: «Что надо?».

– А ты чего молчишь? – спросил Луговкин. – Все, кроме тебя уже высказались, а ты как в рот воды набрал.

Бабагельды было не до шуток и не до разговоров.

Его не оставляли мысли о дяде, которого он знал только по фотографии, которая висела у них в доме. Их односельчанин, Арнагельды ага, который уходил вместе с ним на фронт, рассказывал, что они попали под обстрел, бомба разорвалась совсем рядом и пятерых солдат ранило. Арнагельды ага сам отправлял дядю в медсанбат. По рассказу Арнагельды ага, это случилось в сорок втором году, а письма от дяди приходили и в сорок втором году и в сорок четвертом. А потом

ничего, как обрезало...

Пока Бабагельды был поглощен воспоминаниями, машина проезжала мимо свекольного поля, где работали женщины. Увидев их, Андурсов первый заорал во все горло:

Через две весны,

Через две зимы,

Отслужу как надо, и вернусь...

Ребята дружно подхватили песню, и через минуту она звучала на все поле. Женщины разогнулись от грядок и, улыбаясь, махали вслед машине платками. Когда свекольное поле осталось позади, ребята как по команде замолкли, и каждый подумал о чем-то своем, сокровенном, кто вспоминал своих девушек, а кто только мечтал встретить...

* * *

Через два месяца настал день воинской присяги. Кончилась жизнь в карантинной роте. В этот день в полку вывесили флаги, офицеры в парадной форме, в столовой специально ради такого торжественного дня испекли печенье и приготовили вкусный кофе. Выходя из столовой после завтрака, ребята встретили старшину Марчилюнуса.

– Ну что, понравилось? – спросил он у солдат, – накормлю вас сегодня в честь праздника по-домашнему – котлетами.

– Товарищ старшина, спасибо вам за кофе, он такой же вкусный, как готовит моя мама... Сказал Андурсов-второй, специально задержавшись возле старшины.

– Если у тебя есть брат, присылай его служить к нам, я и

его также вкусно кормить буду. Надеюсь, что я еще прослужу лет десять, – сказал он солдату.

Андурсов-второй остановился и растерянно посмотрел по сторонам. Видно перспектива иметь еще одного брата ему не улыбалась. Рядом с ним стоял Луговкин, он засмеялся и громко спросил, глядя по сторонам “А где же первый Андурсов?», и тут же увидел, как он вместе с Колобком и Инюшиным торопливо курили одну сигарету и смеялись, глядя на старшину, видно, тоже слышали этот разговор.

Ребят собрали на открытой площадке возле леса. Здесь была братская могила и установлен памятник. Командир полка полковник Близнюк стоял неподалеку и беседовал с гостями, которых пригласили на это торжество. Возле каждой роты, которая готовилась принимать присягу, стояли столы, накрытые красным сукном. Полковой оркестр расположился в сторонке, перед строем оркестрантов прохаживался дирижер.

Раздалась команда “Смирно!», оркестр заиграл марш и в сопровождении знаменосцев внесли полковое знамя. Командир полка поздравил десантников с торжественным днем. Перед памятью погибших воинов, лежавших здесь в братской могиле, – сказал он, – воины вверенного ему полка всегда будут верны делу своих отцов. После командира полка выступал пожилой подтянутый старик с тростью в руках. Во время войны он командовал кораблем, который оборонял Ленинград. Когда ветер откидывал ворот его расстегнутого

плаща, было видно, как на груди блестит золотая звезда.

Следом за ним выступала среднего роста женщина с совершенно седой головой.

– Ребята, – обратилась она к солдатам, – я хочу рассказать вам о солдатах, которые лежат в этой земле. В этом лесу во время войны был страшный бой, который шел целые сутки. Когда немцы отступили, я в составе санитарного отряда на телегах свозила сюда тела убитых солдат, – голос ее дрогнул и она на минуту замолчала. – Убитых было много, стонали раненые, мы погрузили на телеги несколько сотен человек, а они... – больше сказать она ничего не смогла, заплакала и отошла в сторону.

И Бабагельды представил, что на одной из телег лежит черноволосый, смуглый солдат, очень похожий на его дядю. а перед глазами все шли и шли телеги с убитыми и ранеными советскими солдатами.

Через два дня после торжественного дня полковой фотограф принес в казарму фотографию, на которой воины были сняты во время присяги. Это была первая фотография с тех пор, как они надели военную форму.

Бабагельды не узнал себя: так изменилось его лицо в военной форме. Пропала детская одутловатость щек, лицо осунулось, даже как-то посуровело. С фотографии на него смотрело лицо настоящего солдата.

Когда окончился срок карантина, для большинства парней перевод в части, в которых они должны продолжать свою

службу, ничего не изменил. В одну роту попали братья Андурсовы, Бабагельды – всего одиннадцать человек из их карантинной роты. В этой же роте остался и лейтенант Буйнов. Поэтому в новом коллективе они не чувствовали себя совсем чужими. За короткий «карантинный срок» ребята успели привыкнуть и по своему привязаться к нему.

Построив вновь прибывших, невысокий, круглолицый младший сержант Филев сказал:

– Это ты, оказывается, один из сорока человек за свою жизнь испугался? – Бахтияров, не зная что ответить, тяжело дышал и смотрел в потолок.

– Ты хоть понимаешь, что позоришь звание десантника? – продолжал наступать Филев. – Придется тебе объяснить, кто такие десантники, я тебя так погоняю, что в следующий раз на учениях ты будешь первым прыгать, и учти, что даже без парашюта, – распалился все больше Филев. Решив, что разговор зашел далеко, сержант Фролов подошел к Филеву и, обняв его за плечи, как бы успокаивая, сказал ребятам:

– Давайте, хлопцы, расходитесь, занимайтесь своими делами, – и ушел вместе с Филевым. Но Филев не успокоился на этом и, обернувшись, крикнул:

– Придется завтра тебя на половинный паек посадить. Нечего зря хлеб переводить. Как только станешь настоящим десантником, так и паек полный получишь.

После этого разговора некоторые «старики» стали в шутку называть Бахтиярова «Половинкиным», но ребята, при-

шедшие вместе с ним из “ карантина», этого прозвища не приняли. Зная, как он переживает, они были уверены, что в следующий раз на учениях Бахтиярова не удастся удержать в самолете, даже заковав в цепи.

Стараясь не нарушать строя, солдаты цепочкой бежали по глинистой дороге. Бабагельды вспомнил, как один шутник из их села рассказывал о своей армейской службе: “Командиры в армии как думают? Лишь бы солдат делом был занят, в как все переделает, то пусть побеждает».

В карантине было тоже немало кроссов. Но пока никто из молодых не бегал на десять и пятнадцать километров. Это было одним из первых серьезных испытаний на выносливость. Бежать становилось все труднее. Глотки пересохли. Хотелось напиться ледяной воды. Пот выступил вначале на спине, потом темные пятна появились на плечах и груди.

Бабагельды бежал, словно волок за собой какую-то тяжесть, временами оглядываясь назад: “Интересно, а как другие?»». И каждый раз видел, как старались его товарищи не отстать от группы. Они взглядами спрашивали друг у друга: “Ну как?» – “Бежим!» – безмолвно отвечали глаза. Впереди Бабагельды видел мокрую от пота спину Луговкина. Шея у него заметно вытянулась вперед, и казалось, что он сейчас встрепенется, махнет крыльями и полетит, как птица.

Когда приказали надеть противогазы, бежать стало еще труднее. Не хватало воздуха, стали задыхаться. На стекле противогаза у Бабагельды появилось мокрое пятнышко. Но

дорогу пока еще можно было видеть. Он подбадривал себя: “Другим ведь не лучше. Терпи, Бабагельды, терпи, уже немного осталось”. Ему вспомнился случай, который произошел на днях. Перед отбоем Бабагельды вместе с товарищами сидели в коптерке и пришивали подворотнички к гимнастеркам. Как раз в это время пришел к нему его земляк, Саша Бородин, принес газету, где была статья “Подвиг ротного парторга». В ней рассказывалось о Герое Советского Союза Айдогды Тахирове. Оказывается, они служат в дивизии, в которой раньше служил Тахиров, только в другом полку, но все равно имя героя звучит на каждой поверке: “Гвардии рядовой Айдогды Тахиров!» – “Я!» – отвечает за него солдат, а следом: Гвардии рядовой, Герой Советского Союза Айдогды Тахиров погиб в боях за Родину...».

От этих воспоминаний Бабагельды почувствовал прилив новых сил. Но через несколько минут стекло противогаза совсем запотело. Он уже ничего не видел перед собой и в любой момент мог упасть. А рота, не снижала темпа, продолжала двигаться вперед.

Бабагельды, вытянув руку перед собой, наткнулся на чье-то плечо. Под его рукой плечо дернулось, и руку убрали, и зацепили за край вещевого мешка, висевшего за спиной. Бабагельды не мог понять, кто это, но обрадовался, что его поняли и не дадут упасть. Он так и держался за вещмешок до конца марш-броска.

Когда все остановились и сняли противогазы, он увидел,

что бежал рядом с сержантом Фроловым.

– Ну как, все в порядке? – приветливо спросил сержант, вытирая пот с лица.

– Да. Спасибо, товарищ сержант. Я просто ослеп в этом противогазе.

– Я так и подумал. Вначале-то ты хорошо бежал. Нужно посмотреть твой противогаз, когда вернемся, – сказал сержант и похлопал его по плечу.

Радуюсь, что вместе со всеми благополучно добрался до финиша, устроился под деревом, чтобы немного передохнуть.

Кругом стояла тишина. Земля была устелена опавшей листвой, а оставшиеся на ветках полусухие листья отливали золотом. Бабагельды вынул из вещмешка котелок и спустился к реке, чтобы напиться. У излучины реки, на пригорке росло несколько стройных, одинаковой высоты деревьев. Солнечные лучи, попадая на листву, позолотили ее, и казалось, что деревья плодоносят кусочками золота. Даже не верилось, что и часа не прошло с того момента, когда прозвучала команда: “Отбой!», и кончились солдатские мученья. Он набрал полный котелок воды и понес ребятам. Подул ветер, разнося запахи грибов и прелой листвы. Сорванные листья летали, похожие на бабочек с красножелтыми крыльями. С порывами ветра этих бабочек становилось все больше и больше. Через несколько минут после небольшого привала, рота через лес вышла к большой поляне. Капитан Тре-

губов разделил роту пополам. Одна половина стала условно называться “зелеными», а другая “синими». “Зеленые» надели свои береты задом наперед, так что звездочка оказалась сзади, и теперь всем было ясно, кто с кем воюет. Никто ни в кого не стрелял. Начался “рукопашный бой»: с приемами каратэ, нападением с ножом, в общем, отрабатывали все, что могло пригодиться во время схватки с настоящим врагом.

Вот где проявились способности Андурсова-первого, который всегда хвастался, что на гражданке был непобедимым во всех уличных потасовках. Он выкрутил из рук младшего сержанта Филева нож, которым тот “ударил» его, и своими огромными ручищами отшвырнул далеко в сторону. Филева это разозлило. Он, подножкой свалил Бабагельды, который в это время сцепился с Андурсовым-вторым. Тот упал, и не сразу смог встать, а Филев, отбегая, крикнул! “На войне, как на войне!». Потом Филев, объединившись с Андурсовым-вторым, пошел на Андурсова-первого, который поняв, что те вдвоем идут на него и ему не сдобровать, отбежал назад, на ходу соображая, как бы выкрутиться из этой ситуации. Но брат был уже рядом. Тогда Андурсов-первый схватил его за руки и повалил на землю. А Филев, сообразив, что ему одному не осилить, крикнул: “Эй, Андурсов, если ты меня опять скрутишь, смотри, пожалеешь. Вернемся в роту, без конца будешь у меня в наряде».

– Но ты ведь враг, – сказал Андурсов, однако несколько сник после такого предупреждения. – Ну, ладно, – миролю-

биво сказал он и побежал на помощь к своим.

* * *

Через сорок минут капитан Трегубов дал отбой и разрешил всем отдохнуть, а сам с лейтенантом Буйновым присел покурить. Вокруг запахло сигаретным дымом. Прислонившись к дереву, Бабагельды закрыл глаза, не обращая внимания на Луговкина, который, рассчитывая на сигарету Пети Бабокина, крутился вокруг него и что-то показывал знаками Бабагельды. Слышался разговор младшего сержанта Морозова, который сидел на поваленном дереве вместе с ефрейтором Переведенцовым, который, как хвост, всегда ходил за Морозовым и поддакивал ему, в любом деле и в любом разговоре.

– На гражданке я всегда пил молоко теплое по утрам, – говорил Морозов.

– И я иногда пил, – ответил ему ефрейтор.

– Врачи говорят, если пить молоко, зубы будут крепкими, – рассуждал вслух младший сержант.

– Ерунда!, – засмеялся Переведенцов.

– Почему?

– У меня сестра есть старшая, знаешь, сколько она пила молока. Даже в детстве ее мать до трех лет молоком кормила. И все равно у нее почти зубов нет. А муж зовет ее «моя старуха», – говорил ефрейтор.

– Слушай, а почему девушкам нравятся высокие и здоровые парни, а? – завел новый разговор Морозов.

– Откуда я знаю, это у девушек надо спросить, – тихо ответил Переведенцов.

– Вон Луговкин роста высокого, но как можно его полюбить? – удивлялся сержант.

– Он щекотки боится. Во время “маленькой войны» я схватил его, а он заорал так, что я в сторону отскочил, как ужаленный, – смеясь, сказал Переведенцов.

Когда роте скомандовали строиться, к Бабагельды подошел Луговкин и протянул листок, вырванный из тетради.

– На, – сказал он, – пошлешь своей любимой.

Бабагельды, увидев нарисованный портрет и под ним слова “Как я воевал в литовском лесу», даже в лице переменялся, таким, почти неузнаваемым, было лицо, нарисованное на этом тетрадном листочке.

– Хочешь, чтоб моя девушка отказалась от меня, увидев такое художество, – спросил он Луговкина.

“Прекратить разговоры в строю», – раздался голос лейтенанта. Но портрет показался Бабагельды чем-то знакомым, и опять перед ним всплыло лицо дяди.

* * *

Когда рота после однодневного похода вернулась в городок, солнце еще не зашло. Но его золотистые лучи уже приближались к кронам деревьев. Солдаты еле волочили ноги от усталости. Вдруг раздалась команда ротного старшины:

– Рота-а-а, смирно!

Все решили, что впереди показался кто-нибудь из коман-

диров, а старшина опять скомандовал:

– Рота, направо, смирно!

Стук сапог слился в один звук. Повернув головы направо, ребята увидели стоявшую на остановке автобуса девушку с сумкой через плечо. Разом забыв об усталости, солдаты с гордо поднятыми головами промаршировала мимо девушки.

* * *

До обеда оставалось еще часа два. Поставив в центре казармы столы, солдаты расселись вокруг них и занялись чисткой оружия.

Младший сержант Морозов, увидев, как ушел из казармы с папкой под мышкой капитан Трегубов, встал с места, взял свой автомат и перенес его к Бабагельды, который раздевшись, как и все до пояса, чистил оружие.

– Вот тебя коробочка со смазкой, – сказал ему сержант, – а вот ветошь. После своего почистишь и мой автомат.

– Я не могу, – отказался Бабагельды.

– Рядовой Назаров! Я не люблю, кто много разговаривает.

– А я не люблю чистить чужое оружие, – ответил Бабагельды, подняв голову.

– Здесь армия, мальчик, а не пионерский лагерь, расположенный у реки. Если мы прикажем, ты обязан подчиняться, а иначе заставим, – пригрозил Морозов.

– Времени мало, он ведь не успеет почистить два автомата, пытаюсь заступиться за Бабагельды, сказал Луговкин.

– А я тебя спрашивал? – повернулся к нему сержант.

Бабагельды, решив, что дальше продолжать этот разговор не стоит, замолчал, продолжая чистить свой автомат, не замечая придвинутого к нему автомата Морозова. Неожиданно в казарме появился лейтенант Буйнов, который со стрельбища не пошел в часть, и все решили, что он ушел домой и больше в казарму не вернется. До обеда оставалось не больше четверти часа, когда лейтенант построил роту и стал осматривать личное оружие. Морозов, до этого болтавший в сторонке с Филевым, едва успел встать в строй, когда очередь дошла до его автомата. С нескрываемой злобой он поглядывал на Бабагельды. Буйнов осмотрел автомат Морозова, взглянул на часы и сказал:

– Даю вам десять минут. Когда почистите свое оружие, доложите мне, понятно?

– Понятно, товарищ лейтенант, – мрачно ответил Морозов.

– Поторопитесь, времени у вас мало, – предупредил лейтенант.

– Ух, и устрою же я тебе! – пригрозил Морозов, обернувшись к Бабагельды. Лейтенант Буйнов услышал слова Морозова и вернулся назад.

– Младший сержант Морозов, шаг вперед! – Морозов нехотя подчинился.

– Отставить! – не меняя выражения лица, приказал лейтенант.

Морозов понял, что если он не сделает как положено, его

все равно не оставят в покое. В третий раз он вышел из строя, как положено.

– Рота, смирно! За халатное отношение к доверенному оружию, а также за недоброжелательное отношение к вновь прибывшим объявляю младшему сержанту Морозову двое суток гауптвахты! – громко объявил лейтенант.

После обеда младший сержант Филев, отобрав у Морозова ремень, повел его на “губу». Эта стычка между Морозовым и Бабагельды была второй по счету между “салагами» и “стариками». Луговкин сказал, что как только Морозов вернется с “отдыха», будет и третья.

Через два дня, перед ужином, в казарму вернулся заросший щетиной Морозов.

Капитан Трегубов дал ему пятнадцать минут, чтобы он привел себя в порядок. После ужина рота собралась у телевизора, а дневальный Луговкин ходил между кроватями, проверяя порядок. Он-то и услышал разговор между Филевым и младшим сержантом Морозовым. Сидя в конце казармы у открытого окна, Филев говорил:

– С лейтенантом Буйновым лучше не связываться. Это тебе не прежний старлей Плоткин, от которого можно было отделаться анекдотом. Ты же сам видишь, как он появился у нас, уже ни одному “старикуну» нет почета. Для него все – одинаковые солдаты, – внушал Филев. – При Плоткине, помнишь, какая жизнь была райская. Сколько раз он говорил: “Надо снова сделать три года службы, тогда солдат два года

будет служить, а год отдыхать, а как сделали двухгодичную службу, они целый год отдыхают, и только год служат...».

– Я это знаю...

– А если знаешь, то что же на рожон лезешь?

– Я знаю, что Буйнов не Плоткин, но ты вспомни, как нам было, «салагам», и как им теперь. Где же равенство?

– Помнишь, в первые дни, когда мы прибыли в роту, «старики» заставляли нас кричать по ночам: «До отъезда наших отважных стариков осталось столько-то дней. Урра!».

– Однажды Ачмызов, помнишь, кавказец...

– Помню.

– Так вот, однажды он ошибся и вместо того, чтобы сказать, что осталось шестьдесят дней, сказал шестьдесят один. Так Зеленков накинулся на него и чуть было не сожрал от злости. И ведь никто и никогда слова против не проронил, а этот...

– Ну, конечно, раз с нами так обращались, так теперь тебе хочется отыгаться на ком-то, – усмехнулся Филев.

– Во-первых, когда с нами так обращались, ротным был не Трегубов. А во-вторых, среди нас не было человека, который, как Бабагельды, смог дать отпор.

– Я-то думал, он помнит, что ещё «салага» и молча почистит мое оружие, – говорил Морозов.

– Ты на него не обижайся. И потом, если подумать, это даже неприлично заставлять такого же парня, как ты, работать на себя. Да, вспомнил... Ты читал статью в нашей дивизи-

зионной газете о Герое Советского Союза?

– Статья о Тахирове, которого замучили немцы, чтобы получить сведения?

– Так вот, если ты читал, учти, что Бабагельды земляк Тахирова. Вряд ли его тоже можно будет заставить делать то, чего он не захочет.

– Хорошо, что все это не дошло до Буйнова. С ним лучше не связываться. – В этот момент Филев заметил Луговкина и замолчал.

Сегодня был особенный день. Вся рота, кроме дежурных, выезжала в колхоз на уборку урожая. Машина, в кабине которой сидел лейтенант Буйнов, приехала к колхозному току, где девушки просеивали зерно. В первый момент ребята даже растерялись: так много девушек и женщин толпилось около ссыпанного в кучу зерна. Они так приветливо встретили ребят, что те вначале оробели, а потом принялись за работу так, что гору зерна, которой, по словам бригадира, хватить должно было до вечера, перетаскали под навес за два часа.

Простор полей, приветливые женские лица, работа, которой занимались их отцы и деды, – все это было приятным разнообразием военной службы.

Перекидываясь шутками с девушками, Луговкин наполнял мешки с зерном возле машины, и когда появился председатель колхоза, он спросил у него:

– Товарищ председатель, вам не нужны механизаторы?

– Вообще-то нужны, – ответил тот.

– А вы ревнивы?

Председатель, видя, как стоящий перед ним высокий солдат посмотрел в сторону девушек, понял, куда тот клонит.

– Даже если ревнив, куда же денешься, ведь зерно растить кому-то надо.

– Тогда, товарищ председатель, если познакомите меня с одной из этих девушек, я согласен остаться у вас трактористом.

– Если ты и вправду будешь хорошо работать, придется тебе невесту подыскать. – Луговкин победно – улыбнулся и посмотрел по сторонам.

– Эй, ребята, председатель расщедрился, вы тоже просите для себя невесту!

Он сказал это в шутку, но с таким вдохновенным задором, что не только девушки и председатель, но даже редко улыбающийся лейтенант Буйнов, опустив голову, улыбался.

– Если наши девушки понравились вам, то сами выбирайте себе невест, а мы таким женихам рады будем всегда, – сказал председатель и посмотрел на засмутившихся девчат.

– Эй, ребята, а мне подберите в мужья какого-нибудь военного, иначе ни одной девушки из своей бригады не отдам, – крикнула бригадир, поправляя выбившиеся из-под косынки седые волосы.

– Давайте познакомим эту тетеньку со старшиной Марчилюнусом, – предложил вдруг Бабагельды.

Ребята представили их вместе: “Два сапога-пара», – реши-

ли они, громко засмеявшись.

Солдаты смеялись, дурачились, но работали по -настоящему. Бригадир, которая все время наблюдала, как идут дела, подошла к лейтенанту Буйнову.

– Эх, сынок, как нам твои солдатики помогли. Я со своими девчатами и за неделю не справилась бы с такой работой.

– Мы бы с удовольствием всю жизнь только сеяли и убивали, но вот некоторые государства на Западе не дают нам покоя, поэтому мы должны охранять свою землю, – ответил ей Буйнов.

– Служите сынок, служите, а уж мы тут сами с остальным справимся, – убежденно сказал женщина.

Возвращаясь вечером в часть, ребята всю дорогу пели песни, совсем не чувствуя усталости, потому что в каждом человеке живет подчас скрытая тоска по земле и радость от работы на ней.

* * *

Бабагельды глухой ночью разбудил Авагян, который дежурил по казарме.

– Пора сменяться! – Бабагельды, который и без того спал беспокойно, помня о том, что надо вставать, ответил сонно: «Сейчас» и опять заснул. Когда он пришел на смену, Авагян передал ему, что надо разбудить старшину без пятнадцати шесть и ушел спать.

Бабагельды заступил на дежурство вместе с младшим сержантом Филевым. А до этого он успел подежурить на кухне,

где ребята, измучившись, вручную чистили коку картофель. Картофелечистка сломалась, и ребятам пришлось бы туго, если бы не помог им Ермошкин. Невысокий, с приплюснутым носом, он, напевая себе под нос, ходил вокруг чистильной машины. Походил-походил и исправил. агрегат и ребята за полчаса перечистили всю картошку.

Заступив на пост, Бабагельды через некоторое время так захотелось спать, что стоять уже не мог. Привалившись спиной к стене, он подумал, вот если бы сейчас выйти на улицу, где так прохладно, и немного походить, то сон окончательно пройдет.

В открытую дверь казармы он увидел, что к ним в роту идет офицер. Это был дежурный по полку Абрамов. Каждый раз, когда встречался с ребятами, которых привез из Ашхабада, он расспрашивал их о делах. И хотя Абрамов был в другом батальоне, ашхабадские парни считали его своим, близким человеком.

– Как дела? Привыкаешь к службе?

– Я уже почти ветеран.

– Я тут на днях видел Кульбердыева, его избрали ротным комсоргом.

– А Ильмурада направили на курсы сержантов.

– Это какой? – спросил Абрамов, не сумев преставить Ильмурада.

– Ильмурад Аманмурадов, усатый парень.

– А усатый! Это тот, который просил не сбривать ему

усов? Помню. Вот и хорошо. А что-то не видать дежурного по роте?

Бабагельды обернулся и показал на человека, который лежал на кровати прямо в одежде, положив ноги на табурет, готовый вскочить с места по первому сигналу.

– Разбудить? Он только что прилег...

– Тогда пусть еще немного поспит. А ты хоть подремал?

– Я только что встал, никак не могу проснуться, – быстро сказал Бабагельды.

Капитан Абрамов прошелся по казарме, посмотрел на спокойно спящих ребят и пошел назад. Его шаги еще долго были слышны в ночной тишине.

Вспомнив, что надо написать домой письмо, Бабагельды решил воспользоваться удобным случаем. Сев лицом к двери, чтобы было видно входящих, он задумался. Вспомнил колхоз, в который они ездили в субботу, горы зерна и девушек, с которыми работали. А светловолосая девушка, которая весь день тогда поглядывала на него, вспоминалась ему все чаще.

На листке бумаге вместо письма появились стихотворные строчки:

От работы болит рука

Каждый мускул и нерв – струна

Мне работа моя нужна...

Дальше строчки не получались и он задумался, опустив голову на руки.

Бабагельды почувствовал, что на него кто-то смотрит. Поднял голову и обернулся. Младший сержант Филев стоял позади него и смотрел на лист бумаги.

– Да это вроде бы стихи? – удивленно проговорил он.

– Да так, ерунда, – засмутился Бабагельды, пряча бумагу в карман.

– Сам написал? – недоверчиво спросил Филев.

– Конечно, разве ты здесь кого-нибудь еще видишь?

– Да, есть в тебе что-то такое, чувствуется.

– Почему? – заинтересовался Бабагельды.

– Просто я вспомнил, как смотрел по телевизору документальный фильм “Керч», помнишь?

– Ну и что?

– Помнишь, когда в фильме город переходил из рук в руки, ты так переживал... Я не могу сейчас передать твоего состояния тогда, но ты сидел рядом со мной, и я наблюдал за тобой и помню все.

– Это тебе показалось, сержант.

– Не перебивай меня. Ты иногда задумываешься, уходишь в себя. Я читал где-то, что поэзия должна идти от сердца. У тебя тоже так?

– Это тебе кажется, товарищ сержант, – опять повторил Бабагельды. Опустил голову, и надолго замолчал. Сержант постоял еще немного, заложа руки за спину, и тихо ушел, оставив Бабагельды одного.

* * *

В начале сентября, в субботу, Бабагельды в первый раз пошел в увольнительную. Ротный старшина придиричиво осмотрел пятерых ребят, отправляющихся в город, и остался доволен, а потом повел в штаб получить увольнительную.

Взяв увольнительное, Бабагельды вышел из штаба. По дороге к КПП он встретил озабоченного Сашу Бородина. Саша окинул взглядом своего земляка и улыбнулся:

– Да тебя не узнать!

– Узнал же.

– С трудом. В увольнение собираешься?

– Да!

– Я тоже был в увольнении. Хоть и маленький, но хороший городок.

– Посмотрим.

– Надо посмотреть. Ну ладно, – Бородин протянул руку для прощания. – Не буду задерживать тебя. И без того в увольнении время быстро проходит. Не успеешь познакомиться с девушкой и поговорить с ней, а уже надо обратно бежать, чтоб не опоздать.

Бабагельды попрощался и пошел, но не сделал и десяти шагов, как Бородин вновь окликнул его:

– Бабагельды!

– Что?

– Передавай привет девушкам!

Ребята улыбнулись друг другу и разошлись в разные стороны.

Бабагельды пересек узенькую дорогу, которая вилась между невысокими деревьями, и хотел было догнать ребят, которые шли впереди, но повернул направо, в сторону поселка, который назывался «офицерским островом».

После долгих размышлений он решил начать поиски своего дяди с братской могилы, находящейся рядом с их полком. Бабагельды, выбрав удобный момент, поговорил об этом с капитаном Абрамовым и попросил его помочь найти ему адрес Марины Максимовны, которая в день принятия воинской присяги выступала перед солдатами. Он мечтал встретиться с этой женщиной, поговорить с ней о войне, расспросить о солдатах, которых она похоронила здесь своими руками. Через четыре дня после того разговора капитан принес Бабагельды адрес, записанный на листке из блокнота.

На дорогу стали падать крупные чистые капли дождя.

Бабагельды, чтобы не промокнуть, спрятался под елью. Он вспомнил детскую присказку-считалку про дождик и с улыбкой повторил ее:

Дождик лей, лей, лей,

Лей сильней, сильней,

Лей в ладошки мои,

А меня не намочи.

Улицу Толстого, которую он искал, ему показала старушка в очках, которую он встретил у самого входа в поселок. Женщина вышла из магазина с продуктами.

– Видишь, вон те качели? Должен видеть, у тебя глаза мо-

лодые. Дойди до них и поверни налево, а когда пройдешь мимо дома Галактионы, тебе повстречаются три дуба, стоящих в ряд, вот это и будет улица Толстого.

Бабагельды, наконец, отыскал нужный дом, но в двери белела записка, которую он не решился прочитать. Скорее всего там было написано, куда и насколько ушла хозяйка дома. Во дворе какая-то женщина снимала с веревки белье. Когда Бабагельды проходил мимо, она внимательно осмотрела его, но он не решился что-нибудь спросить. Когда он уже прошел двор, женщина окликнула его:

– Солдат, ты вроде ищешь кого-то?

– Да, ищу, – Бабагельды замедлил шаг и повернул назад, чтоб спросить у нее про Марину Максимовну.

– Может, ты Наташу ищешь? – женщина произнесла это, явно кокетничая.

– Нет, я ищу Марину Максимовну, – ответил Бабагельды. – Может, вы знаете, где она сейчас?

– А кто вас сюда послал? – Бабагельды услышал мужской голос и обернулся. На балконе второго этажа соседнего дома стоял офицер, накинув китель на плечи, он курил.

– Я в увольнении, товарищ лейтенант. Мне нужна Марина Максимовна, проживающая по улице Толстого, двадцать, – пояснил Бабагельды, подходя ближе к дому.

– Если ее нет, то где она может быть? – Он обернулся и стал разговаривать с кем-то в глубине комнаты. Оттуда слышался приятный женский голос: “Я видела ее недавно

на остановке автобуса». Бабагельды поблагодарил офицера и пошел побродить по улице, пока время позволяло. Подняв голову, он увидел стоявшую у окна дома женщину, которая недавно собирала во дворе белье. Бабагельды стал прохаживаться между высаженных в ряд елок, и когда услышал рядом с собой шорох, ему подумалось, что это пришла та женщина, которая наблюдала за ним из окна.

– Это вы тот солдат, который ищет Марину Максимовну? – услышал он приятный голосок. Бабагельды, обернувшись, увидел перед собой девушку в узких брюках, в куртке, с распущенными по плечам волосами, на голове у нее был берет.

– Да, – это я.

– Какое у вас дело к Марине Максимовне?

– Если не ошибаюсь, то вы не Марина Максимовна, так?

– Точно, – девушка улыбнулась. – Я ее внучка. И уже если на то пошло, мы с бабушкой тетки, меня тоже зовут Марина. Я бы вас пригласила домой, но беда в том, что бабушка в записке написала: “Ключ на прежнем месте», а сама забыла положить его туда, снова унесла с собой. Я и сама не могу попасть в дом.

– Бывает, – Бабагельды улыбнулся, вспомнив, что и его собственная бабушка иногда так делает.

– Что поделаешь, возраст. Пожилой человек.

Марина не пошла назад, видно, она не решилась оставить гостя одного на улице, а может, у нее не было особых дел.

– Когда ждешь, время медленно идет. Если вы и в самом деле намерены ждать, пойдемте немного прогуляемся. Отсюда Неман недалеко.

– Пойдемте, прогуляемся, – охотно согласился Бабагельды.

– Дождь вроде бы большой собирался, но очень скоро прошел, – сказала Марина и посмотрела на небо.

– На погоду надеяться нельзя, дождь в любую минуту может опять начаться, – со знанием дела заявил Бабагельды. Марина повернулась к нему:

– А я люблю дождь, – и поправила волосы. – Причем, если это весенний дождь.

Бабагельды видел, как невысокий лейтенант с двумя солдатами вышел из магазина и направился в их сторону, но не подумал, что они направляются именно к нему.

Лейтенант, подойдя, окликнул его: “Гвардеец!” Когда Бабагельды остановился, он позвал его. Марина осталась стоять на месте, а Бабагельды подошел к лейтенанту.

– Что ты здесь делаешь?

– Я в увольнении, товарищ лейтенант, – сказал он и протянул увольнительное.

– Хорошо, я вижу.

– Убедились?

– Ты много не разговаривай, десантник, – повысил голос лейтенант, а потом улыбнулся и посмотрел на Марину.

– Хорошая девушка. У тебя губа не дура, солдат, а подру-

ги у нее нет, – спросил лейтенант и в упор посмотрел на Бабагельды.

– Не знаю. Спросите у нее самой, – нерешительно ответил Бабагельды.

– Должна быть. Вы же десантники, как вам отказать, не то что мы – пехота, – смеясь, сказал лейтенант.

– А какая разница! Все одно – армия, – искренне удивился Бабагельды.

– Разницу ты лучше меня должен знать.

Лучше нету войск на свете,

Чем десантные войска! – поете вы, – ведь так?

– Все правильно, товарищ лейтенант, я горжусь, что служу в десантных войсках, – с гордостью ответил Бабагельды.

– Ну что ж, тогда приведи себя в порядок. Сними ремень и одень правильно, десантник!

Бабагельды быстро передел ремень и встал по стойке смирно. Лейтенант окинул его взглядом с ног до головы, козырнул и молча ушел. Бабагельды подошел к Марине, которая ждала его невдалеке.

– Ну что, проверили? – спросила она, улыбаясь.

– Да, поговорили...

– Пойдем, дальше.

Они пошли меж деревьев, осыпавших свою листву. Стояла осень, но река была полноводна, как весной. Берега были укутаны серой тишиной. Только течение вод нарушало ее. Вдруг они увидели, как от противоположного берега, осто-

рожно войдя в воду и высоко подняв голову, поплыли три лося. Казалось, что они подплывут близко, но они как будто почувствовали, что их заметили, повернули и поплыли вниз по течению. Постояв еще немного на берегу, молодые люди решили вернуться в поселок. Не успели пройти и половины улицы, как опять встретили тот же патруль.

– Гвардеец, иди сюда! – позвал лейтенант.

– Вы уже проверяли меня, – сказал, подходя к ним, Бабагельды. Он решил, что лейтенант не узнал его. Лейтенант нахмурил брови.

– Не разговаривай много. Покажи увольнительную!

– Опять? – удивился Бабагельды.

– Отставить разговоры, предъяви документы, – расплылся лейтенант.

– Разве в уставе где-нибудь написано, что полагается задерживать солдат на каждом шагу и проверять документы? – прямо спросил его Бабагельды.

– Ишь какой говорливый! Надо будет и сто раз проверим, – усмехнулся лейтенант. Бабагельды чувствовал, что лейтенант придирается к нему специально и обиднее всего, что Марина стоит рядом и все видит.

– Вместо того, чтобы за своими солдатами смотреть, вы меня без конца проверяете. Вон на лодке двое ваших пиво распивают, – и Бабагельды махнул рукой в сторону реки, решив, будь что будет, а унижать себя перед девушкой он не даст.

– Где это? – заинтересовался лейтенант.

– Вон туда, к реке спуститесь, – и лейтенант, не дослушав Бабагельды, бросился к реке.

– Зачем ты так с ним? – спросила с улыбкой Марина, которая, стоя неподалеку, слышала весь разговор.

– А что же мне делать? Кто им позволил на каждом шагу проверять меня? Пусть теперь делом займется, – обиженно сказал Бабагельды.

* * *

Вторые сутки с перерывами шел нудный осенний дождь. Ночные прыжки рота выполнила удачно. Как только приземлились последние парашюты, опять полил дождь и насквозь вымочил десантников. Все устали, хотелось спать, а главное – высушить одежду.

Роту подняли где-то около часу дня. Не успели переодеться, как старшина сообщил, что завтрак уже давно готов и поторопил их. На улице дул приятный ветерок. Днем погода разгулялась. Солнце, о котором вчера мечтали, ярко светило, ослепляя своими лучами промытые дождем дороги, которые теперь были чистыми и отливали чернотой, а теплый ветерок уже кое-где подсушивал землю. По дороге в столовую им повстречался старшина Марчилюнас. Пропуская роту, он сошел на обочину и громким голосом, так, чтоб слышали все, сказал, обращаясь к сержанту: “Учи их, парень, хорошенько, пока не станут настоящими солдатами. Суворов говорил: “Тяжело в учении, легко в бою!» – ясно?” – и

размахивая рукой, как бы рассекая воздух сверху вниз, пошел дальше по своим делам.

После завтрака вся рота отправилась на парашютный склад. Здесь уже стояли машины с мокрыми парашютами, десантники развешивали их сушить. С этой работой справились быстро, и после обеда оказалось свободное время.

Бабагельды подстригся в бытовке у Авагына и отправился искать Луговкина и Андурсова. Внизу, на I этаже казармы, где жили ребята из саперного батальона, было шумно. Неделю назад саперы уехали на полигон и только сегодня вернулись. И сейчас они разгружали машину, таская ящики в казарму.

– Прибыли благополучно? – спросил Бабагельды, увидев своего земляка Язмухаммеда, который с одним парнем подавал ящики из машины.

– Прибыли, только очень устали.

– Что, много мин зарыли? – любопытно спросил Бабагельды.

– Разве ты не знаешь, что возле одной деревни нашли склад боеприпасов, оставленный еще немцами?

– А кто это узнал? – спросил Бабагельды.

– Деревья сказали, – серьезно ответил ему Язмухаммед.

– Как это?!

– Да у одного дерева, что росло там, корни зажали одну мину... И вот тогда нас подняли по тревоге, – рассказывал Язмухаммед.

– Значит, еще остались мины с войны... – задумчиво протянул Бабагельды.

– Да.

– Ваш комбат прямо в лицо переменялся от усталости.

– Он сильный человек...

– Товарищ солдат, вы мешаете работать! – услышал за спиной голос комбата.

– Ну ладно, потом как-нибудь поговорим, – и быстро отошел от машины.

Невдалеке группа солдат грелась на солнышке. Луговкина среди них не было. Кроме Колобка, который тут курил, остальных он не знал.

– Значит, солдат спит, служба идет? – спросил его Бабагельды.

– Вчера так промокли, до сих пор согреться не могу, – ответил Колобок, встал и пожал ему руку.

– Да, дождь не перестает...

– Не зря здешние места называют «краем дождей».

– Луговкина не видел? – спросил Бабагельды.

– Не, не видел. Но вроде один, похожий на него, да с ним еще двое, в лес пошли вон с той стороны.

– Думаешь, это они?

– Наверное.

– Но ведь это самоволка, – удивленно сказал Бабагельды.

– А ты разве не знаешь этого жирафа Луговкина, ведь не остановится, если что задумает, а с ним еще и крокодил Ан-

дурсов пошел, так что теперь они до самой Африки не останутся.

Крокодил Колобок называл Андурсова-первого, как бы в отместку за прозвище, которое с легкой руки сразу прилипло к нему. Колобку очень хотелось, чтобы прозвища прижились в роте. Но ребята не подхватили прозвища. Луговкин и Андурсов были парнями добродушными, не обидчивыми, они и сами при случае могли пошутить над собой и на прозвища не обижались. Однажды Андурсов брился и, глядя на себя в зеркало, сказал, обращаясь к Бабагельды:

– Колобок прав, есть в моем лице что-то от крокодила, – и весело рассмеялся.

Бабагельды хотел позвать с собой Колобка, но тому не хотелось уходить от ребят, он и Бабагельды предложил остаться с ними. Но Бабагельды пошел дальше. Не успел сделать и несколько шагов, как его окликнул Колобок:

– Как прыгал Бахтияров?

– Он не прыгал, дневальным по роте был, его с дежурства не сняли, а он не настаивал, – сказал Бабагельды.

– А мы-то думали, что он сам попросился. Тут без лейтенанта Буйнова не обошлось, – убежденно сказал Колобок.

– Видно решили, что если днем не прыгнул, то ночью тем более не решится, – опять подходя к Колобку, сказал Назаров.

– Нет, здесь что-то не так. Ведь Буйнов знал, что Бахтияров прыгать не может, а взял его к себе. Может, надеялся, что

тот сможет пересилить себя, – размышлял вслух Колобок.

Во второй раз расставшись с Колобком, Бабагельды пошел по тропинке вдоль забора и повернул к памятнику, возле которого они принимали воинскую присягу. Сейчас здесь никого не было. Подойдя ближе, Бабагельды еще раз прочитал надпись на памятнике. Он обошел его кругом, но ни одной фамилии, которая хотя бы отдаленно была похожа на фамилию его земляков, не было. Бабагельды не верилось, что среди тысячи солдат, похороненных в этой могиле, нет ни одного туркмена.

Ведь сколько народу ушло на войну, только из одного нашего села: Ашир Оде, Хаки Джума, Агагельды Эсен, Язы Вели... – сто пятьдесят четыре человека. Говорили, что и среди защитников Брестской крепости нет туркмен. А вот сколько их потом нашли белорусские пионеры, – думал Бабагельды, стоя перед памятником.

Почувствовав, что его свободное время на исходе, он по тропинке пошел в расположение полка. Вспомнив, что читальный зал открыт, он свернул к клубу и увидел сидящих на скамейке Луговкина и Андурсова-первого.

– Вот уже два дня такая тоска на меня напала, что места себе не нахожу, – говорил в это время Луговкин.

– А ты поменьше вспоминай свою деревню, – сказал ему Бабагельды.

– И я ему это же говорю, – поддакнул и Андурсов.

– А что вы здесь делаете?

– Наблюдаем за жизнью, – печально вздохнув, ответил Луговкин.

* * *

Возвратившись с тактических занятий, солдаты в казармах приводили в порядок свое оружие и вещи. Бабагельды уже второй раз складывал свою накидку, которая никак не укладывалась в нужный размер. В это время к нему подошел Луговкин, который уже управился и поставил на место в оружейной комнате автомат.

– Бабагельды, помнишь, когда мы были в карантине, у нас кто-то сбежал, сказав, что соскучился по матери?

– Васильченко вроде бы, – вспомнил Бабагельды.

– Ну да, красавчик такой, он еще на девушку был похож. Я его не помню... – тихим голосом, что было не похоже на него, протянул Луговкин.

– Что понимаешь? – удивленно спросил Бабагельды, словно хотел услышать от него потрясающую новость.

– Понимаю, почему он сбежал... От тоски сбежал. Я тоже, чувствую, долго не выдержу. Ничего поделывать с собой не могу, домой тянет...

– Ну, это ты зря себя так настраиваешь. Не один ты из дома уехал. Многие о доме скучают, но таких разговоров я ни от кого не слышал, – убежденно сказал Бабагельды.

– Ты прямо в один голос с Андурсовым-вторым поешь. А мне кажется, попади я сейчас в город, так мне сразу легче станет и тоска пропадет...

Бабагельды задумался, а потом показал рукой на комнату, где что-то писал лейтенант Буйнов.

– Пойди, к лейтенанту сходи. Возможно, он тебя поймет.

– Думаешь, поймет? – колебался Луговкин.

– Думаю поймет. Он ведь Буйнов.

– Но ведь сегодня увольнений нет...

– Ну и что, наша рота сегодня не дежурит. Помнишь, один раз так Зенова отпустили в увольнение?

– Но у него тогда был день рождения, – вспомнил Луговкин.

– И ты родись, кто тебя мешает?

– Слушай, а это выход, – лицо Луговкина просветлело.

Почти ни на что не надеясь минуту назад, он пошел к лейтенанту, а вышел оттуда прежним Луговкиным.

Он подошел к Бабагельды и обнял его за плечи.

– Спасибо, учитель, за идею! – радостно воскликнул.

– Ну и что ты сказал? – спросил Бабагельды.

– Сказал, что сегодня мой день рожденья, и что мне очень хочется хоть ненадолго попасть в город и позвонить домой.

– И он сразу поверил тебе? – удивился Бабагельды.

– Но я убедительно говорил!

– А он что все-таки сказал? – выспрашивал Бабагельды.

– Ты разве не знаешь его? Посмотрел на меня, а потом говорит: «Хорошо». Позвонил в штаб батальона и попросил для меня увольнение.

– Ну счастливо тебе отдохнуть, – сказал на прощанье Ба-

багельды.

– Что тебе привезти из города? – поинтересовался Луговкин.

– Самого себя, – смеясь, ответил Бабагельды.

Бабагельды пошел в Ленинскую комнату посмотреть вместе с ребятами телевизор. А Луговкин в это время перед зеркалом одевал парадную форму, старательно начистил сапоги куском шинели и приметил ремень Чашина, который тот при любом удобном случае начищал до блеска.

Из ворот полка он вышел, как картинка, глаза его горели и весь он был уже в городе. тропинкой, через лес, он пошел к дороге. В лесу было тихо, если не считать криков птиц, доносящихся время от времени со всех сторон. Осень оголила деревья и только ели и сосны были сейчас зелеными. Луговкин, пройдя немного по тихому лесу, свернул к небольшому озеру, прошел напрямик через вспаханное поле, чтоб сократить путь к шоссе. Старательно вспаханное поле напоминало море с мелкими волнами. Было слышно, как где-то недалеко работает трактор, а прямо перед ним, у опушки леса, пахала островок земли женщина. Не остановиться он не смог.

– Здравствуйте! – громко приветствовал Луговкин, подходя к женщине.

– Здравствуй, сынок, – ответила женщина, поправляя на голове белую косынку.

– Как дела идут? – спросил он ее.

– Спасибо, сынок, помаленьку. А ты куда идешь, в город?

– Да, шел через лес, вас увидел и не смог мимо пройти. Можно мне пару кругов сделать, – неожиданно попросил он у женщины.

– А ты когда-нибудь за плугом ходил? – поинтересовалась она.

– Конечно.

– А ты ж деревенский? – выпрашивала она.

– Да, есть такая деревенька, которая тоже, как и ваша, стоит возле леса.

– Видно, скучаешь по дому? – ласково спросила она Луговкина.

– Еще как!..

– Добрый ты парень. Я думала, вам в армии и скучать некогда, – задумчиво сказала она. – Что такое тоска да скука, я знаю. Когда в это село замуж вышла, очень тосковала по дому. От тоски даже песни пела...

Луговкин взял плуг и хотел пройти только один круг, а когда начал пахать, ему уже и не хотелось уходить с поля, а перед глазами вставали родные лица, дом, где родился и вырос, друзья... Мысли унесли его так далеко, что он совсем забыл об увольнении.

Пахать он любил. С самого детства начало пахоты считалось у них в селе праздником. Недалко от села у Луговкиных было два небольших поля: гороховое и картофельное. И когда весной пахали землю, а в конце лета собирали урожай, то вся семья на несколько дней уезжала туда.

Наступало время пахоты. Глава семьи, Алексей Луговкин, рано утром запрягал лошадь, выносил из сарая плуг, отдохавший целый год, и грузил его на телегу. Когда Витя был еще совсем маленьким, пахал сам Алексей Луговкин. Жена и дочь по мере сил помогали ему, а Витя, мешая всем, болтался под ногами. Сестра вечно сердилась на него и говорила матери.

– Мам, ну зачем мы взяли Витьку с собой, мог бы и у соседей поиграть. От него толку никакого, того и гляди под лошадь попадет.

Но отец с матерью исподволь приучали паренька к хозяйству. Отец никогда не кричал на него, а лишний раз показывал, как лучше лопатой землю копать, с какой стороны лучше к лошади подойти, чтоб запрячь, а то и вожжи давал поддержать, когда сам был занят. А когда Витя подрос и мог сам землю вспахать, и урожай убрать – стал настоящим помощником отца. Делал свою работу с охотой и любовью, умело.

Вспоминая детство, Витя Луговкин всегда чувствовал себя счастливым. Потому что тогда у него был отец...

Отца он потерял неожиданно. В тот день, когда его положили в больницу, он был у него вечером, кормил куриным бульоном, отец даже яблоко попросил и немного откусил. Витя обрадовался: «Значит, дело на поправку пойдет!». Если бы он знал, что видел отца живым в последний раз. Разве бы он ушел тогда домой!?

Женщина поправила платок, повернулась и пошла к до-

му, стоящему неподалеку. Минут через пятнадцать она вернулась и принесла кувшин с молоком, сыр, свинину с куском черного хлеба. Постелила скатерть прямо на поле и позвала Луговкина.

Пока он ел, она рассказывала ему о себе: оказалось, что у нее три дочери и два сына, но они подросли и разлетелись из родного дома в разные края, в городе теперь живут, а домой приезжают очень редко, не вспоминают про мать и больного отца. В этом году обещали приехать помочь с пахотой, да видно дела не пускают, вот и приходится самой...

После обеда Витя Луговкин опять взялся за плуг. Осталось вспахать совсем немного, и он, время от времени поглядывал на часы, поторапливал коня. Нужно было вовремя вернуться в часть из увольнения, а о том, что собирался в город, он даже и не вспоминал.

Когда закончил пахать и вывел коня на край поля, до возвращения в часть оставалось минут сорок. Луговкин привел себя в порядок. Времени было в обрез. Когда женщина вышла, чтобы позвать солдата в дом обедать, она увидела его бегущим у кромки леса.

– Эй, солдат, солдат, куда же ты? – крикнула она ему вслед.

Луговкин, услышал голос женщины, обернулся, снял с головы зеленый берет и помахал им.

* * *

Рота была дежурной по полку. Часть ребят отправилась в

караул, а остальные, под руководством сержанта Филева были направлены к старшине Марчилюнусу. Старшина повел обычную разъяснительную беседу, которую ребята слышали каждый раз, когда приходилось дежурить по кухне. Старшина подробно объяснил, как мыть посуду, как и где раскладывать на столах хлеб, как помогать поварам. И каждый раз спрашивал: «Понятно?». На что солдаты шутовски отвечали: «Понятно, товарищ старшина, можете не беспокоиться, все будет так, как вы хотите!».

– Поняли, да поняли, а на самом деле ничего вы не поняли, салаги. Вот сейчас проверю и окажется, что все сделано наоборот. Ни ложки, ни чашки помыты не будут, – нахмурился старшина, заранее раздражаясь. Луговкин не выдержал, и, обратившись по форме к сержанту, попросил разрешения обратиться к старшине.

– Ну, говори, длинный! – разрешил ему старшина. Луговкин немного помолчал, а потом сказал:

– Товарищ гвардии старшина, если мой вопрос вам покажется несколько бестактным, простите. Вы, видимо, не имеете семьи...

– А что это у меня на лбу написано? – заворчал Марчилюнус, вытирая вспотевший лоб под пристальным взглядом Луговкина. – Ну и что тебе от того, имею я семью или нет, черт длинный? Ты что, хочешь

чтоб я тебя усыновил?

– Товарищ старшина, я вполне серьезно говорю. Мы тут одной женщине обещали познакомить ее с вами.

– Замолчи! Ты забыл с кем говоришь! Это что еще за розыгрыши придумали, умники. Я тебе покажу... – расхо-
дился старшина.

– Но я правду говорю, товарищ...

– Прекрати! – и повернувшись к сержанту Филеву, ска-
зал: – Этого длинного не выпускать из посудомойки. Пусть
моет посуду до тех пор, пока не посинеет. Понятно?

– Понятно, товарищ гвардии старшина! – с ходу отчека-
нил Филев.

– Расходитесь по местам. «Поняли, поняли», а на самом
деле ничерта вы не поняли. Все сделаете кое-как и уйдете,
я вас знаю... – и ушел в свою каморку. А ребята принялись
за работу.

На следующий день после обеда, перед тем как сдать на-
ряд другим, старшина Марчилюнас вошел в зал, заложив ру-
ки за спину. Он посмотрел на Луговкина, занятого уборкой
столов, и остановился у раздаточного окошка. Увидев еще
не убранные столы, он спросил:

– Почему до сих пор не убрали столы? Сейчас же все вы-
трите и уберите, – прикрикнул он, не спуская глаз с Лугов-
кина.

– Товарищ, старшина! – хриплый голос перебил его. По-
вернув голову, он увидел здорового Музыченко, высунувше-
го голову из пекарни.

– Ну, что тебе? Опять сахара не хватает? Конечно, скачете днем и ночью, как лошади, разве хватит вам...

– Товарищ старшина, вас к телефону.

– Откуда?

– Из штаба.

– Скажи сейчас иду.

В тот же день вечером, когда рота сдавала смену, старшина вызвал Луговкина из казармы в свой кабинет.

Витя Луговкин, пока шел к старшине, всю недолгую дорогу до столовой, костерил себя за длинный язык. Он был готов, что старшина теперь уже наедине будет отчитывать его за разговор о семейных делах. “Опять нажил себе беду через свой язык!»

Посадив Луговкина напротив себя, старшина начал, как ни странно, тихим и спокойным голосом, совсем не похожим на его обычный, ворчливый.

– О чем ты вчера болтал при всех? – спросил он у Вити.

– Да я так, ничего особенного... – осторожно ответил Луговкин, еще не зная, куда повернется разговор.

– Если ты правду сказал, тогда объясни, какая это женщина...

Луговкин понял, что разговор старшину заинтересовал.

– Не смейся, я серьезно спрашиваю, сколько ей лет?

– Да, наверное, лет пятьдесят будет... – неуверенно протянул Луговкин.

– Это хорошо. Моложе мне не надо, сам не молод...

– Она бригадир в колхозе, где мы работали. И она говорила, что хочет выйти замуж.

– Она что, вас просила найти ей мужа? – удивленно спросил старшина.

– Да это, вроде бы, в шутку было...

– В каждой шутке, есть доля правды, – задумчиво сказал старшина.

– Да что вы, товарищ старшина, я не шучу, она сама просила, я могу вам и адрес дать, – затараторил Луговкин.

– Ну ладно, а хозяйство у нее есть? – поинтересовался старшина.

– Не знаю. А зачем вам хозяйство? Или вам нужна невеста с приданым, товарищ старшина?

Старшина погладил усы и улыбнулся.

– Мне не хозяйство нужно, а чтоб она из-за этого мне не отказала.

– Если вы ей понравитесь, она не станет отказывать, товарищ старшина!

– Не шути!

– Не шучу.

– Тогда иди и занимайся своим делом. Только вот что скажу: если ты, как вчера, будешь при всех много болтать, я тебе хвост прищемлю. И этот разговор должен остаться между нами.

– Я могила, товарищ старшина!

– Ну, иди...

Луговкин уже выходил из дверей, когда его остановил голос Марчилюнаса.

– А иначе до конца службы тебе не видеть обеда в этой столовой.

Чувствовалось, что в ближайшие дни полк будет проводить учения, из дивизии приезжала комиссия, полк по полдня держали в поле, проверяя боевую готовность каждого десантника.

* * *

Сигнал тревоги, как всегда, прозвучал ночью. Ребята вскакивали с кроватей, жмурясь от яркого света и спросонья натываясь друг на друга.

– Где мой левый сапог?.. – раздался голос Андурсова-первого, который на одной ноге прыгал по полу. Вместо своего сапога он нашел другой, но надеть его не смог, оказался мал.

– Ищи, – крикнул ему кто-то.

– Где искать, когда все уже надели свои сапоги?

– Тогда, наверное, его собака унесла, – сказал Морозов.

– Откуда на третьем этаже может быть собака? – спрашивал кто-то, не поняв шутки.

– Эй, дежурный, у меня сапог украли!

Услышав голос брата, Андурсов-второй повернулся к нему и вместо того, чтоб помочь, прикрикнул:

– Вечно у тебя все не как у людей.

– Да ладно тебе...

– А это что стоит? – Андурсов-второй показал рукой на

стоящий сапог.

– Но это же левый.

– Эй, Андурс, я, кажется, по ошибке твой сапог надел, – раздался виноватый голос Бахтиярова.

– Снимай сапог! – Андрусов-первый, чертыхаясь от злости, стал стягивать сапог с ноги Бахтиярова.

– Ребята, представляете, дома ночью – тревога! Вы бы с Луговкиным в женских юбках вместо штанов выскочили, – засмеялся Андрусов-второй.

– Ха-ха-ха, десант в юбках, – захохотали ребята.

– А Луговкин тут при чем? – обиделся Луговкин, проходя с вещмешком и поправляя его на ходу. Но ответа он не дождался. Говорить уже было некогда. Рота строилась.

Построившись на площадке у казармы, рота отправилась к аэродрому, где заняла свои места “по расписанию» и приступила к швартовке тяжелого оружия, которое должно быть сброшено с самолетов.

Весь третий взвод швартовал грузовую машину в самолет. Сержант Филев выбрал молодых ребят, которые подтаскивали к самолету металлические планки и доски, необходимые для швартовки машины. А работу посложнее поручили “старикам».

Холодный ночной ветер усиливался, а тут еще начал моросить дождь со снегом. Капитан Трегубов и лейтенант Буйнов следили за швартовкой, успевая помогать ребятам управление с тросами и веревками креплений.

– Эх, костерчик бы сейчас, погреться, – громко мечтал Чашин, растирая озябшие руки.

– Эй, Мороз, и тебе холодно? – не отрываясь от работы, спросил у Морозова старший сержант Фролов.

– Мороз, лучше бы тебе отойти в сторону, а то с одной стороны-ты, а с другой-ветер, вдвоем вы нас заморозите, – поддержал Фролова Авагян.

– Да пошли вы... – отмахнулся Морозов и отошел в сторону.

Андурсов-первый, увидев курящих, остановился возле Фролова и Бахтиярова и опустил две широкие доски, которые нес под мышками.

– Я за вами.

– Будешь за мной, – показал Бахтияров, ждавший, когда Фролов протянет ему сигарету.

– Ладно, мне только две затяжки, – согласился Андурсов. Продолжая курить, Фролов рассказывал Бахтиярову о своих приключениях:

– ...Дождь льет, а мы с девушкой сидим под одним плащом. Ей-богу, такой дождь, что невозможно глаз открыть, молния, гром грохочет, а мы сидим, прижавшись друг к другу, и такой приятный запах от ее волос, что терпеть невозможно. Сидим, прислонились друг к другу спинами и смотрим в разные стороны. Я чувствую тепло ее тела, боюсь повернуться к ней, думаю, выгонит меня сейчас под дождь, а он все льет и льет. И не думает прекращаться...

– Ну и что дальше было? – перебил сержанта Андурсов-первый.

– Ну, что дальше, прижалась ко мне спиной теснее и говорит: “Потерпи, Мишенька, немного, скоро дождь кончится». А мне каково ждать, сам понимаешь... – закончил свой рассказ Фролов.

– Эх ты, дурак. Надо было прижать ее покрепче к груди, я вот один раз...

– Ты, Андурс, свой раз в другой раз как-нибудь расскажешь, – сказал сержант Фролов, сделал еще одну затяжку и передал сигарету Бахтиярову.

– Вечно ты перебиваешь, дослушать не даешь до конца, он, может, еще что-нибудь рассказал, – проворчал Бахтияров.

– Андурсов-первый, ты что заснул. Мы что, должны ждать тебя, пока ты тут сказки слушаешь? – властный голос младшего сержанта Морозова заставил Андурсова вскочить. Он с трудом поднял свои доски и потащил их дальше, а Бахтияров на ходу сунул ему в рот оставшийся окурочок.

– На, я не жадный, – крикнул он, отбегая.

Андурсову хотелось сказать что-нибудь обидное Бахтиярову, но рот был занят окурочком, руки досками, и он промолчал.

* * *

Похолодало, выпал снег и покрыл все поле. Снег был белый-белый, непривычный для Бабагельды, но его чистота по-

сле грязи осенних дорог и полей радовала ребят.

После швартовки батальон получил приказ перерезать дорогу в пяти километрах от аэродрома.

Бабагельды было нелегко наравне со всем бегать на лыжах. Как только выпал снег, с ним и его земляками, которые прежде видели лыжи только в кино, да читали о них в книгах, провели тренировки, и все равно этого оказалось мало. Сейчас, когда батальон на всех парах летел к своей цели, он здорово отставал. Болели руки, ноги, все время хотелось снять лыжи и бегом догнать своих, но сделать этого он не мог и, изо всех сил налегая на палки, догонял товарищей. Сейчас всем хотелось, как можно скорее выйти на позиции и занять оборону. От этого зависела оценка их воинского мастерства. От ребят, бегущих без остановки вперед, исходил легкий парок, брови и волосы покрылись инеем. Чуть впереди Бабагельды легко скользил сержант Фролов. Он оборачивался то и дело назад, взглядом спрашивал: “Успеваешь?”. “Держусь», – так же глазами отвечал Бабагельды.

– Молодец, десантник! – подбадривая, крикнул Фролов.

В конце колонны замыкающим шел лейтенант Буйнов. Когда капитан Трегубов передал по колонне приказ: “Внимание, воздух!», рота уже втянулась в лес и успела спрятаться под деревьями, не давая возможности противнику обнаружить их с воздуха.

Когда раздалась команда “Отбой!», Бабагельды глазами поискал Фролова и увидел, что он держит в руках сломан-

ную пополам лыжу и жалобно смотрит по сторонам.

– Ничего, земля мерзлая, – успокоили его ребята, – добежишь и на одной, снег крепкий, выдержит, не провалишься!

После десятиминутного перерыва рота снова двинулась вперед.

* * *

Первый батальон приехал на аэродром, когда два других уже были на поле. Солдаты стояли одетыми с парашютами и курили в ожидании самолетов. Слышался вдалеке гул нескольких моторов. Ночная тишина исчезала, казалось, что даже воздух вибрировал. Бабагельды только успел найти в машине свой парашют, как раздалась команда капитана Трегубова: “Вынуть парашюты из чехлов!» – Это значило, что надо вынуть парашюты из сумок, сложить их и закрепить запасные парашюты. Выложенные парашюты на брезентовых подстилках, расстеленные в длину, вначале с фонарями в руках обошли и осмотрели капитан Трегубов и лейтенант Буйнов, а потом офицеры парашютно-десантной подготовки. На этот раз проверка длилась недолго, все оказалось в порядке, и роте разрешили построиться.

Только сейчас появилась возможность спокойно оглядеться и закурить.

Бабагельды, увидев рядом с собой закурившего Чашина, похлопал его по плечу.

– Я сделаю пару затяжек?..

– Ты третий...

– А кто второй?

– Кто же еще, кроме Андурсова-первого.

– Но ведь он тебя пока не видел.

– А разве ты его не знаешь? Учует запах дыма и скажет, что раньше тебя занимал очередь.

Андурсов, разговаривающий в это время с Луговкиным, услышав свою фамилию, обернулся:

– Обо мне сплетничаете?

– Ага.

– Но ведь когда куришь чужие, всегда вкуснее, – сказал он, смеясь.

Зато Андурсов-второй шутки не понял. Он косо посмотрел на Чашина, отозвал в сторонку брата и, исподлобья глядя на него, быстро заговорил:

– Толя, из-за тебя я постоянно краснею, ты что не понимаешь, что о тебе говорят? Не проси у них курева и сам не давай. Ведь ты же три курса техникума кончил, а эти цыплята только из-за парты выскочили и смеются над тобой.

– Ты только для этого меня позвал, чтоб мозги вправлять? – спросил Андурсов-первый.

– Мне стыдно, что над тобой смеются, – с жаром говорил Олег, отводя брата подальше от ребят, которые прислушивались к их разговору.

– Пусть, Олежек, тебя это не беспокоит, я сам как-нибудь разберусь.

– Но ведь есть я, есть Голубцов, тот в институте учил-

ся, три курса кончил, не чета твоим дружкам, – не отступал Олег.

– Но не умнее их, – раздраженно ответил Толя и собрался уходить.

– Постой. Я тебе ведь только хорошего желаю.

– Олег, прекрати этот разговор, пусть твой Голубцов хоть академиком будет, мне все равно. Я у него никогда и ничего не попрошу.

– Толя, помнишь, мама учила нас общаться с хорошими людьми? А мне не нравятся твои дружки. Они только и знают, что хохочут друг над другом. ведь ничего смешного нет, а они заливаются... Как глупые дети, ведь это армия и люди здесь становятся взрослыми, – говорил Олег, пытаюсь убедить брата.

– А ты не трогай моих друзей! – запальчиво крикнул брату Андурсов-первый и пошел к ребятам.

– Тогда я все маме напишу, – решил припугнуть брата Олег.

– Пиши, только оставь меня в покое! – крикнул Толя. – И друзей моих оставь в покое. Они тебе не по зубам, – и отошел в сторону.

Началась посадка на самолеты и мысли всех сконцентрировались на прыжках. Бабагельды пока шел к самолету, вспомнил, как во время прошлых прыжков, когда он приготовился прыгнуть и стоял у люка, ему показалось, что летящие внизу его товарищи похожи на клин журавлей, улетаю-

щих в теплые края, а через несколько секунд парашют раскрылся, как огромный белый цветок, а потом рос в небе и становился похожим на купол белой туркменской кибитки...

Офицеры знали, что десантники всегда ждут, когда начнутся прыжки. Ребятам уже надоело ждать и спрашивать офицеров о предстоящих прыжках: «Скоро забудем, что десантники», – говорили они между собой. Офицеры знали, что после нескольких прыжков это уже становится потребностью и понимали нетерпение своих солдат.

В самолете лейтенант Буйнов проверил крепление колец к специальному тросу. Внутри было тепло, самолет гудел и чуть подрагивал от нетерпения подняться в воздух. Уставшие от ожидания на ветру ребята задремали...

Самолет взлетел и набирал высоту. Звук сирены снова поднял всех на ноги.

Сильный ветер ворвался в самолет из открытого, как пасть кита, хвостового люка. Первым в проем прыгнул курносый капитан, а за ним с равными промежутками десантники.

Бабагельды, когда настала его очередь, тоже пробежал по самолету и бросился в небесную пустоту. И опять перед ним была та же картина: подхваченные мощным потоком воздуха его товарищи неслись вниз, к земле, как стая птиц. Он стал считать: сто один, сто два... сто пять и дернул кольцо. Отрывающийся аппарат громко щелкнул, сработал четко. Парашют трянуло, и он стал наполняться воздухом. Теперь надо было определить направление ветра, повернуться к нему

спиной и спускаться вниз. Холодный воздух облизывал лицо шершавым языком. Бабагельды услышал, как кто-то в воздухе закричал «Урра!»». Его тоже охватило то непередаваемое чувство парения и счастья, которое бывает только в воздухе, что он, не удержавшись, что было сил закричал: «Ура-а-а».

На земле, собирая парашют, Луговкин видел, как наполненный воздухом парашют тащит по земле запутавшегося в стропах десантника: «Вот балда, не подтянул нижнюю стропу!» и, бросив свой парашют, побежал на помощь товарищу.

– Ты что, первый раз прыгаешь, хочешь шею себе сломать! – закричал он, не узнав парня с парашютом. Но когда вытащил его из-под купола, увидел улыбающегося Бахтиярова, который давно ходил ниже травы и тише воды.

– Это ты?! – радостно закричал Луговкин.

– Да, я.

– Ну, молодец! Видишь, как здорово у тебя получилось.

– Я прыгнул, правда?! – словно самому себе повторял Бахтияров.

– Поздравляю, десантник! – Луговкин протянул ему руку. Но возбужденный от радости Бахтияров подпрыгнул и, крепко обняв Луговкина, поцеловал.

– Слушай, так это ты «Ура!» кричал, – спросил Луговкин.

– Я, и еще кто-то рядом.

Все от души радовались, что Бахтияров, наконец, смог прыгнуть вместе со всеми. Как имениник, получивший неожиданный подарок, он целый день ходил в отличном на-

строении. Теперь и он был равным среди “воздушных» братьев.

* * *

Глухой ночью капитан Трегубов остановил роту в лесу и разрешил сделать привал. Солдаты вот уже два дня шли на лыжах и сильно устали. Ноги гудели, у многих руки были в мозолях от лыжных палок, особенно у тех, кто впервые так долго шел на лыжах. Возможность отдохнуть прибавила сил, и ребята стали готовить валежник для ночлега.

Бабагельды завернулся в плащ-палатку и лег между Андурсовым и Чашиным. Он уснул очень быстро и как будто провалился в черную и тягучую темноту, снов не было, да они и не успели бы присниться ему, потому что буквально через час его отыскал среди спящих дневальный и разбудил. Открыв глаза, он увидел склонившегося над ним Зенова, который смотрел виноватыми глазами. Вспомнил, что должен заступать на дежурство.

Зенов, укладывая свой автомат рядом с другими, предупредил:

– Через час ты должен разбудить Голубцова. Потом, не зная, где ему прилечь спросил: “Может, мне на твоё место лечь?”

– Ложись, – хриплым со сна голосом ответил Бабагельды.

– Да нет, я не буду спать на твоём месте, а то вернешься, и мне придется вставать, – отказался Зенов, вспомнив, что через час его могут разбудить.

– Да спи ты спокойно, Зен, я найду себе место.

– А, ну тогда другое дело. Кто рядом с тобой?

– Андурсов-первый и Чашин.

– Хорошо. Тогда я погас, – и Зенов с удовольствием завернулся в плащ-палатку, предвкушая сон.

Повесив автомат через плечо, Бабагельды походил и даже попрыгал, чтобы прогнать сон. На небе грудились облака, не выпуская из плена луну, а деревья в лесу были похожи на древних рыцарей, ждущих приказа отправиться в дорогу.

Бабагельды подошел к костру, опустился на корточки, погрел руки и подбросил в огонь пару поленьев. Ноги у него начали замерзать, а от костра распространялось тепло и тянуло посидеть рядом с огнем.

Боясь заснуть, он опять пошел на свой пост. Ребята спали. Сейчас они казались Бабагельды братьями, которые спят в родном доме у огня после трудного дня. И теплое чувство к товарищам согревало его.

Рота капитана Трегубова часто проходила мимо сел. И видя дымок, вьющийся над крышами, ребята вспоминали свои дома, где ждали матери и любимые девушки. Бабагельды вспомнил девушку, которая вчера в селе, где они остановились, спросила его:

– Солдат, выпьешь молока? – и, ласково улыбаясь, протянула ему кувшин.

Между деревьями мелькнули три фигуры, которые направлялись в его сторону. Бабагельды встряхнулся, спрятал-

ся за большим деревом.

– Стой, кто идет? – крикнул он.

– Мы.

– Кто мы?

– Янтарь, – ответили условным паролем.

– Проходите.

Когда трое подошли поближе, Бабагельды разглядел, что один из них майор Брунчуков, а второй – капитан, который руководит полковым клубом. Третьего офицера он никогда не видел в полку и решил, что это офицер из дивизии.

– Охраняешь? – спросил Брунчуков, поравнявшись с Бабагельды.

– Так точно, товарищ майор!

– Ты до службы чем занимался? – вдруг спросил майор.

– Я учитель, товарищ майор.

– Ах, да, – вспомнил он. – Это ты написал стихи?

– Да, – удивленно ответил Бабагельды, он не ожидал, что майор может об этом знать.

– Я видел, в штаб приносили журнал, посланный тебе. Там помещена твоя фотография и стихи. Я просил передать тебе, передали?

– Да, товарищ майор, спасибо! – поблагодарил Бабагельды и повел гостей к капитану Трегубову.

* * *

Утром сержант Филев, выскочив из палатки, где расположились командиры, громко крикнул: «Строится!». И бук-

важно за три минуты собрал, построил роту и отрапортовал лейтенанту Буйнову:

– Товарищ лейтенант, рота по вашему заданию построена!

Лейтенант Буйнов подошел к строю и поздоровался с десантниками. Он внимательно разглядывал стоящих перед ним парней. Губы их потрескались от мороза, лица обветрены, и все же они стояли перед ним, готовые немедленно исполнить любой приказ.

– Гвардии рядовой Луговкин, два шага вперед.

– Есть! – кромко ответил Луговкин и, стуча сапогами, вышел вперед.

Бабагельды видел, как он только что кинул в кого-то снежок. И поэтому подумал, что лейтенант сейчас начнет распекать его. Но тот скомандовал “Смирно!» и поздравил Луговкина с девятнадцатилетием.

Ребята радостно заулыбались, а Луговкин покраснел, опустил голову и не знал, что ему делать: благодарить лейтенанта или молча принимать поздравления.

* * *

Получив приказ удержать врага на намеченном рубеже, батальон более двух часов рыл окопы. Рота капитана Трегубова окапывалась на небольшой пустоши. С окопами справились довольно быстро, а с наблюдательным пунктом немного задержались: земля смерзлась в этом месте, да и камней было много, и ребята не успевали к намеченному капитаном сроку.

Сержант Филев осматривал окрестность в бинокль, оставленный ему лейтенантом Буйновым. Глядел он долго и внимательно, словно ждал, что сейчас откуда-нибудь появится враг. Рядом с ним, дымя сигаретой, стоял сержант Фролов.

– Фрол, а что ты будешь делать, если сейчас покажутся танки? – спросил Филев.

– Будь спокоен, не появятся. Если ты ждешь немецкие, то их еще в 1945 году сдали на металлолом, – засмеялся Фролов.

– Ну, а если все же появятся? – приставал Филев.

– Да брось, ты, откуда им взяться?

– Да, с тобой все ясно, Фрол. Стесняешься признаться, что боишься?

– Слушай, ты ко мне не цепляйся, сам не струсь. А если на то пошло, покажутся танки, сам первый удерешь, – громко сказал ему Фролов.

– А ты что будешь в это время делать? – ехидно спросил Филев.

– А я, когда ты будешь удирать, стану сержантом Фроловым и останусь на этом месте, потому что за моей спиной Родина!

– Ну, прямо Панфилов! – засмеялся Филев, хлопнув его по плечу.

Не успели они закончить свою перепалку, как с той стороны, откуда они ждали танки, показалась машина. Это была почтовая машина. В тот день Бабагельды получил в одном

конверте сразу два письма.

Одно из них написала Марина Максимовна.

“Мой дорогой воин! Если помнишь, я писала тебе, что ничего не смогла узнать о твоём дяде. Я очень рада, что ты так упорно ищешь хоть какой-нибудь след о нём. К сожалению, я мало чем могу помочь тебе, ведь я не воевала здесь, а лишь была в составе санитарного батальона. Но в конце концов, появилась небольшая надежда. Лет пять или шесть тому назад сюда приезжал полковник запаса, воевавший в этих краях. Я взяла да и написала ему письмо, объяснив, что нам нужно узнать, и про тебя рассказала ему, попросила помочь. И вот недавно получила от него ответ. Посылаю его тебе, почитай.»

“Уважаемая Марина Максимовна!

Если бы я не ездил в Москву на встречу со своими однопольчанами, я вряд ли смог написать ответ на ваше письмо. Потому что именно ваше письмо заставило меня выступить на этой встрече. И один капитан из нашего полка рассказал мне вот что: он помнит, что в разведгруппе у него был один туркмен. Возвращаясь из разведки с “языком», их обнаружили немцы. Им пришлось оставить группу прикрытия, разведчики успели уйти к своим, а там, где остались ребята, прикрывающие их, началась сильная перестрелка. А через три дня, когда наши перешли через Неман, они увидели трех повешенных на дереве солдат, среди них был тот солдат-туркмен. Его фамилия, кажется, Алтмышев, ефрейтор.

А имени капитан не помнит. Он только помнит, что парень этот был, кажется, из Кушки, но это очень не точно. Много ведь времени прошло с тех пор, мог и забыть. Да, еще одно – все трое похоронены рядом с полком, где служит ваш десантник. Возможно, они были первыми, кого здесь похоронили. Вот все, что я могу вам сообщить. Полковник М.А. Кусочкин.»

На следующий день после возвращения с учений Бабагельды написал в газету “Яш коммунист» письмо о том, что на литовской земле погиб и похоронен туркменский солдат по фамилии Алтмышев.

* * *

В один из весенних дней рота старшего лейтенанта Буйнова возвращалась в полк со стрельбища. Не доходя до памятника, послышалась его команда: “Рота...а! Смирно! Равнение на памятник!». Строй замер, сомкнул ряды, солдаты повернули головы на памятник. Бабагельды краем глаза увидел, что возле памятника стоят люди, одетые по-туркменски. Два парня-подростка держали в руках цветы, а женщина, их мать, опустилась на колени и положила голову на могильный камень. “Родственники Алтмышева, – догадался Бабагельды. – Вот и еще один погибший солдат нашел своих родных, а они его», – подумал он и горячая волна обожгла его сердце.

Рота старшего лейтенанта Буйнова, отдав честь и четко отбивая шаг, проходила мимо братской могилы.

Перевод Л.Васильевой. 1988 г.

НОВЕЛЛЫ

СТАРИК

Когда Курбан-мерген выехал из селения, еще не рассвело. Лишь на востоке, вдали, светлело неторопливо, алело. Ишак трусил понемногу, и Курбан сам не знал, то ли дремлет пока, то ли уже проснулся.

Лишь выехав в знакомую долину, он почувствовал, что все, наконец, – проснулся. Утро было довольно свежим, и Курбан с удовольствием запахнул полы верблюжьего халата, покрепче подпоясался... Звуки аула уже почти исчезли. Лишь редко ему слышался крик ишака, то будто собачий лай, то утреннее пение петуха. А может это только казалось?.. Когда же старый Мерген отъехал еще немного, исчезли и эти, словно бы кажущиеся, звуки.

В сером рассветном воздухе трудно было что-то как следует разобрать, но Курбан и так знал, что уже почти доехал до того места, которое называется Енгезли: он чувствовал знакомые запахи. И только теперь, услышав их, по-настоящему понял, как соскучился по пустыне... Еще немного развиднелось. Курбан оглядывался по сторонам, с особой такой, стариковской внимательностью.

Два года он собирался поохотиться в пустыне. И... не мог собраться. Его все не отпускал тот мальчишка в белой руба-

хе, в черных туркменских штанах и расшитой узорами тубетейке... Да, он приходил к старику всегда в одном и том же одеянии. Бывали дни, он не отставал от мергена ни на шаг. Ходил, как ласковый ягненок ходит за маткой.

Курбан ждал этого мальчишку много лет. Часто думал о нем. Ему казалось, что мальчишка должен быть из его древнего рода, и непременно – из жителей пустыни. И вырос он среди саксауловых зарослей...

Иногда из дальней памяти всплывали мысли его детства. И эти мысли старик отдавал мальчишке... Да, он не сомневался: мальчишка думает так же! Например, вот: «Отчего пустыня такая горячая?». И отвечал сам себе: Наверное, кто-то развел в ней большущий костер!».

Справа от себя, но неведомо где, старик услышал звонкую чистую песню. Попробовал приглядеться... да разве увидишь! Это пел жаворонок в утреннем небе...

Путь старику предстоял неблизкий, и он поторапливал своего ишака: поскорее хотелось начать охоту. Но не здесь, конечно. Он не любил охотиться на авось. Никогда этим не занимался. И шел в пустыню только когда наверняка знал, что убьет зверя.

Вот и сейчас ему не надо было гадать. Погода сама подсказывала, где сейчас может быть его добыча. Он слишком хорошо знал весь мир, именуемый пустыня, и всех его жителей – больших и маленьких, и все растения. И он любил этот мир. А иначе, сказал он мальчишке, никогда не станешь

хорошим охотником.

Итак, ему предстоял дальний путь... А ведь он помнил времена, когда можно было отлично поохотиться, едва выехав из селения. Теперь уж все стало не то. Джейраны напуганы, и дети их напуганы, и дети их детей, которые только еще родятся когда-то, тоже напуганы уже. Все они очень хорошо знают, чего можно ждать от человека, и стараются держаться подальше, там, куда добираются немногие, но куда решил добраться старик...

Потом он вспомнил и совсем старое. Тот день ему вспомнился, когда отец впервые взял его на охоту.

Именно тогда он увидел, как люди стреляют джейранов без счета и совести. Рогатые головы с закрытыми глазами валялись на песке здесь и там.

– Что вы делаете? – говорил охотникам отец. – Посадите вы на цепь свою жадность!

Курбан хоть и был маленьким, понял тогда, что такое жестокость и алчность. Но прошли годы, и все получилось, как в пословице: ох, ненавидит змея мяту, а мята растет у ее норы... Во время войны Курбана поставили во главе специальной бригады по заготовке джейраньего мяса. В иные дни он и сам забывал, сколько их застрелил. Подойдет, засыпет песком, чтобы от мух оберечь, оставит отметку и дальше. Вот так он и любовался пустыней через прицел своего ружья.

Сейчас это все казалось старику далеким и нереальным, как плохой сон...

Но иногда вдруг его одолевала охотничья гордость, и он начинал рассказывать мальчишке о тех временах, когда к концу дня терял счет убитым джейранам. И видел, что мальчишка не может в это поверить. Да и в самом деле: как в это поверить, это надо увидеть, и тогда старик жалел, что те времена прошли безвозвратно...

Он ехал и ехал по долине, заросшей дикою розой. А над миром все ярче распушалось утро. Далеко было видно, как на умершей от зноя траве блестит роса. Казалось, сейчас старому мергену предстоит плыть по бескрайнему и очень спокойному озеру. Старик посмотрел ишаку под ноги, на эту вымершую теперь траву, и убедился, и порадовался, что весна в нынешнем году была щедрая: «Хороший дождь был!».

Остановился и, закрывшись ладонью от солнца, стал смотреть на расстилающуюся перед ним долину. Желтый ее замерзший ковер, еще раскрашенный яркими цветами, убегал далеко-далеко, до самого Хиндигуша, синевшего и темневшего на горизонте.

Учуяв человека, суслики со всех ног бросались к норам. Но ничего страшного не происходило, и потихоньку они высовывали головы наружу, опять начинали пересвистывать о чем-то своем.

Старик много всего знал о сусликах. Сейчас, глядя на них, он мог бы рассказать, что зверьки будут делать дальше... По утрам они любили погреться у своих нор. Если поблизости не пахнет шакалом или кем,нибудь еще страшным, они мо-

гут часами сидеть на солнышке, пока до костей не прогреют свои толстые бока! А то бывает, отправляются к соседям. Залезают в норы, выбираются наверх, и, конечно, осыпают много песку. Потом долго, старательно выгребают его.

Иногда собираются в небольшие компании и устраивают игры. Потом вдруг ныряют в свои подземные дома и нету: из старого входа вылазят, а проделывают новый, выбираются наверх и сидят присмиревшие, словно усталые – как жены, что ожидают с работы своих мужей.

Старик собрал немного дров, вскипятил чай и теперь пил его, наблюдая за сусликами, за их молчаливыми разговорами... Один из них пронесся с какой-то деревяшкой в зубах. Остановился на миг, глянул круглыми бусинками глаз – и дальше. Не от испуга, а просто по делам. Пропал за пригорком...

Раньше старик никогда особенно не присматривался к сусликам. Пожалуй, даже относился с некоторым презрением к их бесполезной жизни. Теперь было по-другому, потому что еще выходя из дома, он знал, что идет на охоту в последний раз. И он от души пожелал этому незнакомому зверю всякого добра... А какого – и сам, наверное, не мог бы толком сказать. Может быть, просто чтоб они всегда жили, чтоб во все времена продолжалось их племя... Потом он подумал, что эти мысли у него не настоящие, а просто от старости.

Потом он вдруг подумал о змеях... Ему было неприятно даже само слово, само их имя – змея. И сразу вспомнил свои

встречи с ними...

Тогда ему было лет пять или шесть... да, лет пять или шесть.

Однажды, пожевав наскоро хлеба, он вылетел из дому на поиски ребят... Вдруг его остановил старик:

– Эй, мальчик. Ты ведь сын мергена? – Он молча кивнул в ответ, ожидая, что будут дальше.

– И ты, должно быть, смел, сынок?

– Я смел! – ответил он, не задумываясь.

– Тогда погладь ее по голове. – Сказав это, старик вынул из-за пазухи змею и сунул ее Курбану чуть ли не прямо в лицо... Впервые тогда он понял, как отвратительны змеи, как он ненавидит их. И невольно отпрянул назад.

А его настоящая встреча со змеей произошла много позже – когда он стал взрослым, когда казалось, что большая часть жизни уже позади... Он в ту пору охранял Бадхызский заповедник.

День был летний и очень жаркий. Курбан слез с коня, вскипятил чай. Летом он обычно пил чай в зарослях саксаула. Потом вешал халат на ветки, ложился в тени и спал. А немного отдохнув, продолжал осматривать свой участок.

Вот и тогда он пожарил мяса, поел, попил и, выбрав тень подлиннее, прилег...

Проснувшись, он почувствовал на себе какую-то тяжесть. Он не вздрогнул, не испугался, а скорее испытал любопытство. Тихо поднял голову и на своей груди, именно там, где

билось его сердце, увидел большую змею, которая лежала, свернувшись в клубок.

Курбан и раньше слышал рассказы, которые скорее казались ему легендами – что будто змеи любят слушать, как бьется человеческое сердце... Теперь словно бы кто-то мстил ему за это неверие.

Тихо-тихо Курбан опустил голову, прикрыл глаза. Он надеялся обмануть змею, чтобы, не дай бог, она не заметила, что человек проснулся.

Но обмануть змею Курбан не смог. Палило солнце, а его до костей пронизывал холод, его трясло. Под рубахой медленно ползли капли холодного пота.

Змея сразу услышала, что со спокойным сердцем человека что-то случилось. И это что-то не понравилось ей. Она тихо двинулась, разворачивая свои кольца, поползла с груди, опустила сперва на песок голову, а потом соскользнула вся... Исчезла куда-то...

Это было теперь тоже очень давнее. Но Курбан-мерген все помнил так, словно лишь секунду назад. Он и сейчас мог бы положить руку точно на то место, где лежала змея... мог бы, но редко делал это...

Потом он вспомнил день, когда убил свою первую змею. Он вспоминал это и радовался!

Тогда они с приятелем долго играли с убитой змеей, подбрасывали ее вверх... Есть такая игра, а вернее примета: если дохлая змея падает спиной вверх, то будет холодно, и сча-

стье покинет тебя, а если брюхом вверх, то будет сытно.

Один старый человек сказал им тогда, что нельзя так обращаться с мертвой змеей. Однако они не поверили ему и веселились, все подсчитывая, кому же будет больше везения в жизни...

Когда Курбан-мерген добрался до того места, где, он считал, должны ему попасться джейраны, началась уже настоящая жара... Сегодня кто-то развел в пустыне особенно большой костер.

Старик вынул из переметного мешка, хурджуна, самодельное ружье, затем подбросил в воздух несколько горстей песка и пыли, чтобы узнать, с какой стороны ветер. Для человека он, может, и не заметен, но до джейранов легко донесет запах притаившегося мергена.

Время от времени старик прикладывал к глазам бинокль, разглядывая далекие суровые склоны Хиндигуша. Джейраны должны были прийти с гор. Весной они пасутся в низинах. Но когда в Бадхызе весна кончается, а вместе с весной кончается и трава, джейраны уходят в горы. Затем холод и снег отгоняют их обратно в пески.

Сейчас уже наступило то время, когда джейраны паслись в горах. Однако на водопой им все равно надо было идти к нижнему источнику. Все это старый мерген знал наверняка!

Он вскинул ружье, попробовал прицелиться, прикрыв один глаз. Рядом старик опять почувствовал мальчишку в белой рубахе и в душе сказал ему:

– Если как следует умеешь стрелять, то самое лучшее ружье – именно самодельное. У моего, например, только один недостаток: оно уж теперь стало чуть старовато. Почти ведь всю жизнь со мной...

Так он говорил мальчишке, продолжая целиться, оглядывать пустыню через прицел. Потом подумал, что еще не сказал всего, что необходимо.

– А с новым ружьем, запомни, надо быть осторожным. Не дай бог, – конечно, а все-таки знай, что первые семь лет оно может принести боль своему хозяину. Я не испытывал этого, но люди говорят, что...

И замер. То ли чутье стало его подводить, то ли он неверно определил ветер, то ли джейраны стали теперь иные, но в той стороне, откуда он совсем не ждал, Курбан-мерген увидел над песчаным гребнем рога. “Это самец стоит впереди стада». И замер в ожидании с поднятым ружьем.

Джейраны все не показывались.

Но и ружье в руках старика не дрожало...

“Неужели он увидел меня? Или учуял запах?.. Неужели они уйдут?»

Старый мерген очень старался быть терпеливым и спокойным. Однако он знал, что руки не могут слишком долго держать ружье прицеленно и твердо. И глаза через несколько мгновений не будут видеть так зорко, как нужно... Тогда старик опустил мушку чуть под виднеющиеся рога. Он был уверен, что пуля придется джейрану прямо в грудь.

Ударил выстрел. Волнующий запах пороха сейчас окутал все вокруг. А через некоторое время эхо заговорило в горах. Там выстрел прозвучал чуть слабее, но так же грозно!

– Пойдем, сынок, ты его сейчас увидишь... – Курбан-мерген опять вспомнил о мальчишке. – Ты увидишь, как я застрелил его.

Старик не сомневался, что мальчишка был рядом и когда он целился, и когда запах пороха так славно ударил в ноздри, и когда эхо откликнулось им с вершин Хиндигуша...

Но взойдя на холм, за который прятались джейраны, старик сразу понял свою ошибку. Еще до конца не веря себе, он некоторое время осматривал песок – старался увидеть следы их копыт. Но не было следов. Лишь стоял голый саксаул, пробитый его пулей... Корявые ветви дерева старик принял за рога!

Он отбросил ружье, сидел, словно обманутый ребенок. Ему было стыдно перед мальчишкой, который, конечно же, прибежал за ним следом и теперь...

Уж, наверное, лет десять Курбан-мерген не делал ни одного пустого выстрела. И вдруг сегодня, когда он пришел сюда с внуком... Ему было странно и горько, что пустыня сыграла с ним эту плохую шутку. Ведь этот выстрел, конечно, предупредил джейранов, и теперь они уж не явятся!

– Неужели ты ничего не поняла?.. – говорил старый мерген пустыне. – Ведь мы с тобой видимся... да вернее всего, что в последний раз! А мальчишка должен был продол-

жить нашу дружбу... Как же ты не поняла этого?! Мы вместе должны были накормить его свежим мясом. Сказать: ступай, это теперь твоя охота... Как же ты могла не понять?..

Написанные на бумаге эти слова, быть может, выглядят чуть странновато. Однако, в его душе они звучали именно так, как и положено словам звучать в душе человека: серьезно и немного грустно.

Курбан-мерген всегда был гостеприимен, как того и требует обычай. Но близких друзей за всю жизнь завести ему не удалось. Очень скоро становились скучны и компании, так называемые «дружеские встречи». От этого Курбан чувствовал иногда свою ущемленность жизнью и даже ущербность.

В некоторые моменты его длинной жизни Курбан-мергену начинало казаться, что настоящими друзьями могут быть только родные, а лучше всего – дети... И опять выходило, что он ошибся. Ни с кем Курбан не мог быть до конца откровенен – вечно ему мешали неловкость и скованность...

И только уже в зрелом возрасте, когда ему было за тридцать, Курбан понял, что у него есть настоящий друг. Причем он был с самого детства, с самого рождения. Поняв это, Курбан обрадовался и успокоился... Другом его была пустыня...

Мимо ползла черепаха – отвлекала старого мергена. Он стал думать о черепахах.

В Бадхызе черепахи появились весной – вместе с зеленой травой и цветами. А потом пропали, как трава и цветы. Но уже весной о черепаху можно споткнуться буквально на каж-

дом шагу. Можно было увидеть, как они подставляют свои костяные спины под дождик.

В конце весны черепахи бежали из этих мест. Словно знали, какая здесь скоро начнется жара. Пять месяцев солнце и солнце. А облако на небе – разве что приснится во сне...

Некоторое время он еще смотрел на черепаху, затем поднял ружье, снял хурджун и пошел к источнику, а ишак остался стоять, привязанный к тому самому несчастливому саксаулу.

Родник выбивался из-под земли у самого подножья гор. В Бадхызе все звали его Инжирли. Природа устроила здесь небольшое озерцо. Струясь, вода убегала из него в долину. а вокруг росли низкорослые деревья горного инжира... Инжирли...

Воздух у воды влажен, а во время жары, поверьте, это совсем не так хорошо, кажется, поэтому животные не любили оставаться здесь...

Старик дважды ополоснул тунче, наполнил его водой и поставил на огонь. Сунул руку в хурджун за лепешкой – рука тронула что-то плоское, гладкое... Он сразу догадался что это: банка с жареным мясом – каурмой.

Настроение стало совсем скверным! Не помогли ни отдых, ни мысли о черепахах. Жена, видно, чувствовала: не будут ему удачи. Вот и положила в дорогу мяса... Жена знала Курбана лучше, чем он знал себя. Выходит, что так!

Но невольно, когда он подумал о жене, его лицо потихонь-

ку разгладилось, а душе стало легче. Ему вспомнилось давнее-давнее... самое счастье!

Курбану очень хотелось показать молодой жене пустыню. И хотелось, наконец, побыть с ней наедине – они поженились совсем недавно. Но увезти жену все не было удобного случая, а просто так неудобно перед родителями.

И вдруг отец сам сказал, что надо бы свезти невестку к родным, в другое селение – чтобы она погостила там немного, как того требуют обычаи... Курбан только того и ждал! Он сразу придумал сказать отцу, будто потом отправится на охоту – чтобы выгадать несколько свободных дней.

Вначале, когда они выехали из села, Курбан все ехал молча, хотя ему очень хотелось сказать ей что-нибудь ласковое. Но сдерживал себя – знал, что за ними могут смотреть. Когда же они отъехали немного, он вдруг повернул в сторону холмов. Селение родственников было в другой стороне.

– Эх! – сказала жена. – Что люди-то подумают! Нельзя!

Он не стал ее слушать. А скоро стреножил ишака, пустил его пастись. Жену он посадил к себе на коня, и они поскакали. А люди пусть думают, что хотят!

Старик и сейчас хорошо помнил, как она идет по цветущему лугу. И как хорошо было им вместе собирать дрова для костра, а потом пить чай, сидя рядом.

Его сердце помнило, как они купались вдвоем в этом вот озере... хотя погода была вовсе и не жаркая, а довольно сырая... Хорошо, что сейчас никто не мог видеть его, одино-

ко сидящего среди жаркой пустыни со счастливой и задумчивой улыбкой на лице... И вдруг улыбка эта пропала. Теперь старик сидел, закусив губу, словно боялся расплескать остатки своего счастья...

А тогда он отвез жену лишь через три дня. И с тех пор, отправляясь на охоту, всегда делал здесь привал. И мысли его тоже всегда делали привал – в тех мгновениях его жизни.

Солнце жгло все сильнее. Пустыня замерла. Даже насекомые, даже закрытые броней жуки попрятались в норы – под кусты, в тень деревьев. И теперь они появятся не раньше, чем солнце потяжелеет и покраснеет, а тени станут длинными и расплывчатыми... Лишь оводы не могли успокоиться, продолжали безжалостно и ненасытно преследовать куланов.

Но время прошло, жара начала спадать. Старик напился чаю и снова поставил тунче на огонь, чтобы выпить еще – если захочется. Потом он поспал немного, потом почистил ружье... Когда старик отправился в обратный путь, стало прохладнее и дышалось ему легче.

Проехав меж холмами, Курбан опять оказался в долине и здесь вынул из хурджуна ружье, положил его перед собой поперек седла... Иногда останавливался, прислушивался – будто хотел узнать, о чем это тихим шёпотом переговариваются травы... В здешних местах обычно много фазанов, ихто и хотел услышать старый мерген.

Но сегодня ему не попадалось буквально ни одной птицы. Как сквозь землю все провалились!

На фазанов он охотился редко – лишь когда не шла настоящая охота на джейранов... Сейчас он был рад и фазану: ему надо было показать мальчишке хоть что-то. После двух-трех хороших выстрелов он сказал мальчишке несколько слов – и добрых, и строгих... И отдал бы ружье.

И навсегда распрощался б с охотой...

“Может, я вышел из дому в несчастливый день?» – Медленно и внимательно он опять пересчитал дни... Да нет, счет был в его пользу!

“Да и старые люди говорят, что в среду любое дело удается, – подумал он. – Значит, я вышел из дому в самый раз». И он успокоился, как-то позабыв, что и сам уже старый человек... И сунул ружье в хурджун, и погнал ишака дальше. Его теперь не интересовали фазаны, которые нет-нет да и пролетали мимо. Он понял, что ему ни в кого уже не хочется больше стрелять...

С наступлением вечера задул ветерок. Он принес далекие запахи трав. Потом приполз запах полыни... слышался крик совы.

Стемнело. Саксаулы стали сейчас похожи на многоруких и горбатых чудовищ... А зато днем они – словно молодые женщины в зеленых покрывалах... Это прежде случалось с ним не раз: посмотрит на саксаул – вспомнит о жене. И бросит все, заторопится домой!

Сейчас он остановил ишака, развел огонь, снова поставил тунче. Бросил в пиалу остатки каурмы, сделал чай-чорбу, по-

ел... На огонь со всех сторон стали ползти насекомые. Но он привык к ним, до времени не обращал на них внимания. Ящерицы подходили к костру совсем близко, а варан лежал поодаль и казался ненастоящим...

Напившись чаю, он сразу погасил костер, засыпал угли песком: держать ночью огонь – это собрать вокруг себя всех насекомых пустыни...

Уже в темноте Курбан положил голову на землю, но долго не мог заснуть... Было душно. Где-то рядом филин орал грубым голосом. Сон окончательно пропал. Старик слишком хорошо знал эту птицу: скоро филин не перестанет, будет кричать и кричать. А другие птицы прилетят и усядутся рядом и будут смотреть в его горящие глаза. И лишь на рассвете филин исчезнет...

Еще некоторое время старик лежал, глядя на звезды, но потом сел, потер занемевшие ноги – все равно ничего тут не вылежишь! Он решил поехать туда, где хоть немного было бы ветерка.

Уже глубокой ночью он добрался до какой-то пыльной белесой равнины и остановил ишака. Подумал было развести костер и попить чаю... Да понял: не сделать ему этого – уж слишком устал... Бросил в рот кусок мяса и некоторое время просто сидел на земле. С трудом распрямил спину, глотнул из кувшина. Вода была теплой... как кровь. Сполоснул рот. Лег и быстро заснул.

И приснился старому Курбану жуткий сон!

Пришла женщина к нему, опустилась на корточки, протянула руки: “Разве ты не знаешь меня? Я твоя жена». И улыбнулась... Не было у нее ни волос, ни бровей. А глаза огромные, белые.

Старик хотел отстраниться, не смог... И проснулся.

Обрадовался, поняв, что это лишь сон, забормотал какую-то молитву. Потом долго сидел с широко открытыми глазами. Ему все казалось: стоит закрыть глаза – увидит ее опять.

Старик хотел взять табакерку с насом... и увидел свое ружье. Вздрогнул от неожиданности, сразу забыв про нас... Только теперь он понял, что это за белесая равнина кругом. Это были солончаки. “Я ведь улегся на соли. С ума сошел!».

А соль уже поглотила большую часть ружья и теперь затягивала то, что осталось. Старик ведь не мог знать, что соль заглатывает все предметы, которые попадают к ней. Заглатывает и превращает в самое себя...

– Отдай, – тихо сказал он пустынной соли и протянул руку к ружью. – Это я... внуку хочу...

И тут он вспомнил вдруг, что зря претворялся перед собой, нет рядом мальчишки в черных туркменских штанах и белой рубашке. Его и на свете нет! Невестка опять родила девочку. И старому мергену вряд ли дождаться внука.

Старик опустился на землю, и лицо его было таким, словно он едва сдерживал боль.

Прошло много времени прежде чем он сумел встать. Опу-

стил руку в карман халата... Круглые пули, похожие на глиняные шарики, раскатились по белой земле.

Перевод С.Иванова 1973 год

ПЕГАЯ

I

У чабана уже было четыре собаки, но за этим щенком он долго ходил к соседу. Все выпрашивал и выпрашивал, пока не уговорил сменить щенка на ягненка. А щенок был тогда чуть крупнее крысенка. От своих сестер и братьев собачонка отличалась белым пятном на левом боку, похожим на заплатку, за что и была дана ей кличка Алабай, то есть Пегая.

О матери этого щенка в округе ходили легенды. Пастухи утверждали, что эта собака понятливей, чем иной человек. Когда ее хозяин умер, она одна несколько дней стерегла стадо, не скормив ни одного барана волкам и беркутам. Но однажды ночью на стадо напали волки, и собаку в суматохе застрелил новичок-подпасок. Осиротевшие щенки достались новым хозяевам совсем тщедушными.

Однако через два-три месяца Алабай выровнялась, обещающая статью и силой быть в свою знаменитую мать.

С утра до вечера Алабай гонялась за сусликами, стоило им вылезти из нор на весеннее солнышко. В пылу погони она даже расшибла нос о камень, за которым скрылся, юркнув в норку, суслик. Еще Алабай любила прыгать вокруг брыкливых ягнят да гонять их, а потом, присев на задние лапы, смотреть, как забавно болтаются у них мягкие ушки.

Когда Алабай родилась, у нее тоже были и хвостик, и мох-

натые ушки. Но она уже не помнила об этом. Чабан, мечтавший сделать из Алабай настоящего пса-овцепаса, по древнему чабанскому обычаю обрезал у щенка хвост и уши. Следуя тому же обычаю, уши испекли и дали Алабай их съесть, пожелав ей стать храброй и верной собакой.

Обычай этот не зря родился в пустыне. Если на стадо напали волки, собака может вцепиться в ухо, а тому будет не за что ухватиться.

Сарыбай, главный пес при стаде нового хозяина, встретил Алабай неприветливо. Но не трогал ее, то ли остерегался пастуха, то ли считал недостойным связываться с такой мелкотой. Так было до поры до времени...

Чабан, как обычно, слил в большую собачью миску остатки супа. Взрослые собаки, которых опекал Сарыбай, тут же жадно урча принялись за обед. Сарыбай, со свойственной ему степенностью, пообедав, отошел в сторону (он не любил смешиваться с толпой долго) и прилег, положив голову на лапы. Сквозь прищуренные веки он наблюдал за суетой.

Алабай в это время тщетно пыталась играть со степной черепашкой. Она подбежала к ней вприпрыжку, весело виляя обрубком хвоста, осторожно трогала лапой, тыкала носом. Но все было напрасно.

Черепашка не хотела играть и пряталась в панцирь.

Наконец, Алабай это надоело. Поняв, что игра не получится и, бросив на черепашку последний взгляд, она оставила ее в покое. Чем бы заняться? Тут Алабай увидела сгру-

дившихся у миски собак и бегом припустилась к ним. По пути она заметила, что Сарыбай злобно оскалил зубы и услышала, как он предупреждающе зарычал. Но по щенячьему легкомыслию Алабай не придавала этому значения и сходу сунула морду в миску с супом. Попробовать-то суп она успела, а получить удовольствие от еды ей не удалось. Сарыбай, которого беззастенчивый щенок привел в ярость, мгновенно вскочил и одним прыжком достал Алабай. Не погрози чабан своей палкой, неизвестно чем кончился бы конфликт.

Палка в руках хозяина и его резкий окрик заставили Сарыбая выпустить жертву. Он угрюмо понурился и с обиженным видом отошел в сторону. Другие собаки тоже разбежались. А Алабай, притихнув, наблюдала за тем, что происходило вокруг. За хозяином, занятым стряпней, за Сарыбаем, который ушел в дальний конец отары, за ишаком, у которого седло сползло со спины на живот. Ишак с шумом втягивал ноздрями воздух и громко вопил... Не найдя в этих привычных картинах ничего примечательного, Алабай снова сунула свой ободранный в трепке нос в миску с объедками.

«Кажется, она решительностью и вправду пойдет в мать», – думал чабан, краем глаза следя за собакой. Расщедрившись, он кончиком своего огромного ножа подцепил из кипящего казана кость с мясом и протянул Алабай.

II

С того весеннего дня Алабай решила держаться в одиночку, а чабан при кормежке стал выделять ей особую долю.

Суслики были забыты. Теперь Алабай выслеживала лис, которых на Бадхызских холмах немало, и училась следить за стадом.

Обычно овцы мерно растекались по склону. Собаки подгоняли отстающих или отбившихся в сторону, а когда все было спокойно, лениво лежали в траве, выбрав удобные точки обзора.

Как-то утром Алабай, набегавшись за лисами, дремала, вполглаза наблюдая за овцами. Внезапно ровный овал стада разом лопнул, растекся, овцы заметались, заблеяли. Алабай насторожилась, вскочила. На расстоянии голоса от нее в густой траве мелькнул острый хребет цвета золы. Залаяли собаки. Пастух поднял палку и покрутил ею над головой – дал им команду «к бою».

Резкими прыжками Алабай обогнала трусившего впереди Сарыбая. Тот счел, что стыдно отставать от щенка и тоже прибавил скорость.

Собаки почти догнали огромного зверя, когда их рычанье и лай заставили врага резко обернуться и броситься на преследующих.

Сарыбай метнул в сторону. Остальные собаки рассыпались по склону, как воробьиная стая. Алабай оказалась один на один с противником. Без раздумий она оттолкнулась по сильнее задними лапами и бросилась вперед на это огромное, несуразное, невиданное прежде чудовище... Сарыбай опомнился и тоже кинулся на врага.

Подбежавший чабан выстрелом отогнал непрошеного гостя.

Но Алабай не могла подняться. Брюхо, которое во время схватки словно обожгло огнем, нестерпимо болело. Собака не знала, что вступила в единоборство с редким в этих местах кабаном.

Чабан осторожно поднял собаку на руки и отнес в стан. По радио он вызвал ветеринара, который зашил Алабай распоротое кабаньим клыком брюхо. Вечером чабан сел на ишака и, осторожно держа на руках собаку, повез ее в село.

III

В селе Алабай уложили в сарайчике на мягкую подстилку. Несколько дней она не в силах была подняться. Когда одолевал голод, собака вяло совала нос в миску с размоченным в молоке хлебом, которую ставила хозяйка. Дни проходили для Алабай не то в полусне, не то в полуяви, она словно вслушивалась в борьбу, происходившую в ее теле.

И еще в этом полусне ею постоянно владело одно желание: видеть хозяина. Но пастух не появлялся после того, как привез ее и оставил в сарайчике.

Каждый раз, услышав шорох камышовой дверцы, Алабай с надеждой поднимала голову. Ей казалось, что стоит появиться хозяину, как рана, которая то ноет, то вспыхивает острой болью, тут же затянется и можно будет вскочить и бежать за ним следом.

Но приходила лишь женщина, которая, поставив на землю миску, сразу же исчезала.

Когда рана начала сама по себе затягиваться, одиночество стало еще сильнее угнетать Алабай. Не зная чем заняться, она слонялась по сарайчику. Перенюхала все, что там валялось и было сложено. Хозяйка заметила, что Алабай разгваливает по сарайчику, и стала оставлять дверь открытой. Выглянув наружу, Алабай увидела много интересного.

На свободе она быстро нашла себе друга. Крохотный, лет

двух-трех, мальчуган каждый день приходил к сарайчику, волоча на веревочке игрушечную машину. В кармане у него было печенье и сахар. Новый друг взбирался на спину Алабай, и они честно делили пополам принесенные малышом сласти.

Но дружба эта началась не сразу. Когда Алабай впервые выбралась из сарайчика и задремала под солнышком, она вдруг почувствовала, что кто-то на нее карабкается. Алабай страшно рассердилась, дернулась в сторону и зарычала для остраски. И тут же увидела испуганно съезжившегося мальчика. Он заплакал, Алабай растерялась и тут же забыла о своем гневе.

На плач ребенка из дома вышел человек. Он подхватил мальчика и как птенца унес его прочь. Вернувшись, он поднял с земли черенок лопаты и, что есть сил, запустил в Алабай. Хорошо, что она успела на лету поймать черенок зубами. И едва увернулась от ноги, обутой в тяжелый ботинок.

Алабай забилась в самый дальний угол сарая. Она поняла, что если причинит мальчику малейшее зло, то ей несдобровать.

Мальчик, однако, оказался незлопамятным и общительным. Прошло немного времени и они подружились. Вначале, увидев ребенка сидящим верхом на собаке, взрослые с опаской хватили его, уносили и старались чем-нибудь отвлечь. Но мальчик, лепеча что-то на своем языке, возвращался вместе с игрушкой, которую ему сунули. Постепенно

взрослые убедились, что малышу не грозит опасность и спокойно оставляли его с собакой.

Приближалось лето. Людей тянуло из дому на прохладу, на воздух. По утрам и вечерам под сень деревьев выносили ковры и кошмы, во дворе ели, пили чай. Взрослые любовались малышом, играли с собакой, гордились его смелостью, смеялись над проказами. А мальчуган не любил, когда к нему пристают, он не отвечал на заигрывания взрослых и упирался, если вмешивались в его игру.

При всей щедрости своего друга Алабай часто оставалась голодной. Сама виновата! Ведь она не желала даже попробовать помидоры и огурцы, которые малыш рассыпал перед ней. Когда мальчик и Алабай уходили, это угощение с удовольствием склевывали бродившие по двору куры. А иногда больших лепешек, которые мальчик выносил из дома, вдоволь хватало на всех. Даже важным полосатым котам, во множестве бродившим по округе.

Алабай так привязалась к мальчику, что спозаранку приходила к порогу и ложилась в ожидании, пока тот выйдет. Мальчик просыпался позднее всех в доме. Иногда из комнат доносился его голосок, а сам он все не появлялся. Лишь когда солнце начинало припекать, малыш, наконец, выходил во двор, волоча за собой на веревочке машину. С этого начинался для Алабай день.

IV

Алабай поняла, что слишком привязалась к мальчику, ко-

гда из песков пришел ее хозяин – чабан. Чабан провел в селе пару дней, потом привязал Алабай за шею веревку, а другой конец прикрепил к седлу своего верблюда.

Все, кто был в доме, вышли проводить их в путь. Мальчик, увидев, что Алабай уводит, заплакал и что-то залепетал. Верблюд размеренно зашагал. Мальчик заплакал еще громче. Его подхватили на руки, унесли.

Остался позади дом, где жил мальчик, а потом и село. Началась выжженная солнцем пустыня. Того, кто осмеливался посмотреть на него в упор, солнце сразу же заставляло опустить глаза. Теплая дорожная пыль мягко расступалась под ношами. Ветерок с вершин холмов еще доносил прохладу.

Когда село скрылось из виду, чабан развязал веревку. И Алабай вспомнила холмы, их запахи и приволье. Она забежала вперед, возвращалась, то внезапно замирала, зачарованно слушая невидимого жаворонка.

И вдруг перед ней словно из-под земли вырос Сарыбай. Алабай остановилась от неожиданности, глядя на него во все глаза. Она напряглась в ожидании – что будет? Но Сарыбай встретил ее ласково: подошел, обнюхал. Алабай ответила ему тем же, только с оттенком почтительности – ведь он был старше, многое перевидал. Вдвоем они наперегонки пустились туда, откуда слышалось позвякивание колокольчика на шее у вожака стада.

Чабан, с опаской наблюдавший за их встречей, понял, что собаки, кажется, поладили. Старый пес заметно одряхлел, но

еще не осознавал этого. Зато Алабай выглядела так, что ясно было – ни перед кем она не спасует.

V

К лету Алабай вымахала в крупного пса и незаметно стала верховодить собаками, которые пасли овец. По ночам она не смыкала глаз, без усталости обходила стадо, лаяла, чтоб все знали – она начеку.

Однажды ночью Алабай учуяла запах волка. Обычно в таких случаях она громким лаем созывала всех собак на бой с врагом. Теперь же она почему-то с наслаждением втягивала воздух. Запах казался ей настолько притягательным, что заставил забыть о стаде. Словно замороженная смутными воспоминаниями, Алабай пошла на этот запах... И остановилась, только увидев перед собой настороженно поднятые волчьи уши.

Это был не совсем обычный волк. Пастухи уже знали его следы: длинные, острые его когти походили на собачьи, что было особенно заметно на сыром песке у водопада. Волк был одинок. Зимой он потерял подругу, попавшую в лапы к тигру.

Обнюхав друг друга, волк и Алабай начали играть и, играя, уходили все дальше и дальше. На восходе солнца они добрались до волчьей норы, и Алабай вслед за волком скрылась в ней.

С этого дня началась для Алабай новая жизнь. Обычно она днем отсыпалась в прохладной норе, а по ночам следова-

ла всюду за волком, выходявшим на охоту. Поначалу, правда, Алабай не решалась подходить к овечьим стадам. Но потом голод оказался сильнее совести, и она стала охотиться вместе с волком, привыкнув до отвала наедаться овечьего мяса.

Когда пришло время Алабай оцнитья, волк стал ходить на охоту один и никогда не возвращался без добычи. Как волчица о волчатах, заботился он о своей подруге.

Алабай привыкала ждать его с охоты у входа в нору. Иногда она засыпала в ожидании и могла проспать до рассвета, если ее не будил какой-нибудь зверь, пробежавший в кустах. Наконец, откуда-то появлялся запыхавшийся волк...

VI

Летом у Алабай родились трое щенков. Едва они подросли, как стали вылезать из норы. Только затолкаешь одного обратно, приходится хватать за загривок другого, – в норе им тесно, хочется на простор. Щенки весь день путались под ногами, наполнив жизнь заботами и хлопотами. Алабай играла с ними, учила, щенки подражали ей, она видела, что они настойчивы и сообразительны.

Вскоре и волк занялся их воспитанием. Учил охотиться – сначала на стервятников, когда они клюют падаль.

Когда волк собрался напасть на стадо, Алабай решила сама вывести волчат на настоящую охоту. Она знала, что волки азартны и жадны – попав в стадо рвут овец, наспех глотают мясо, кто сколько успеет. Если Алабай была с ними, она уме-

ло выбирала место, откуда пастух не ждал нападения, отсекала от стада часть растерявшихся овец и гнала их подальше.

Первый урок прошел для волчат успешно. За ним последовали другие. Но эти семейные набеги не могли продолжаться долго. Пастухи вызвали из села охотников. Их было трое. Они хорошо знали свое дело и быстро взяли след, нашли волчью нору у подножья пологого лысого холма.

С вечера охотники залегли в засаде. Зашло солнце. Тьма сгустилась. Из норы никто не появлялся. Изменился ветер, охотникам пришлось сменить место засады – залечь на подветренной стороне.

Первым показался матерый волк. Он ползком выбрался из норы. Настороженно огляделся, прислушался и, хоть опасности не учуял, не торопился уходить от дома. Семейство поступило также; волчата осторожно выбрались, долго внюхивались, всматривались в обступившую их тьму. Потом все цепочкой двинулись вдоль холма к пескам.

Грянули выстрелы. Волки сгрудились, не понимая, откуда летит огонь, летит гибель. Алабай услышала, как заскулили ее раненые дети, но страх обуял ее, и она рванула прочь, что было сил, куда глаза глядят, лишь бы подальше.

Когда опомнилась и остановилась, была уже далеко до охотников, до волка, до детей...

Одна она долго металась с холма на холм, с ложбины в ложбину.

Весь день Алабай уныло, протяжно выла, звала своих.

Вернуться к норе не хватало духу. Заболели раны, которых она не заметила сторяча, как не заметила, что тянет за собой кровавый след. Она легла на пожухлую траву и стала слизывать кровь. Тело отяжелело, не было сил встать.

Безучастную, израненную ее окружили люди. Алабай видела, как они приближаются. Приподняла голову, но не сделала ни малейшей попытки спастись. Дуло ружья в упор смотрело на нее. И вдруг опустилось. Человек разглядывал Алабай, хмурился, что-то припоминая. Оглянулся, махал рукой, подзывая товарищей.

Подойдя ближе, узнал Алабай и другой. Она же узнала его мгновенно, издали.

Чабан успел остановить уже готовый сорваться выстрел. Как некогда, он поднял Алабай, положил на испуганного ишака и повез в стан.

Крепко, как овцу, связал путами, обматал мешковиной морду, и кончиком ножа выковырял застрявшие в теле дробины. Раскаленной до красна железкой прижег раны. И снова Алабай лежала обессиленная, едва поднимая морду, тянулась к плошке с едой. Поправившись, она оказалась хромой – передняя лапа плохо сгибалась.

VI

День был ясный, морозный. Снег, лежавший уже несколько дней, ослепительно сверкал. Редкие облака, казалось, вмерзли в небо.

Чабан еще накануне уехал в село. Алабай сама проводила

его. Она бежала за ним, пока хозяин не остановил верблюда, не слез и, ласково потрепав собаку за остатки ушей, не указал туда, где осталось стадо. Алабай покорно побежала исполнять свою службу. Она была удовлетворена – так они прощались всякий раз, как пастух отправлялся в село.

К вечеру поднялся ветерок. Погода стала меняться. Облака ожили, задвигались. Скрылось солнце.

Постепенно все небо закрылось одним сплошным облаком, стремительно падающим на землю.

Алабай заскулила, чуя надвигающуюся беду, закрутилась возле подпасака, который закутавшись в мохнатый бараний тулуп, дремал, сидя на ишаке. Резким окриком он прогнал собаку. Будь тут пастух, он бы ее понял, собрал бы тотчас овец и погнал к загону пережидать непогоду. Но мальчишка не глядел ни на собаку, ни на темнеющее небо, а все глубже зарывался носом в теплый мех.

Пахнувший снегом ветер стал крепчать. Когда подпасок, наконец, опомнился, его охватила паника. Озябшие овцы замерли было на месте, и вдруг лавиной устремились вниз по склону, гонимые пронизывающим ветром. Подпасок и Алабай пытались вернуть стадо, но овцы уже не слышали, не видели и не чувствовали ничего, кроме страха и холода.

Алабай не заметила, как в кружении снега и ветра исчез куда-то подпасок и другие собаки. Она не отставала от стада. Отчаянно бросившись вперед, она обогнала овец, подбежала к вожаку с колокольцем на шее, громким лаем попыталась

заставить его остановиться. Обычно безропотно подчинявшиеся ей овцы не обратили на Алабай внимания. Она едва успела увернуться от обезумевшего шквала несущегося без оглядки стада. Оно могло растоптать сейчас все, что попадается на его пути.

Алабай ничего не оставалось, как бежать за этими безумными, пытаясь хоть бы держать их в куче. Отставшие потеряются, погибнут...

Лишь перед самым рассветом унялся ветер. Алабай выбилась из сил, но ей не пришлось заставлять овец остановиться. Утомленные паническим бегом, они легли на снег. У них будто подкосились ноги.

Все утихло вокруг. Взошло солнце. Снова засверкал снег. Застыли в небе облака. Будто и не было этой безумной ночи.

До самого полудня ни одна овца не шелохнулась. Солнце уже катилось книзу, когда стадо разбрелось по ближайшей луговине в поисках пищи.

Алабай услышала гул на вершине холма. Увидела машину-вездеход и почувствовала запах незнакомых людей., но это не остановило ее. Она подбежала к вышедшим из машины людям, скуля закрутилась возле них, просила о помощи. Люди поняли: один остался на холме, другой остался.

Вскоре снова показалась машина, и Алабай опрометью кинулась навстречу.

Чабан на ходу открыл дверцу:

– Алабай!

VIII

Отгоняя от стада шакала, Алабай так увлеклась, что убежала за дальние холмы. Когда она вернулась, чабан встретил ее бранью. Алабай поняла: по ее вине случилась беда. Чабан приволок и бросил ей ягненка с перегрызанным горлом.

Алабай поджала лапы, опустила голову. ей стало стыдно. Это была работа волка.

Еще одну овцу чабан застал живой и сам прирезал ее. Обдирая овцу, он через плечо бросил взгляд на сидевшую в стороне собаку и ему показалось, что он видит в ее глазах слезы.

Он не заметил, как Алабай ушла. Она обогнула стадо и направилась по волчьим следам.

Волк догрызал последнюю косточку ягненка, которого ему удалось унести. Завидев бегущую собаку, он бросил ягненка и приготовился к схватке. Полная ярости Алабай, что есть сил оттолкнулась от земли и бросилась на врага. Волк встал на дыбы, не собираясь уступать. Сытый, сильный, он острыми клыками рвал собаку. Алабай поняла, что не выстоит, пятясь назад, прижалась спиной к крутому выступу. Клубами поднималась вверх серая пыль. Яростное глухое рычание оборвалось пронзительным воем волка. Он рванулся, еще надеясь спастись. Но было поздно, челюсти Алабай сжали его глотку. Хлынула кровь, заливая Алабай глаза.

Алабай разжала челюсти, предоставив волку возможность умирать. Гнев ее утих. Дело было сделано.

Обессиленная, она лежала рядом с поверженным вра-

гом. И вдруг почувствовала его странно встревоживший ее взгляд – жалобный, укоряющий. Чуть приподняв голову последним усилием, волк попытался заскулить.

Заскулила и Алабай. Закружилась вокруг распростертого в пыли окровавленного тела. Забыв о своих ранах, забыв о только что владевшей ею смертельной злобе, она обнюхивала и лизала волка. Родной щенячий запах пробивался сквозь запах крови.

... Через несколько дней чабан нашел под крутым уступом мертвую собаку. Рядом с перегрызанным горлом и оскаленной пастью, в которую набилась серая пыль, лежал волк с белым, похожим на заплатку, пятном на левом боку...

Перевод Н. Колесниковой. 1976 г.

ДЕРЕВНЯ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

Александру Брагину

I

Деревушка, к которой мы подходили ранним весенним утром, казалось небольшой, дворов десять-пятнадцать. Она то прямо пряталась за холмами, то вновь возникала, прорисовываясь темными пятнами домов сквозь мглистый туман.

Было холодно. Ветер зябко прохаживался по молодому ежику травы, и она пригибалась под его незримой тяжестью.

В Москве, откуда мы выехали, деревья уже покрылись листвой. А здесь чувствовался север. Только кое-где на кустах, росших в низинах, набухли почки, проклюнулись зеленые язычки листьев.

И все-таки в воздухе и во всей окружающей природе веяло весной. О ней щебетали на разные голоса птицы, о ней журчали сбегаящие к озеру ручьи. И сама земля, казалось, вздыхала от переизбытка сил, накопленных за долгие месяцы бездействия.

Взобравшись на верхушку очередного холма, Саша, шедший впереди меня, остановился.

– Смотри!

Вначале я увидел лошадь, которая лениво помахивая хвостом, время от времени наклонялась и схватывала мягкими губами траву. Что в ней привлекало Сашу? Но тут я понял,

что он имел в виду деревушку. Она лежала перед нами, как на ладони: отсюда, сверху, хорошо просматривались все ее дома и дворы.

У крайней избы женщина развешивала на веревке выстиранное белье. Ветер-озорник задувал ее и без того короткое платье. Увидев нас, она сконфузилась, бросила белье и таз и стала придерживать подол. Проходя мимо, мы поздоровались. Она ответила и тут же спросила, открыт ли магазин в соседнем селе, через которое мы проходили. Вопрос показался мне наивным, потому что даже в таких отдаленных от больших городов деревушках магазины не открываются так рано.

Саша, мой сокурсник по институту, давно уже приглашал меня погостить у своей старенькой бабки в деревне. Но все было как-то недосуг. И вот только в мае нам удалось выкроить день-два. Правда, бабушки дома не было, она, оказалось, вот уже который месяц гостит у дочери в Череповце. Но нас это не смутило – изба-то бабушкина осталась!..

Мы шагаем по единственной улице деревушки. Рано, и на ней еще никого нет, только кое-где во дворах хлопочут хозяйки. От сырости я немного озяб и поэтому с нетерпением ждал, когда мы, наконец, доберемся до места, согреемся и дадим отдых нашим ногам. Но изба без хозяйки совсем выстыла, выглядела заброшенной и неудобной. Развести огонь в печи сразу не удалось, пришлось вначале влезть на крышу и, орудуя палкой, выселить из трубы, обосновавшихся там

ворон.

Мы попили чаю и я в блаженстве вытянул свои усталые, не привыкшие к долгой ходьбе, ноги.

Из забытья меня вывел осторожный скрип двери. Открыв глаза, я увидел девчущку лет пяти-шести. Худенькую ее фигурку плотно облегал белый модный плащик.

– Вы насовсем-насовсем приехали? – услышал я. – А тетя Нина на завтрашней “Ракете» приедет?..

Вопросы следовали один за другим и после каждого девчущка пытливо поглядывала на нас, ожидая ответа. Казалось, что вот она выпросит все для себя интересное и тотчас убежит. Но исчерпав свое любопытство, девочка, усевшись рядом, сообщила, что дядя ее спозаранку отправился на рыбалку, они с бабушкой тоже выудили четырех карасей.

Саша, в свою очередь, рассказал, как мы сражались на крыше с воронами. Выслушав его, девчущка, смешно всплеснув руками, сбивчиво, перескакивая с одного на другое, живо нарисовала картину, как однажды у старого стога сена она нашла воронье гнездо, а в нем яичко. Долго ждала, пока прилетят и согреют его родители. Но время шло, а никто не прилетал. Тогда она принесла яичко домой, укутала потеплее и положила на припечек. На следующий день вместо яйца нашла там маленького вороненка.

– И что ты с ним сделала? – спросил Саша девочку. В голосе его звучала ирония. Но девочку это не смутило.

– Я вынесла его и положила на дороге. А сама спряталась.

Скоро прилетели большие вороны, взяли вороненка и унесли с собой. Девочка опять всплеснула руками, показывая, как улетел ее вороненок. Потом она с какой-то радостью заговорила о том, что уже совсем-совсем скоро приедет мама и увезет ее с собой в Ленинград.

Девочку эту звали Людочкой. В селе не было больше малышей и она очень скучала в одиночестве. Прошлым летом к ним приезжала Инна, невестка, так Людочка не отходила от нее ни на шаг.

Так всюду и ходили вместе. Все это я узнал от Саши, когда Людочка ушла. Уходя, она остановилась на пороге и пообещала:

– Я еще приду к вам.

Почему-то в тот день она так и не пришла.

II

Людочкина бабушка – седенькая невысокого роста старушка, брала молоко у какой-то Кузьминичны в соседней деревне. Выходя по утрам во двор умыться, я видел, как она семенит вдоль улочки, лежащей за нашей избой. Если кто-нибудь встречался и спрашивал, куда она идет, бабушка тут же принималась подробно и сердито рассказывать, что-де она еле волочит сейчас больные ноги всего из-за двух глотков молока для внучки. А дорога неблизкая – из одной деревни в другую. И виноваты в этом соседи, которые недавно продали всю такую молочную корову. Да будь эта корова даже одна на все село, жить было бы можно. Ведь что за удовольствие попить парного молочка! А еще лучше поесть блинов со сметанкой...

И бабушка принялась распекать соседей.

На следующий день после приезда она пригласила нас на уху. Кроме ухи на стол подали и жареную рыбу. Подняли первый стаканчик и все разговорились. Рядом со мной сидел Людочкин дедушка. Он вспомнил, как во время войны случайно попал на винный завод, разрушенный бомбой, отыскал там самую старую бочку, кое-как погрузил ее в машину и привез своим товарищам. Это надо было видеть как они обрадовались! В морозный день вино пришлось кстати.

Напротив сидели дядя Людочки: Петька-молчун и очка-

стый Андрей. Одна рука и нога Андрея были покалечены, плохо повиновались ему.

Людочка, подперев рукой подбородок, слушала все, о чем говорится. Сиди она молчком, может никто и не заметил бы ее присутствия. Но она вопросом выдала себя:

– Деда, а тебе за это дали медаль?

Бабушка, спохватившись, что внучка не спит, стала выпроваживать ее в соседнюю комнату:

– Ты смотри, сама с карандаш, а до всего ей дело, – приговаривала она, легонько подталкивая Людочку к выходу. – Погляди вон, как кошка спит! Завтра снова будет хороший день, пойдешь гулять. А сейчас иди ляг, поспи.

Уходя, Людочка все же успела спросить:

– А дяденьки у нас будут ночевать?..

Разговор за столом перекинулся на рыбную ловлю. Кто-то говорил, что хорошо вот в такой ветренный денек ловить на удочку. Другой предпочитал невод.

Я не пытался вникать в суть спора, потому что в рыбной ловле ничего не смыслил. Петька-молчун тоже сидел и слушал. Но потом вдруг резко поднялся и вышел в другую комнату.

А Андрей, ничего не замечая вокруг, уже вспоминал то время, когда работал в колхозе агрономом. Как-то ему поручили получить в соседнем райцентре два седла. Они же с извозчиком пропили деньги, выданные им для покупки седел, а потом несколько дней он прятался от председателя колхо-

за, боясь попасться на глаза. Все же председатель разыскал его и крупно ругался. А потом послал кого-то за бутылкой и пригласил Андрея распить ее вместе. О чем они говорили тогда за бутылкой, Андрей не сказал, но чувствовалось, что запомнил он тот разговор навсегда, и случай с седлами тяжелым камнем лежит на его душе до сих пор.

Когда после долгого сидения за столом мы вышли из избы, студеный ветер набросился на нас, пробрав до костей. Слева послышался протяжный гудок проплывающего мимо парохода. Голова у меня кружилась от выпитого, и я на минуту почувствовал себя плывущим куда-то на огромном корабле.

III

Нам с Сашей захотелось прогуляться по реке, и мы попросили у Андрея его лодку.

– А чего ж, – берите, – ответил он. – Раз приехали погулять, значит, и надо гулять.

Саша сел на весла, я устроился на корме. Людочка, тоже собравшаяся с нами, как и наказывала ей бабушка, расположилась на средней скамье, крепко ухватившись за ее край.

Глядя как она с интересом озирается вокруг, как блаженно жмурится на солнечные блики, отражающиеся на поверхности воды я подумал, что не часто ей выпадают такие прогулки. Но вот навстречу вынырнула “Ракета», и Людочка, тотчас забыв все наставления бабушки, вскочила со своего места. Казалось, она кого-то выискивает среди пассажиров. “Ракета», как и полагается ракете, промелькнула мимо

и вскоре затерялась в водной дали.

Девочка тихонько вздохнула и опустилась на скамью. Потом, улыбнувшись солнцу, повторила нам рассказ о том, как на такой же вот «Ракете» за нею приедет мама и увезет ее в Ленинград, и там она станет ходить в школу.

– А что дальше, Ленинград или Москва? – спросила она.

– Надо полагать, Ленинград, – ответил я, подражая местной манере говорить.

– Я тоже так подумала, – сказала Людочка.

Мы гребли с Сашей попеременно. У Саши лодка двигалась ровно и быстро, когда же за весла садился я, она рыскала из стороны в сторону, вертелась на месте, не желая двигаться вперед. Да, оказывается, грести не такое уж легкое дело, как думал я, наблюдая соревнования гребцов по телевизору.

Пообедать мы решили прямо в лодке. Но Людочка вдруг напрочь отказалась присоединиться к нам.

– Не хочу, я сыта, – отворачивалась она в сторону. Когда мы уж устали ее уговаривать, она призналась:

– Бабушка заругает.

– Почему?

– Она всегда ругает меня, когда я поем где-нибудь.

– Откуда же ей узнать, мы-то не скажем, – убеждали мы девочку.

– Э, бабушка у меня ведунья, – погрозила пальчиком Людочка. Догадалась же она, что я в тот раз торта у Серафимы поела!..

– Интересно, как же?

– Не знаю. Села я в тот день дома за стол, а есть не хочу.

Бабушка и говорит...

– А сегодня и здесь поешь, и дома, – перебил ее Саша.

Но она стояла на своем. И лишь когда мы прибегнули к обычной уловке взрослых, стали уверять девочку, что, поскольку она отказывается от еды, то не вырастет, а, значит, и не поедет в Ленинград и не поступит там в школу, Людочка сдалась.

Возвращаясь обратно, мы заметили женщину, стоявшую на берегу озера. Я толкнул Сашу локтем и предложил:

– Прихватим с собой соседку?

– Какую соседку? – не понял он.

– А ту, помнишь, что встретили в первый день. Она еще белье развешивала.

– Давай прихватим, – улыбнулся Саша, направляя лодку к берегу. Но женщина, словно разгадав наше намерение, повернулась и торопливо зашагала к стоявшей на отшибе бабушке. Мы не понимали в чем дело. Саша закричал:

– Эй, Тоня, куда ты? Поедем с нами!

Тоня остановилась, глядя на нас из-под руки.

– Это же мы, не узнала что ли? – снова подал голос Саша.

Теперь в нашей лодке стало веселее. Тоня много говорила и все время смеялась. Меня так и подмывало спросить, почему она вначале вроде бы испугалась нас.

– О! – Сверкнула она голубыми глазами, когда я все же

задал ей этот вопрос. – А ты любопытный! Не испугалась. Просто узнала лодку Андрея.

Она подумала, что и Андрей с нами, ехать с ним в одной лодке совершенно невозможно.

– Дурака валять любит!.. – опять засмеялась Тоня.

Однажды, пытаясь поцеловать ее, Андрей даже лодку перевернул, и они искупались в ледяной воде.

Я и не заметил, как мы оказались у своей деревни. Лодка приостановилась возле кряжистого дуба, росшего у самого озера. Здесь рыбачили дедушка и бабушка, Андрей и Петя-ка-молчун.

IV

Ранним утром Андрей остановился у нашей калитки.

– Студент, хочешь позаниматься гимнастикой? – спросил он, чуть усмехнувшись.

– А что нужно делать? – задал я встречный вопрос.

– Ты погребни немножко, а я крючки проверю.

Я мог бы, конечно, отказаться, сославшись на то, что гребля это, все-таки, не гимнастика, но вспомнив, как неумело работал веслами на прогулке, как выскальзывали они из моих рук и разбрызгивали воду, решил согласиться. “А что, – подумал я, – небольшая практика мне пригодится.” Но на всякий случай, предупредил Андрея:

– Гребу я неважно.

– Ничего, сойдет, – успокоил он меня.

Длинный трос, закрепленный за пень, торчащий на бере-

гу, уходил к центру озера.

– А за что он там крепится? – спросил я Андрея, дождав-шись, пока он снимет с крючка очередную рыбину и восста-новит наживку.

– Увидишь, – буркнул в ответ Андрей.

Крючки попадались, примерно, через два метра. Некото-рые были пустыми и на них поблескивали небольшие, вели-чиной с палец, серебристые рыбки-приманки для крупной добычи.

Но вот трос круто пошел вглубь, и Андрей остановился.

– Старый якорь там, – сказал он, – за него и крепим.

Мы вернулись с уловом на берег. Деревня уже проснулась, двери в избах были распахнуты настежь. За околицей белы-ми точками рассыпались куры, словно альчики, которыми я играл в детстве. Две старухи, устроившись на скамейке у до-мика с ярко выкрашенной калиткой, о чем-то оживленно пе-реговаривались. Я повернулся в их сторону. Андрей хмык-нул, по своему расценив мое любопытство.

– Не верти головой, студент. В этой деревне и смотреть-то не на кого, одни старухи. А наступит зима, так и старух не увидишь. Все в город уберутся: кто к детям, кто к знакомым. Останусь здесь я один, да еще бухгалтер из той вон деревни.

Андрей махнул куда-то в сторону.

– А зимой здесь страсть как хорошо! – продолжал он, при-падая на одну ногу. – Станешь на лыжи и у-ух!

Андрей показал, как он это делает. И я вдруг увидел его

среди заметенных снегом холмов, несущегося с неудержимой силой. Было только непонятно, как же его больная нога... Не мешает она ему? Но спросить бо этом Андрея я не решился.

Мы расстались у Андреевой избы. Он сказал мне: «Привет» – и застучал по деревянным ступеням. А я, пригибаясь под низко нависшими яблонями, заторопился прямо через сад домой. Когда я уходил, Саша еще спал, а сейчас, наверное, ждет меня к завтраку, недоумевая, куда это я девался.

У одной из яблонь я остановился, увидев Людочку. Она держала в руках довольно-таки истрепанную куклу, и, покачивая ее, приговаривала:

– Не плачь, не плачь, Наташенька! Ты же знаешь, моя бабуля не любит плакс. Ты скоро останешься ее любимой внучкой. Я уеду в Ленинград к маме, а ты будешь жить с бабулей. Летом, когда меня отпустят на каникулы, я приеду сюда, и мы с тобой опять поиграем.

– Если ты меня будешь слушаться, – продолжала Людочка, не замечая, что я стою неподалеку, – то я попрошу того высокого черненького дядю, и он повезет нас с тобой к себе. А у них, знаешь, как хорошо! Жарко-жарко. И печь не надо топить, мясо прямо на солнце жарится. И еще там есть какие-то верблюды. У них на спине по две головы.

Она сделала совершенно своеобразный вывод из моих рассказов о Туркменистане. Осторожно ступая, я сделал большой крюк и вышел на дорогу.

В день отъезда я проснулся раньше обычного. Хотелось в одиночестве пройтись по полю, попрощаться с деревней. Вышел во двор, заглянул через полисадник в соседний двор. Никого. Даже Людочкиного дедушки не видать, а уж он-то раньше всех начинает возиться на своем подворье.

Взобравшись на один из холмов, я машинально стал подсчитывать крыши избушек. Получилось шестнадцать. В утреннем небе слышалась звонкая песня жаворонка. Внизу, вторя ему, галдели галки; возмущенно чирикавая, суетились вокруг них воробьи.

Где-то, далеко за озером, на горизонте возникло несколько разноцветных полос. Нижняя, самая близкая к земле, была цвета золы. Она с каждой секундой ширилась, незаметно для глаза переходя в следующую полосу, розоватую. Та, в свою очередь, сливалась с золотистой. А из нее, умытое утренней росой, выплывало солнце.

С моего места хорошо были видны и стога сена, и озеро, зябкая рябь которого золотилась, словно драгоценности в шкатулке, и плывущие по озеру лодки рыбаков, почему-то напомнившие мне верблюдов в пустыне.

Лес за озером, в предутренней мгле похожий на глухую стену, сейчас прорисовывался елями, дубками и березами. Солнце, чуть оторвавшись от горизонта, запуталось в ветвях и было похоже на золотой мяч, а ели словно играли им и не спешили отпускать из своих пушистых лап.

Уходить не хотелось. За несколько дней мне чем-то близок стал этот немногочисленный край.

Когда я вернулся в избу, Саша уже собрал наш нехитрый багаж и, заварив чай, сидел за столом. Когда мы завтракали, вошел Людочкин дедушка. Он обещал подбросить нас на своей лодке к месту стоянки «Ракеты». Мы заторопились.

Лодка уже ждала нас, а в ней сидела Людочка. Я удивился, потому что время было раннее, и ей следовало бы еще спать. Вместе с тем почувствовал, что был бы очень огорчен, если бы нам больше не пришлось увидеться.

– Чего рано встала? – спросил девочку Саша. – Холодно, ишь продрогла вся.

– Нужно же вас проводить! – ответила она. Я снял пиджак и накинул его на плечи девочки. Она утонула в нем.

– Смотри какая умница! – покачал головой Саша и прошел на весла.

«Ракета» искрилась на солнце белой краской и была похожа на большую сказочную птицу. Дедушка и Людочка, стоявшие в лодке, сразу как-то уменьшились. «Ракета» отошла, и они стали махать нам рукой.

У меня вдруг сильно забило сердце. В эту минуту я вспомнил, что, оказывается, мамы, которую Людочка с таким нетерпением ждет, у нее нет. Мама давно умерла, а девочка и дальше будет встречать каждый теплоход и вот так же, взмахом руки, провожать его в дальний путь.

Берег стремительно отодвигался от нас. Уходили вдаль де-

ревья, уплывали избушки. Все превратилось в темную одно-
тонную полосу.

Перевод Т.Курдицкой. 1980 г.

БЕЛЫЙ ПАРУС

Вот и осень... Я шагаю по крупной береговой гальке. Никого кругом, и море пустынно. Лишь чайки кричат о чем-то, крики их резки, да волны с безумной старательностью бьются о берег и, вздохнув, уходят обратно, оставляя на мокрых камнях свою одежду – белую рваную пену.

Зрелище это спокойное, а звук тяжелый – всякий раз мне кажется, что в воду рухнула стена... какого-то старого дома...

Я иду и смотрю на море, и вдруг вижу: по волнам бежит небольшая лодка под белым парусом. Откуда она взялась? Не пойму... Там, где сливаются небо и море, на воде только что лежали большие белые облака. Крохотная лодка словно бы вышла прямо из них. Я прикинул, где она может пристать и пошел к тому месту.

С непонятным волнением я следил за одиноким парусом в свинцовых волнах. О чем я думал минуту назад? Не знаю, а теперь уже думаю о тетушке Амангуль. Все о чем я думал прежде, теперь исчезло. Ее напоминала мне эта лодочка.

Тетушка Амангуль в белом платке идет по улице, и все смотрят ей вслед... На самом деле этого не было никогда!

* * *

...Женщины нашего села, когда обращались к ней, то чаще всего говорили: “Мать Аганазара» – знали, как ей это

приятно...

Мать Аганазара... А ведь большинство из них пришло в село, когда самого Аганазара уже не было!

...Это случилось в тот день, когда она впервые перепеленала своего сына – такого крошечного и такого теплого, такого совсем-совсем беззащитного.

Амангуль взяла его на руки и поняла – раз и навсегда: вот это существо отныне будет определять всю ее жизнь.

Теперь у нее появилось столько радости и столько забот, которые были даже счастливей самой ее радости! То и дело мечты Амангуль поднимались над прекрасной, бесконечной жизнью Аганазара и улетали далеко-далеко. И так сладко, и радостно, и тревожно было думать о том, кем станет ее мальчик и какие родятся у него дети, и...

Ранним утром она распахивала дверь и с порога почти-тельно здоровалась со свекровью – таков древний обычай туркменских женщин. Аганазар, крепкий парнишка, сидел у матери на руках и нетерпеливо ждал, когда же его, наконец, отпустят на землю, чтобы с разбегу он мог броситься в родные бабушкины объятия...

Жаль что всего этого не мог видеть е муж. Как говорили ей потом через много лет, жизнь круто и несправедливо обо-шла с ним. Она растила Аганазара без мужа. А сын рос на славу, тянулся, плечи мужские, широкие, походка свобод-ная, взгляд спокойный и ясный. Сердце Амангуль вздраги-вало от радости и печали: вылитый отец!

А по ночам тревожные, тяжелые думы одолевали ее: «Лишь бы судьба моего сыночка оказалось иной, – суеверно шептала она, – лишь бы...».

Но потом опять наступало утро... Да, хорошо ей тогда жилось. Как спокойно, с достоинством, со спрятанной в сердце гордостью она приходила на все торжества. Ей тогда вообще нравилось бывать на людях. Женщины, имевшие дочерей, заводили с ней душевные разговоры, что, мол, пока, наверное, спешить не надо, но разве плохо бы нам, например, породниться?..

Амангуль приветливо улыбалась и отвечала так, чтобы никого не обидеть. Она сама была матерью и хорошо понимала других матерей: радостей много, но и печалей хватает и хватает тревог.

В то же время она никак не могла привыкнуть, что с ее Аганазаром люди связывают такие серьезные мысли – планы всей жизни.

Глядят на него и надеются... А она все помнила его крохотым карапузом, который ранним утром глядит удивленными глазами на красное ровное солнце...

О, сколько же сомнений она испытала, сколько пережила всего!

К соседской дочке вдруг зачастила круглолицая девушка. Жила она довольно далеко – чего бы, спрашивается, ей сюда ходить?.. Подружки расстилали в тени дома кошму и принимались вышивать... И вдруг Амангуль услышала: не ру-

кодельем заняты мысли той круглолицей! Она все говорит да придумывает, как бы повидаться с Аганазаром... Вот оно что!

И однажды, вернувшись откуда-то домой, Амангуль увидела своего Аганазара на дереве шелковицы – он собирал ягоды для этих двух... “вышивальщиц»! Завидев Амангуль эдже, круглолицая покраснела. Амангуль ответила ей строгим взглядом.

Та девушка давно уж стала хозяйкой в другом доме. Скоро будет нянчить собственных внуков. Но до сих пор, встречая ее, Амангуль удивительно ясно припоминает все... И горько думает: “Почему?! Ведь это зависило лишь от меня. Все хотелось получше найти, покрасивей... Сейчас не сидела б одна в пустом доме...».

А в ту далекую пору думалось ей совсем по-другому: “Куда торопиться-то? Успеем. Вот армию отслужит, тогда и жению».

Письма из армии приходили ласковые и спокойные. “Служба идет нормально», – так Аганазар обязательно писал в конце. А через год: “Мамочка! Меня посылают на командирские курсы!» – в словах его слышалась гордость...

И вдруг война! Та самая, которую люди потом назовут Великой и Отечественной... Как многое изменилось сразу. Причем такое, что казалось, совсем не должно меняться. Никогда!

Изменились даже письма Аганазара: они тоже стали воен-

ными – редкие, короткие, написанные торопливой рукой.

Однажды, вернувшись с работы, она уже собиралась лечь... Тогда ведь работать приходилось много. Часто Амангуль приходила едва ли не ночью... И вот в свете луны она увидела, как к ее дому спешит мальчонка одноногого почтальона. Амангуль тут же вспомнила о двух кусках сладкого шахнабата, которые ожидали того, кто принесет ей весточку от сына. Улыбаясь, она склонилась над сундуком, чтобы достать свой материнский гостинец. Но когда подняла голову... письмо лежало на пороге, а мальчонка бежал прочь – один по лунной улице... Словно Амангуль была ведьма....

В ту страшную ночь надломилась ее жизнь.

Она так и осталась в желтом платке, что носят пожилые женщины. И знала: никогда ей не повязать белый, который женщина, по обычаю, может надеть лишь в том случае, если достигнет полного материнского счастья, если до конца выполнит свой долг перед жизнью – станет бабушкой, сумеет соединить свою плотью день будущий и день вчерашний.

Долго она прожила потом, так долго, что устала от жизни... Тысячу новолуний пришлось ей увидеть! И ни разу никого она не обвинила в гибели сына. Думала: “Так решено было свыше. Провидение погасило жизнь моего Аганазара и, наверное, отдало его годы мне... Зачем?!».

Но не зря в туркменской пословице говорится, что народ, он, как ласковое солнце... Люди делились с Амангуль тем, чего не было у нее: они делились с нею своими заботами и

радостями.

– Мать Аганазара! Амангуль эдже! Мы сына женим. Не считите за труд, помогите, пожалуйста, выбрать благоприятный день для свадьбы...

А если в селе умирала женщина, Амангуль непременно была одной из тех, кто убирал покойницу перед погребением... После Аганазара смерть уж не была для нее чем-то страшным или таинственным.

Вечерами, в тишине своего одинокого дома, она размышляла спокойно, без суеты: “Ну, теперь мне осталось... Да, наверное, не больше чем годика три-четыре... Еще помогу добрым людям, чем умею. А там пусть с миром земля упокоит и меня».

А годы все шли... Оглядываясь назад, Амангуль с удивлением видела, как же изменилась жизнь.

Когда появился здесь первый мотоцикл, что она подумала? Чудо! А теперь и мотоциклов кругом, и машин...

Не изменилось только одно: больше чем за восемьдесят лет она никому ни разу не была обузой. Лишь однажды с просьбой переступила порог кабинета начальника: крыша протекает, дайте немного шифера.

Начальник, веселый молодой мужчина, засмеялся в ответ:

– Ну ты старушка, так старушка... Сколько еще жить собираешься? – Мысленно Амангуль уже ругала себя, что явилась в этот кабинет.

– Что же я поделать могу? Не берет меня смерть!

И ушла... Было ей горько, но не за себя. Ей все казалось, что неудачный шутник задел память Аганазара. Теперь она словно бы слышала его голос:

– Зачем же ты просишь? Если б судьбе было угодно, чтоб мы жили в доме с шиферной крышей, разве она прибрала бы меня так рано? Предки наши жили в юртах. Разве ты настолько их лучше?!

Она часто разговаривала с сыном. Вот и теперь его голос звучал так ясно и... так укоризненно!

“Проклятые мои ноги! – думала Амангуль. – Как не споткнулись вы? Зачем принесли меня к этому начальнику?.. Баба! Баба и есть. Притащилась, расселась... ждали тебя!»

А начальник тот оказался странным человеком: шутить умел плохо, а делать умел хорошо. Ближе к зиме, присланный им самосвал завалил весь двор Амангуль дровами. А потом вдруг явились рабочие:

– Ишин илери, здравствуйте, мать Аганазара! Вот мы пришли к вам крышу чинить!

Каждое утро Амангуль обязательно затапливала печку. Увидев этот ранний дым, соседи знали: ночь для старой женщины прошла благополучно. Если же Амангуль не успевала вовремя затопить, к ней, как бы по делам, приходила Огуль-биби эдже:

– Проснулась, мать Аганазара? Вот хорошо!

Огульбиби жила вся в семейных заботах... Муж ее, Сахатдурды, тоже ушел однажды на фронт и не вернулся. Но

зато уж дети – таких поискать во всем селе! Что сын, что дочка: оба спокойные, вежливые, уважительные. Когда речь заходила о хорошей семье, непременно вспоминали Огуль-биби.

Так уж повезло ей, что и невестка пришла в дом хорошая – характер открытый и работать умеет... Амангуль и Огуль-биби любили посидеть да потолковать о жизни. Не всякой невестке это понравилось бы! А эта сама заварит старушкам чайничек чая. И прилежно выслушивает их советы, как простегать ватное одеяло, да как подобрать для кошмы узор понаряднее...

Так прошло десять лет и двадцать... Амангуль все жила. Годы не брали ее, опаленную огнем горя... Приходя к ней в гости, родственники не раз дарили Амангуль эдже куски белой кисеи... на платок. Поблагодарив, Амангуль убирала материю. И – словно ее не было в доме!

Опустевший за годы войны сундук Амангуль был почти полон кисеи. Она понимала: люди хотят утешить, хотят сказать ей: «Ты такая же, как наши бабушки и прабабушки. Мы уважаем тебя, мать Аганазара!». Да, они уважали тот очаг, хранительницей которого она была.

Но ни разу Амангуль не решилась накинуть заветный платок. Все казалось, что хоть один кто-нибудь да непременно окинет ее насмешливым, а то и презрительным взглядом: «Вырядилась. А ведь на это надо право иметь...».

Амангуль эдже умерла в дождливый, ничем не приметный

день, каких много бывает перед наступлением холодов. Ранним утром Огульбиби вошла к ней дом:

– Проснулась, мать Аганазара? Вот и...

Амангуль лежала, зажав в руке лекарство “от головы», которое вчера вечером взяла у доброй соседки...

– Мать Аганазара! – тихо сказала Огульбиби и тихо вышла на двор. Так она в последний раз обратилась к Амангуль эдже. В день похорон ее поминали среди женщин, которым судьба не дала материнского счастья.

Я подошел к тому месту, куда должна была пристать маленькая лодка под белым парусом. Она была уже близко. Если б я крикнул: “Здравствуй, мать Аганазара!». Меня бы услышали. Но я молчал. А лодка вдруг развернулась и стала уходить от меня – в сторону куда-то, на запад, волны послушно бежали за нею следом. Скоро парус совсем затерялся среди облаков и белой пены. Море было пустынно, и сколько ни ждал я ее, всматриваясь вдаль, лодка под белым парусом так и не вернулась, не вспомнила обо мне.

Перевод С.Иванова

1985 г.

БАБУШКИНА СКАЗКА

В те давние времена она была одна-одинешенька. Одна во всей бесконечной Вселенной, сама себе хозяйка, сама себе царица. Не ведала она ни границ, ни пределов – все начиналось ею и ею же кончалось. А на моря и океаны разделилась

она много позже, спустя века, тысячелетия. А если точно: когда печаль разбила ее материнское сердце...

Желание достигло цели. Так бывает всегда, если душа твоя стремится к чему-то сильно и страстно. Да, душа. Есть такая загадочная штука, которая даже заблуждение может выдать за истину. Особенно, если эта женская душа. А именно такая таилась в ней с самого рождения, хотя сама она и не подозревала об этом, не ведала, что уготовлены ей радость материнства и горечь его. Просто ей опостылило одиночество. Душа томилась в ожидании чего-то необычайного, неизведанного. Ветер привлек ее внимание, тот самый Ветер, которого прежде она и не замечала. С этого-то все и началось. И если б не Ветер, она б донныне не ведала своей истинной женской сущности.

И Ветер полюбил ее. Немудрено: она была молода и нарядна. Все шло ей к лицу: и легкий струящийся шелк, и черный ниспадающий тяжелыми складками бархат... Впрочем, дело-то совсем не в нарядах. Ветер... Что такому шелк и бархат? А он влюбился пылко и без оглядки.

Не простой оказалась эта любовь. Она стала причиной того, что робкое желание избавится от постылого одиночества сменилось тысячью новых дерзких, самых невероятных желаний. И день ото дня их становилось все больше и больше. Минуло спокойное время, когда пребывала она в безмятежной неге, отражая в своей бесконечной глади плывущие в вышине облака. Страсть овладела ею. Иной раз оболститель-

ной кокеткой устремлялась она прочь, словно ей опостылило общество Ветра. Но это только распаляло его, и он просто-волосый и босой, – взвивался вихрем, чтобы настичь ее. Вот он уже все ближе, ближе, еще миг... И тут она внезапно оборачивалась, бросаясь к нему в объятия. Грозным смерчем поднимались они к свинцовым небесам. Его сильные жадные руки сжимали ее, с сухим треском рвался тонкий шелк платья...

Сколько времени прошло в этих любовных играх неведомо ни ей, ни Ветру – никому... Ведь тогда не ломали себе голову, ведя нудный счет дням и годам; никто не приноравливал свою бессмертную жизнь к их тесным рамкам. Не было еще смерти, а, значит, ни к чему был и мелочный счет мгновений.

Но если кто-нибудь задастся целью узнать от какой черты, от какой метки следует вести счет времени, пусть знает, что все началось, когда она впервые встретилась с Ветром, когда родилось желание в ее существование смыслом, отделив настоящее от бесконечной пустоты былого. С этого мгновения стала она иной, посвятив всю себя только Ветру.

А вот он был не такой. Легкомысленный, полный жизни и движения. Он делал только то, что хотел, стремился лишь туда, куда его влекло. Все доставляло ему наслаждение. Так бывает всегда, если поступки согласны с твоими желаниями. То он конем носился над водным простором, заигрывая с шаловливыми волнами. То сидел притихший наедине со своей

красавицей, без слов угадывая все ее прихоти. Но чтобы он ни делал, всякому занятию отдавался целиком, без остатка, как ребенок.

Однако, все, что имеет начало, имеет и продолжение. Однажды она ощутила какую-то неведомую прежде, но приятную тяжесть в себе. «Что же это, бог мой?» – удивилась она, прислушиваясь к гулким размеренным ударам своего сердца. Но тайна (а это была особая Великая тайна) остается тайной лишь до той поры, пока не наступит время узнать разгадку. И она терпеливо ждала, уже догадываясь и волнуясь. И час настал. Ее очам предстал первенец – нежный хрупкий росток в зеленом весеннем наряде. Ничтожно маленький, но не заметить его было решительно невозможно. И она возликовала. Радость эта чуть не разорвала ее сердце, но она поборола, сдержала свой восторг, ибо это могло ненароком повредить тому, кто трепеща рос из ее сердца.

А Ветер тем временем, как беспечный пастух, гнал куда-то стадо сивых дождевых туч. Она вышла ему навстречу и поделилась радостью, которая была слишком велика для нее одной.

Третий не стал лишним. Напротив, с его рождением Ветер, который прежде днями и ночами носился где попало, забравшись под самые небеса, теперь несколько остепенился, стал чаще бывать дома. Она напевала малышу колыбельную, а Ветер бережно качал зыбку, вполголоса вторя своей любимой...

Ах, этот малыш!.. Сколько надежд связывало с ним сердце молодой матери. Как верила она, что первенец будет всегда принадлежать только ей одной безраздельно, ибо этот хрупкий росток – плоть от плоти, кровь от крови – часть ее любящего сердца. Но она, увы, заблуждалась. Шло время, и приглядываясь к своему дитя, она все чаще узнавала черты ветра. “Это справедливо!» – рассудила она и не огорчилась. Но позже она обнаружила, что помимо родительских черт есть в этом маленьком и пока беззащитном комочке плоти нечто неподвластное ни ей, ни Ветру, чужое и потому пугающе-загадочное. Но именно это было его истинной сутью.

Когда Ветер, истосковавшись по простору, по дальним странам, по радугам, что чудными коромыслами висели в чужих небесах, отправлялся бродяжничать, малыш с приговорно громким плачем цеплялся за сильную отцовскую руку. Мечта увидеть весь громадный мир, вырваться из уютного отчего дома овладела им еще в младенчестве и была такой сильной, что однажды превратился он в летучую рыбу и унесся прочь, удивительное существо – дитя двух стихий.

Она горевала. Матери всегда безмерно больно, когда ее покидает первенец. Но страдания просветлили ее. Она поняла то, о чем и не подозревала прежде: чужим ребенок становится в миг рождения и потом с каждым днем отдаляется все дальше и дальше. Постепенно она утешилась. К тому же и детей было теперь у нее великое множество, и каждому из них по справедливости принадлежала частица материнского

сердца. Его хватает для всех!

Они были такими разными ее дети. Малыши с утра до ночи пестрой и звонкой каруселью кружили вокруг нее, зная, что пока она рядом, им ничто не грозит. А рядом со старшими – гигантами, вымахавшими под самое небо, даже она Великая мать – чувствовала себя неуверенной и робкой. Измученное многими родами тело ныло, даже когда она пребывала в покое. И теперь она порою с сожалением думала, что дети приносят огорчений куда больше, чем радости. Она устала, очень устала... Как выручали ее три светлоликих братца – дети далекой Звезды, что приходили каждый день порезвиться с ее сорванцами!

В бесконечной материнской суете она не запоминала, когда Светлоликие появлялись впервые. Они были приветливы и послушны. И красивы. Их красота обладала замечательным свойством согревать ласковым теплом всех, кто рядом, неважно, взрослый это или ребенок. Ее дети привязались к Светлоликим. Они громко радовались, когда те приходили, и печалились, если те ненадолго исчезали. И мать радовалась и печалилась вместе с ними, потому что хотела всегда, в любую минуту видеть своих детей только счастливыми. Сердце ее было в покое, когда с детьми играли эти желанные гости. Чего они только не придумывали. То круглыми золотыми хлебами озорно катились прочь, увлекая за собой доверчивых малышек, то драгоценными челнами блуждали среди волн, катая всякого, кто пожелает, до тех пор, пока ему

не надоест. Казалось, сама возможность радовать других доставляла Светлоликим несказанное удовлетворение.

Ей они подарили позолоченное платье из савсаны, удобное и нарядное, а главное, дарующее то удивительное тепло, которым были так богаты сами. Это платье стало самым любимым. Она была женщиной, и как все женщины любила красивые вещи, особенно, если это подарок. Ветер же, хоть и любил ее, никогда не делал подарков.

Ему такое и в голову не приходило. Сказать откровенно, он и за своей внешностью почти не следил, не знал, что спустя века, эта небрежность передастся многим мужчинам. Да разве кому удавалось заглянуть в будущее?

Однажды, перебирая свои наряды, она не нашла любимого платья из золотой савсаны. И вдруг вспомнила, что порой и Звезда щеголяет в таком же. «Уж не забрала ли она назад свой подарок?» Подозрение тотчас же передалось детям, потому что все они – и гиганты, и малыши-неумехи – были частями ее большого сердца. А подозрительность – страшное чувство. Оно накапливается исподволь, но однажды...

...Тот день начался как и тысячи других. Светлоликие пришли поиграть с ее детьми, но вместо радостных возгласов, какими приветствовали их обычно, послышался недовольный ропот уверенных в своей силе, а, значит, и в правоте своей гигантов. Двое Светлоликих, сообразив, что дело нешуточное, стремглав взмыли в небо, а младший, самый простодушный и доверчивый, задержался, чтобы сказать

недавним друзьям, как беспочвенны, недостойны и обидны их подозрения. Лишь некоторых удалось ему пронять и склонить на свою сторону справедливости. Началась ссора, всякий кричал свое, никто и слышать не желал другого. А когда начинается такая распря, всегда найдется некто, кто верит, что сила – лучший аргумент в споре. Напрасны были усилия Ветра, пытавшегося загасить пламя раздора. Долго не прекращался бой. Сила уничтожала силу. Жизнь гасила жизнь. Мир обагрился кровью.

С тех пор Светлоликие уже никогда не покидали небесных высот. В тот миг, когда узрели они гибель любимого младшего брата, исчезло нежное ласковое тепло, какое дарили они прежде. Сердце одного остыло навек, а у другого, напротив, вспыхнуло ярким пронзительным светом, зноем опалило все вокруг. Луной и Солнцем зовут теперь Светлоликих.

А мать оплакивала своих детей. Их бесчисленные трупы плавали черными островами, обуглившись под лучами немилосердного Солнца. Слезы матери были не в силах вернуть сыновьям жизнь: не успевала их исцеляющая влага достичь мертвых сердец, испарялась под лучами Солнца, оседая толстой коркой соли на трупах. Так образовалась Земля, на которой со временем поселились дети, чудом уцелевшие в великой схватке.

Давно это было, много тысяч лет назад, но у матери все в памяти. К тому же Ветер, день и ночь разгуливающий по свету, приносит ей вести одну горше другой. Дети враждуют

между собой, обагрят землю кровью, забыв, что земля – это прах их пращуров. Из поколения в поколение тянутся войны, жестокие, бессмысленные. И больно это матери, ибо с каждой новой жертвой все тяжелее становится твердь мертвой земли.

Всякий раз, когда Ветер приносит новую скорбную весть, начинает она стенать и метаться, обезумев от горя, не в силах совладать со своим истерзанным печалью сердцем. А какая мать, потеряв дитя, не страдала также отчаянно, как и она? И разве в силах стон передать всю боль материнского сердца? Бьется она о землю, а потом восстает до самого неба и оттуда валится обессиленная на прибрежные острые камни. Так казнит она себя вечно... Лишь изредка сменяется ее отчаянье тихой печалью: разметав по плечам седые волосы, припадает мать к груди своего мертвого дитя, в напрасной надежде вновь услышать удары его сердца...

Перевод А.Говберга.

ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКА

Сапар вообще не любил лета, а нынешнее, как назло, выдалось особенно жарким. Каждое утро солнце спешило выше подняться и принималось сушить и жечь землю. Посвежевшая было за ночь растительность теряла цвет и обессиленно сникала. Жара заполняла собою все вокруг, прозрачным маревом дрожала в воздухе. Да и сам воздух, казалось, выгорал – нечем было дышать. Сапар смотрел в окно на побелевший от зноя больничный двор и думал о том, что

лето, наверное, хочет положить весь мир в свой казан и варить до тех пор, пока ничего живого в нем не останется...

С утра забегала старшая дочь, они немного посидели в тени, но Сапар скоро устал и захотел вернуться в палату. После свежего воздуха в нос ударил особый, извечный больничный запах, от которого Сапара слегка мутило с непривычки. Он старался отвлечься и думал о приятном. О том, что Говхер постаралась и принесла его самые любимые кушанья. О том, что жена-покойница научила дочерей вкусно готовить... Но есть не хотелось. Сапар прилег на кровать, подложив выше подушки, и стал смотреть в окно. Жара все усиливалась, превращая двор в раскаленный тамдыр. Самые непоседливые обитатели больницы предпочли вернуться в духоту палат. Снаружи осталась только молодая пара.

Женщину Сапар знал – она была из их отделения, на днях ее оперировали. И парня он вспомнил. Как раз, когда привезли Сапара, парень этот, только что узнав, что жену его забрали в больницу, ворвался на мотоцикле через пролом в заборе прямо на больничный двор. На шум выскочила женщина в белом халате и, не желая слушать никаких вопросов, стала его выгонять. Она кричала до тех пор, пока он не убрался со своей тарахтелкой за ворота, так ничего и не узнав о здоровье жены...

И вот теперь они сидели рядышком, тихо разговаривали и улыбались чему-то, известному только им двоим... Глядя на них, Сапар смягчился сердцем, и жара уж не казалась ему

такой жестокой. Дышать стало легче, и он уснул.

Разбудили его звуки оркестра. Мимо больницы двигалась похоронная процессия. Наверное, простившийся с миром был военным – за гробом шло много людей в военной форме. Сапару вспомнилось, как они хоронили погибших в бою товарищей... Больно уколола мысль о том, что совсем мало осталось людей, прошедших войну. Не с кем поговорить о тех горячих годах, “похвастаться» ранами... Уходят старики... И его час, как видно, близок... Чтобы не раскиснуть совсем, Сапар старался не смотреть в ту сторону, но глаза сами находили раскинувшееся у горизонта кладбище...

Утром, когда вошел доктор, Сапар лежал бледный, в испарине, уставившись в одну точку.

– Что, яшули, свинец мучает?

– Нет, дружок, только переведи ты меня в западное крыло!

Врач в недоумении посмотрел на старика, потом подошел к окну...

– Хорошо, яшули, переведем.

* * *

Третий день Сапар Караяглы в больнице.

– “Фашист” проснулся, – говорил он о своей болезни. “Фашистом» называл Сапар сидевший в нем осколок, память о взятии Кенигсберга. Тогда, в сорок пятом, не смог этот “фашист» одолеть Сапара, добрался он до родного дома, женился, стал отцом четверых детей.

Дочерей своих он назвал Говхер, Мерджени и Дурдана.

Друзья шутили: “Эге, Сапар, да ты лучшие драгоценные камни, все жемчужины и кораллы раздал своим красавицам на имена, что же нашим останется?». А и вправду хороши были дочки у Сапара Караяглы!

И вот, наконец, у Сапара родился сын. Он дал ему имя Торе, хотя по традиции так называли четвертого мальчика в семье – девочки не в счет. Но Сапар не хотел обижать своих дочерей. Люди удивлялись этой его прихоти, а он отшучивался: “Пускай мальчишки думают, что у моего сына есть три старших брата и что лучше его не трогать!».

Дети были очень привязаны к Сапару, и он с удовольствием возился с ними. Была у них любимая игра: когда Сапар, облокотившись на подушки, пил чай, дочери, изображая птиц, взмахивали ручонками и бегали вокруг него. Малыш Торе семенил следом. Потом они всей компанией усаживались на ноги отцу, как на ветки, и он им что-нибудь рассказывал... Жена ворчала: “Ты их очень балуешь. Так они скоро тебе на голову сядут. Что им, на полу места мало?». Сапар не обращал внимания на эти упреки – он был уверен, что его дети вырастут достойными людьми. И они не подвели отца: все получили образование, вовремя обзавелись семьями... Сапару не было стыдно перед соседями за своих детей.

Младшие дочери закончили медицинский институт в Ашхабаде, там и нашли свое счастье. Старшую еще раньше выдали замуж в аул, где вырос Сапар, в семью его старого друга. Торе после службы в армии остался в Ленинграде учиться.

Закончив учебу, обзавелся семьей. Жалко, мать не дождалась этого часа: Торе женился через два года после ее смерти. Свадьбу справили, как положено, в родительском доме. Но не прошло и месяца, как Торе с молодой женой засобирались в Ашхабад: их туда «распределили». Сапар остался один.

Старшая Говхер, уговорила отца переехать к ней, в его родной аул: и ему веселей, и ей не разрываться на два дома. А хочет жить один, можно пристройку сделать с отдельным входом... Но Сапар Караяглы был старый человек... Ему нужны были старые, привычные стены...

Когда-то с легкостью оставил он дом, в котором вырос, и переехал, сюда, в райцентр. Работал на МТС сначала помощником тракториста, потом трактористом. Вернулся с войны – стал директором. Обзавелся семьей, хозяйством. Выросли дети и разлетелись, как птенцы перепелки. А Сапар никуда не поедет. Здесь его дом. Все бросить и начать заново он уже не мог и не хотел. Да и без конторы своей, родной «Сельхозтехники», не представлял Сапар себе жизни. Сюда он пришел мальчиком, здесь получил специальность, пошел в гору и, наконец, стал директором. Почти двадцать лет директорствовал Сапар. Времена менялись, менялось название организации, приходили и уходили люди, директор оставался. В положенный срок проводили Сапара на пенсию, только не сиделось ему дома, все ходил вокруг своей конторы. В конце концов оформился сторожем. «Не хочу оставлять место, где нашел достаток и уважение», – говорил он соседям. Сапар

рассчитывал проработать еще не один год. А тут вдруг старый осколок, сидевший в нем без малого тридцать лет, напомнил о себе. Видно, почувствовал «фашист», что сдавать стал Сапар, – зашевелился. Боль злая, жгучая просверлила ему бок и разлилась беспомощностью по всему телу.

...Перед глазами встал Кенигсберг. Перевернутые машины, дымящиеся танки с вывалившимися внутренностями, распухшие трупы на улицах...

Понял Сапар, что «фашист», затаившись, ждал своего часа и вот, кажется, дождался: не по силам старику теперь такое...

Врачи сказали, что нужно делать операцию. Сапар недоумевал: тогда, в сорок пятом, его не стали оперировать – слишком опасно было трогать этот осколок. Тогда было опасно, хотя Сапар был молодой и сильный, а теперь?

Он давно уже притерпелся к осколку. Прожил с ним, и неплохо прожил, большую часть своей жизни. Зачем же сейчас, на старости лет, идти на операцию? Нет, не хотел Сапар, чтобы его резали. Если уж пришла пора умирать, то умереть можно и с осколком, зачем лишние мучения?

Так думал он про себя, а с врачами шутил: «Вы не поверите, но я с этим железом так сжился, что мне его будет не хватать. Лучше уж оставьте все, как есть». Сапару объясняли, почему необходимо делать, операцию, но он не вникал в подробности. Ясно было одно: организм его изнашивался, а тут уж никакая операция не поможет.

Рана ныла теперь постоянно, но та острая, пронизывающая боль не повторялась, и Сапар надеялся, что поболит еще немного и пройдет. Так, глядишь, и протянет остаток дней своих без операции.

* * *

Доктор сдержал слово и перевел Сапара в другую палату. Хлопоты по переезду на новое место, знакомство с новыми соседями взбудоражило Сапара, и он долго не мог уснуть, ворочался, и только на рассвете задремал... Снился Сапару его первый бой под Смоленском, грохот и дым, потом долгая, бесконечная тишина, и боль, и жажда, и вдруг тихий, нежный звон колокольчиков.

Война часто снилась Сапару, особенно, когда болели раны. Сны эти всегда бывали тяжелыми, Сапар просыпался в холодном поту. А тут он открыл глаза, полный какой-то непонятной светлой радости... Но что это? Сапар давно не спит, а колокольчик звенит по-прежнему. Звенит точь-в-точь, как тогда под Смоленском...

...Сапар лежал в луже собственной крови, то и дело впадая в забытье. Мучительно хотелось пить. Временами принимался сеять тихий, мелкий дождик. Он не утолял жажды, но немного смягчал пересохшие губы... Сколько времени он пролежал так – Сапар не знал. Когда он услышал звон колокольчика, то сначала не поверил своим ушам: решил, что бредит. Но тут он увидел ясно, совсем близко от себя пятнистую козу с колокольчиком на шее и рядом с ней козленка...

Сапар собрал последние силы и закричал... Жгучая боль лишила его сознания...

Очнулся Сапар и телеге, которая везла его в госпиталь. Медсестра рассказала, что нашла его в лесу старушка, пасшая козу...

Так вот откуда эта радость, переполнявшая душу! Звук колокольчика означал для Сапара одно: «Спасен, буду жить!». Он почувствовал себя так, как будто вскочил на коня... И смешно, и стыдно ему было от мысли, что вчера еще готовился к скорому расставанию с миром... И понял Сапар, что увидит еще высокое небо над песками и надышится запахами трав, и снимет замок с двери своего дома...

Колокольчик звенел теперь в его душе постоянно. И тогда, когда лежал Сапар на операционном столе...

Дзинь...

Дзинь...

Дзинь...

Перевод В.Груздевой.

ЗАКОН ПУСТЫНИ

Крепко потрепанный, наполовину поредевший, эскадрон возвращался из Центральных Каракумов. Последний бой был самым жестоким. Дошло до рукопашной. В конце концов, скрываясь от сабель наших бойцов, басмачи бежали-таки в пески, но уж очень дорогой ценой досталась эта победа, – погибло человек тридцать красноармейцев.

Сразу же по возвращении на базу командир эскадрона приказал арестовать Семена Платонова, но допрашивать не стал – слишком устал сам, да и арестованный буквально валится с ног. Платонова отвели в темную, крохотную каморку рядом с конюшней и, захлопнув дверь, нацепили на нее огромный ржавый замок.

Командир поступил так после того, как несколько бойцов доложили ему одно и то же: в Каракумах, после боя Платонов собственноручно похоронил одного из погибших басмачей.

– Причем, товарищ командир, он плакал, – сказал один из красноармейцев.

– Плакал? Платонов? – не поверил тот.

– Я видел слезы на его щеках.

Семен Платонов сопротивления не оказал, ни даже возмущения при аресте не выразил – молча отдал оружие, зашел в каморку, носком сапога чуть-чуть разгреб, разбросал лежавшую кучей солому и, хрустнув суставами, растянулся, заки-

нув за голову руки. В нос ударил острый запах прели и мышей, но усталость свое взяла. Не успела захлопнуться дверь, как Семен уже храпел. Засыпая, он успел лишь подумать: «Завтра все расскажу по порядку. Командир поймет...».

* * *

В Мерве состоялось срочное совещание руководящих работников. Обсуждался вопрос: как быть с бандой, объявившейся в окрестностях Теджена. По слухам, это была часть войска головореза Джунаида. Банда хорошо вооружена, а самое страшное, – басмачам ничего терять, и они готовы на все. С тех пор, как Джунаид-хан потерпел поражение в последнем бою, басмачи мелкими группами стали уходить к границе.

На совещании было отмечено, что банда прежде чем уйти за кордон, попытается обманом или угрозами увлечь за собою жителей отдаленных селений, через которые она пройдет. Этим особенно и опасны басмачи.

Решено было установить наблюдения у колодцев, мимо которых вероятнее всего пойдут бандиты, создать с этой целью специальные отряды из числа надежных, хорошо знающих местность людей.

Когда отряд Семена Платонова после двух дней изнурительного пути достиг, наконец, колодца Кырккулан – Сорок куланов, стоял знойный полдень. Мертвая, гнетущая тишина висела над Каракумами. Вокруг, на сколько позволяли видеть поросшие редкими метелками селина барханы, – ни

души. Кажется, жгучий зной умертвил даже мух и цикад. Уставшие от долгого пути лошади стояли, понутив головы. У многих гноились глаза.

Первым делом бойцы принялись запастись водой. Заполнив бурдюки и фляжки, напоили лошадей. Потом, отойдя чуть-чуть от колодца в ложбинку, заняли позицию, удобную для наблюдения. Замаскировались ветками тамариска, лошадей свели за бархан.

По словам проводника, на многие десятки километров вокруг пресной воды нет, значит, Кырккулан бандитам не миновать никак. Местность была, в основном, ровной. Лишь кое-где возвышались барханы.

Вокруг колодца, там, где люди и лошади оставили следы, Платонов приказал подмести. Пятеро бойцов, вооружившись полынными вениками, битый час трудились в поте лица, выполняя приказ.

Трое суток красноармейцы вели наблюдение. Днем Платонов, вооружившись биноклем, цепким взглядом ошупывал степь, по ночам, то и дело прикладываясь ухом к земле, слушал, – не донесется ли топот конских копыт. Но все так же маячили днем у горизонта миражи, а по ночам гробовое молчание пустыни изредка нарушалось лишь диким хохотом сов, да пронзительным криком какой-то таинственной птицы.

Четвертый день начался так же, как и три предыдущих: чертил над колодцем за кругом круг коршун, всплывал

над Каракумами бронзовый диск солнца, молчали барханы. Коршун... На него Семен обратил внимание еще вчера. Присмотревшись повнимательнее, Платонов заметил вдали остатки какого-то небольшого животного.

Под вечер решено было, что с наступлением ночи отряд уйдет обратно, так как засада их оказалась делом абсолютно пустым. Платонову стало ясно, что басмачи проскользнули каким-то другим путем. Но каким? Он сам неплохо знал эти места, да и проводник надежный вроде бы...

Выстрел прозвучал так неожиданно и резко, что Платонов инстинктивно втянул голову в плечи. В следующее мгновение он обернулся, схватившись за оружие.

На ближайшем бархане стоял всадник и, размахивая винтовкой, кричал:

– Э-э-эй, балшебик, береги голова!

Развернув коня, он, молодецки гикнув, исчез. Если бы Платонов видел его один, он бы мог подумать, что все это ему пригрезилось. От нестерпимой жары мутилось сознание, человеку могло привидеться и не такое. Только этого всадника видел весь отряд и сомнений никаких не было, – рядом басмачи.

Поведение всадника подсказало Платонову, что враг уверен в своих силах, красноармейцам предстоит нелегкое испытание.

– К бою! – крикнул он.

И почти тотчас же захлопали беспорядочные выстрелы.

Там и здесь стали вспыхивать фонтанчики пыли, басмачи прижимали красноармейцев к земле.

– Огонь! – скомандовал Платонов. Красноармейцы дали залп, – вражеский пыл несколько поубавился, но стрельба продолжалась. Вскоре стало ясно, что силы сторон примерно равные, и перестрелка может затянуться.

Солнце скрылось за горизонтом, на Каракумы накатывалась темная душная ночь.

– Лазаренко, ко мне! – позвал командир.

Платонов, да и все бойцы понимали, что положение, в котором они оказались, было более чем серьезное. Нужно было срочно принимать какое-то решение.

– Вот что, – сказал Семен подползшему бойцу, – нужно во что бы то ни стало пробиться к соседнему колодцу. Сообщи ситуацию, попроси помощи.

– Есть пробиться к соседнему колодцу!

Но выполнить приказ командира боец Лазаренко не смог, – его настигла басмаческая пуля в тот самый момент, когда он прыгнул в седло. Вторым, кого послал на это задание Платонов, был Чары Мерген. Но он не смог сделать даже того, что удалось Лазаренко, остался лежать на склоне холма еще по пути к лошади.

Третьему бойцу дать поручение Платонов не смог, – в десяти шагах слева от себя он вдруг заметил огромную, как хороший куст перекасти-поля, папаху, вскинул винтовку, но нажать на спусковой крючок не успел... Грохнул выстрел.

Семен почувствовал в плече обжигающую боль.

Усыпанное крупными звездами небо мелькнуло перед его затуманенным взором раз, второй раз...

Потом наступила тишина. Хотя и не абсолютная. Он слышал хлопки выстрелов, конское ржание, какой-то храп и гор-
танные выкрики, но они были какие-то не реальные, каза-
лось, бой идет где-то далеко-далеко. Открыв глаза, он увидел
над собою склонившегося Хайрулина. Боец что-то говорил,
но Платонов звука его голоса не слышал совершенно. Хай-
рулин тащил его куда-то в сторону, потом укрывал ветками
тамариска и жесткими метелками селина...

Очнулся Семен Платонов на дне неглубокой ямы, сквозь
ветки, которыми он был тщательно укрыт, ярко светило
солнце. Солнце-то его больше всего и удивило: последнее,
что он помнил, были звезды, ночь. А тут вокруг – солнце...

Преодолевая боль в плече, он кое-как разбросал ветки,
выбрался из ямы. Тишина и зной точно такие же, как вчера
и позавчера, висели над степью. И коршун описывал высоко
в поднебесье широкие, хищные круги.

В кобуре Платонов нащупал наган. Это его тоже немало
удивило. Судя по всему, отряд красноармейцев был разбит,
а басмачи, прихватив коней, кое-что из амуниции и оружие,
срочно убрались. Не зря говорят, что вор труслив, как шакал.

Взгляд Платонова задержался вдруг на фляжке. Она ва-
лялась неподалеку под кустом колючки и очень походила на
черепашу, наполовину зарывшуюся в песок. Семен поднял

фляжку. В ней булькнуло. Воды было совсем мало, – три-четыре глотка не больше, но для человека, оказавшегося один на один с палящим зноем пустыни и это – сокровище.

Обогнув бархан, Платонов увидел несколько мертвых тел, дальше еще. Все ясно, – отряд героически сражался.

Мысли путались и ускользали. Семен никак не мог сосредоточиться на какой-то одной. “Знали бы в Мерве о случившемся... Как обстоят дела на других колодцах?.. Неужели и там вот такое же? Как же это получилось?..»

Он брел на север, туда, где, по его предположению, был ближайший колодец. К вечеру он достиг лощины, с трех сторон окаймленной довольно высокими холмами. Уже в потемках он вышел на какую-то дорогу. Дорога была не слишком наезженная, но и она обрадовала Платонова: куда-нибудь приведет.

Холмы, холмы, холмы... Им, казалось, не будет ни конца, ни края. В темноте они очень походили на туркменские кибитки. Горбатые, однообразные холмы.

Под утро он присел на краю неглубокого овражка у обочины дороги. Все тело его ныло от усталости, онемевшее плечо горело.

“Неужели не будет конца этим холмам? – подумал Платонов. – Всю ночь, как черепаха, ползу между ними. Они, кажется, толпой сопровождают меня, покорным стадом бредут за мною вслед... Как это шакалы не набросились на меня, когда я целую ночь валялся в яме?..»

Он вспомнил кружившего над местом боя коршуна. Коршун этот в первый момент обрадовал его, – хоть какое-то живое существо поблизости, не один он в этом жутком, бескрайнем безмолвии. Некоторое время Платонов следил за птицей, пытался даже считать круги, очень скоро сбился, начал заново, но мысли наплывали друг на друга...

От того ли, что он долго смотрел в огромное, без единого облачка, небо, от дурноты ли, которая волнами подкатывала к горлу, Платонова вдруг охватило чувство одиночества и безысходности.

Потом вспомнился почему-то варан, которого он встретил как-то в песках. Тот шипел и готов был вцепиться в лошадь, облизывал влажным языком глазки-бусинки и зло хлестал по земле, как кнутом, длинным, мощным хвостом.

Временами Платонов видел все это, и коршуна, и варана так отчетливо и ясно, что начинал сомневаться жив ли он. Может быть он уже мертв и теперь уже там, на том свете, ему вновь «прокручивают» бывшую жизнь?

Где-то вверху Семен услышал непонятный шум. Он открыл глаза, над ним кружилось несколько коршунов. Стоял день. Ярко светило солнце. Платонову стало не по себе, – кажется, только что был вечер...

Собрав последние силы, Платонов вскочил на ноги и замахал здоровой рукой.

– Я жив! Я еще жив, мерзавцы! – закричал он. – Мои глаза вам дорого обойдутся... – И зашагал, соображая откуда и

куда он идет. Шагалось Платонову легко, – ноги сами несли его опустошенное тело...

Потом вновь была ночь. Темная с крупными, четкими звездами. Платонов отыскал ковш Большой Медведицы, Полярную звезду. Поглаживая остывший песок, он смотрел в небо, – почему-то захотелось найти Венеру, но в голове был такой сумбур, что Платонов вскоре понял: ему необходимо отдохнуть, хоть чуть-чуть набраться сил. Он растянулся на песке и почти мгновенно уснул.

Проснулся Платонов от легкого озноба. Было еще темно, но судя по всему, вот-вот должно светать. Низко над горизонтом висела яркая звезда, уже розовел восход.

Семен сел, соображая, куда идти ему. И вдруг до слуха его долетел собачий лай. Платонов встрепенулся, встал на ноги, прислушался. Лай повторился. Сомнений не было, где-то поблизости чабанский кош. Впрочем, как сказать, поблизости. Хороший пес, из тех, что служат туркменским чабанам, чует чужого человека на расстоянии дневного перехода. И все-таки сердце Платонова радостно забилося, – где-то рядом люди, а значит и его спасение.

Он решительно двинулся в ту сторону, откуда свежий предутренний ветерок время от времени доносил еле слышный лай.

...Поднявшись на гребень очередного бархана, Платонов увидел в лощине, что расстилалась перед ним, небольшое селение, – десятка полтора-два плоскокрыших землянок и

столько же кибиток. Селение еще не проснулось, признаков жизни в нем Семен не заметил, если не считать дымящегося костра на возвышении и одинокого пса, который вертелся у одной из землянок.

Из этой землянки вскоре вышла женщина в высоком головном уборе с кумганом в руке. Вышла она, судя по всему, для совершения омовения. Женщина не на шутку растерялась, заметив странного незнакомца, похожего больше на человеческую тень, чем на человека. Опустив на землю кумган, она прикрыла ладонью лицо и забормотала заклинание. Семен понял, что если он сделает хоть один шаг, – она закричит, соберет народ.

Платонов стоял как изваяние, лихорадочно вспоминая, что это за селение. Кто живет в нем? Видно, что поселок возник здесь недавно и оставаться надолго в этой лощине жители его не собирались, – все постройки были временные, видно, что сооружали их на скорую руку.

Там, где минуту назад была женщина, стоял один кумган. Семен вздрогнул, хотел было повернуть вспять, скрыться за барханом, но из землянки поспешно выскочил коренастый мужчина с ружьем в руках. В несколько прыжков он поднялся на бархан к Платонову.

– Кто ты? Откуда?

– Пить, – с трудом вымолвил Семен, чувствуя, как силы покидают его. – Я ранен...

Человек с ружьем огляделся, обошел опустившегося на

песок Платонова и, поняв, что тот один и никакой опасности не представляет, несколько успокоился. Он присел рядом, обулся как следует в чокаи, в которые он, видимо, второпях сунул ноги кое-как.

– Пить, – повторил просьбу Платонов.

– Вставай! Не прикидывайся, – толкнул его в бок прикладом коренастый. – Какого черта шляешься по чужим степям?.. Что, на родине тесно?

Грубый окрик прояснил сознание Платонова. Он понял, что сам пришел к своей смерти. Теперь он ожидал всего от этого коренастого: грубости, даже смерти. Коренастый был так жесток и груб, что от него можно ожидать что угодно.

Спас Платонова тихий женский голос.

– Сынок, бедняга просит воды. Дай ему напиться!

Коренастый обернулся, – внизу у бархана стояла та самая женщина, которую Семен увидел первой в поселке.

– Напой его, – продолжала женщина. – Говорят же, что у пришедшего к человеку джейрана за душой нет ничего, кроме ясных глаз.

– Это не джейран, мать. Это волк-подранок.

– Кто бы он ни был, ему надо помочь. Не будь бессердечным, сынок. Он – гость. А гость в доме выше отца. Такой старый туркменский обычай. Твой старший брат Оразклыч погиб в перестрелке: он защищал гостя. Жаль, ты был мал тогда и не помнишь Оразклыча...

Семен как во сне видел: коренастый спустился с бархана,

стал что-то говорить матери, беззвучно шевеля губами, отдал ей ружье и вновь двинулся вверх, к Платонову...

* * *

Очнулся Семен в совершенно темном, сыром помещении. Пахло кизяком и гнилью. Видимо, здесь раньше содержали овец и коз. Лежал Платонов на кошме, под которой шуршала сухая трава. Где он? Что с ним?

Он вспомнил бой, яму, в которой очнулся, потом стервятников в мутном, знойном небе...

У него за спиной скрипнула дверь, в помещение пробился слабый луч света. Платонов обернулся: женщина, которую он встретил утром в незнакомом поселке, подошла к нему, наклонилась. Под мышкой у нее миска с выщербленным краем.

Осторожно приподняв голову раненого, женщина подложила ему подушку, смазала рану какой-то с резким запахом мазью и ушла, не проронив ни слова. Мазь оказалась целебной: боль мало-помалу стала затихать. Семена прошиб пот, и он незаметно уснул.

Проснувшись, увидел в полуоткрытой двери коренастого человека, который сидел, скрестив ноги по-восточному. Коренастый, поплеывая на ладони, вил веревку. Одет он был в красный халат и белую миткалевую рубашку с разрезами на плечах. Красовавшаяся на его голове тибетейка напоминала лоскут ковра.

“Хорошо, – размышлял Платонов, – что набрел я на этих

людей. Чудо... Какое-то чудо спасло, помогло мне. Если останусь в живых первая моя благодарность им: вот этому мужчине и его матери. Без нее он... Неизвестно как бы поступил он со мною, не будь рядом ее. Хорошо, что увидела меня его мать, а не жена. Жен туркмены не очень-то слушаются...»

Заметив, что Платонов не спит, коренастый отложил в сторону веревку, снял тельпек с тыквы, которая лежала в стороне, и надел себе на голову.

– Ты хорошо знаешь туркменский?

– Чуть-чуть знаю.

– Тогда слушай...

– Чуть-чуть знал...

– Молчать тоже надо уметь, – грубо оборвал его коренастый. Придется лечить тебя. Рану твою нужно вскрывать – загноилась. Будет больно. Мы, конечно, свяжем тебя, но...
Смотри, не заори.

– Постараюсь.

– Старайся. Знай, что здесь живут люди, бежавшие от большевиков. Если тебя обнаружат в моем доме – расстреляют. Растерзают меня и мою семью...

– Понимаю, – тихо сказал Платонов. – Все понимаю.

– Ну и хорошо, что понял.

Коренастый собрался было уйти, считая разговор оконченным, но задержался, уловив взгляд Семена.

– Чего тебе?

– Как зовут тебя?

– Как зовут? – коренастый обнажил в улыбке крепкие белые зубы. – Называй меня Джумаклычем.

Уходя, Джумаклыч плотно прикрыл дверь, оставив Семёна в темноте, один на один с нелегкими думами. И опять вспоминались ему дом, бойцы, погибшие в том горячем бою у колодца Кырккулан.

Примерно через час после ухода Джумаклыча в клетушку вошла его мать, накормила Платонова свежим чуреком и простоквашей. Тут же в сопровождении мальчугана лет двенадцати или тринадцати появился вновь Джумаклыч.

Платонов понял, – они собрались вскрыть и прочистить ему рану. Руководил “операцией» Джумаклыч. Засучив рукава и не медля ни минуты, он приступил к делу. Вначале он крепко связал ноги Платонова, взвалив на них тяжеленный чувал с зерном.

– Свет, – коротко приказал он мальчугану.

Тот чиркнул спичкой и зажег керосиновую лампу. Женщина принялась аккуратно промывать рану теплой водой из кумгана. Джумаклыч извлек из ножен клинок и... Семен закрыл глаза и до боли в скулах сжал зубы. “Главное, – думал он, – не кричать. Черт с нею, с рукою. Без руки прожить можно...»

Платонов не видел, что делает с его плечом Джумаклыч, но по тому как орудовал он кинжалом, какая адская боль обжигала тело, ему казалось: вот-вот отрежут руку. Хотелось

закричать что есть мочи: “Уйдите!.. Уйдите ко всем чертям! Оставьте мою руку в покое!..». Но “хирурги» предусмотрительно перевязали ему рот платком. Платонов хрипел, корчился от боли...

Всякий раз, открыв глаза, он видел близко-близко над собою озабоченное потное лицо Джумаклыча. Слышал, как он шепотом отдавал помощникам какие-то команды, но смысла их не понимал, сознание уплывало куда-то...

Закончив операцию (Семену показалось, что она продолжалась целую вечность), Джумаклыч приложил к ране все ту же мазь из деревянной миски. Женщина забинтовала плечо. Джумаклыч и мальчик, поднатужившись, убрали чувал с зерном.

Более суток Платонов пролежал почти не шевелясь. Боль постепенно утихла, но во всем он ощущал такую слабость, что казалось, не в состоянии был сделать и шага. Пожилая женщина время от времени приносила семену пищу: то миску супа, то молока, то свежего, с хрустящей корочкой чурека.

Зашел как-то и Джумаклыч.

– Как дела, урус?

– Ничего, – сказал Платонов. – Поправляюсь...

– Аллах даст, выздоровеешь.

Платонов понимал, что коренастого гложут какие-то свои заботы и невеселые мысли. Джумаклыч-кумли, человек песков, а эти люди, полагал Платонов, должны быть склонны к разговорам. У них естественная потребность поговорить, из-

лить душу, так как собеседник для них – редкость. Но Джумаклыч не соответствовал этим представлениям, – угловатый какой-то, угрюмый, он таинственно и многозначительно молчал.

– Джумаклыч, – обратился к нему Семен.

Джумаклыч обернулся и, вскинув бровь, молча спросил: “Говори, что нужно?».

– Я хотел спросить... Почему ты здесь?.. Почему сбежал от “большевиков? Богатства у тебя нет. По рукам твоим вижу, что человек ты работающий, не из баев. Бояться тебе нечего было.

– Спасая честь, уйдешь, куда угодно, – буркнул Джумаклыч.

– Зря говоришь так. Советская власть не покушалась на твою честь. Напротив, большевики воюют за честь вот таких как ты бедняков.

Джумаклыч долго сверлил Платонова злым, колючим взглядом и молчал. Замолчал и Семен.

– Вот что, – сказал как отрезал Джумаклыч. – Как только сможешь подняться, – поднимайся и уходи. Уходи немедленно, и на глаза мне впредь постарайся не попадаться.

Он шагнул в проем двери.

“Не понял. Ничего не понял он, – с огорчением подумал Платонов. – Жаль таких людей. Десяток богатеев сбили с панталыку сотни бедняков. Ну, уйдут они за кордон. Баи заживут и там. А вот такие, как Джумаклыч... Он потеряет ро-

дину, потеряет самое дорогое, что есть у него. Черт возьми, почему я так плохо владею туркменским!...».

То, что Джумаклыч не понял его, он отнес к своему незнанию языка. Владей Семен туркменским в совершенстве, он объяснил бы, в какое болото тянут бедный люд баи и муллы.

Он вспоминал, как говорил ему отец: «Учи туркменский, Сема. Помни, сколько языков знает человек, столько раз он и человек». Семен бывал с отцом на дальних чабанских стойбищах в Каракумах, подолгу жил там, но языку так и не обучился. Слов знал много, говорил отдельные фразы, почти все понимал, но сам говорить не мог. Сейчас он об этом очень и очень пожалел. Может быть впервые в жизни.

Трудно сказать, как долго после ухода Джумаклыча лежал в полной темноте Семён. Может, час, а может, два. Он стал уже было засыпать, когда где-то совсем близко, кажется, за спиной, услышал странное пыхтение, похожее на тяжелое, злое дыхание. Почему-то обожгла страшная мысль: «Джумаклыч решил-таки свести счета... Неужели конец?». Сердце Платонова застучало чаще, гулкие удары его отдавались болезненными точками в висках.

Он обернулся в ту сторону, откуда слышался сап и непонятное пыхтение. В стене Платонов увидел дыру, через которую проникали яркие лучи утреннего солнца. Как он понял, дыра эта существовала и раньше, но была заткнута пучком травы. Сейчас же эту траву съела какая-то корова. А может быть, и верблюд. Во всяком случае, в камерке стало со-

всем светло. Неподалеку видны были беспорядочно построенные убогие домишки, несколько задумчиво пережевывающих жвачку верблюдов.

Целый день Платонов наблюдал за жизнью поселка. Под вечер на видневшемся вдали бархане стали собираться всадники. Они о чем-то спорили, были очень возбуждены, и Семен пожалел, что не слышит их голосов. Он насчитал не менее тридцати верховых, вооруженных ружьями и клинками. Они имели весьма грозный и решительный вид.

Главным предводителем, как понял Платонов, был тот, что гарцевал на горячем ахалтекинце гнедой масти. В конце концов он взмахнул, “за мною, мол», пришпорил коня и поскакал в степь. Остальные, построившись в колонну по два, последовали за ним.

Поселок опустел и притих.

* * *

Возвратились всадники лишь на следующее утро. Вначале в селении появились два жеребенка, они сопровождали маток в ночном походе и теперь, как охотничьи собаки, бежали впереди отряда. Увидев жеребят, за околицу селения горохом сыпанула детвора, – встречать отцов и старших братьев. Засуетились у очагов женщины, селение в считанные минуты преобразилось, ожило вдруг, повеселело. В каморку Платонова проник приятный запах жареного мяса.

Вчерашняя ватага проехала в нескольких шагах от Платонова. Вспотевшие лошади устало пофыркивали, всадники

перебрасывались малозначительными фразами.

И вдруг сердце у Семена оборвалось. Он чуть не вскрикнул от неожиданности: за последним всадником, скользя и падая, шел босой, со связанными руками и непокрытой головой человек. Платонов не знал его в лицо, но догадался, что, наверняка, из красноармейцев.

Неподалеку от жилища Джумаклыча пленника швырнули на землю, и его остались охранять трое вооруженных джигитов. Любопытные мальчишки окружили их плотным кольцом.

Что с ним будет? – лихорадочно соображал Семен. – Что они задумали?..»

Пленника видно не было, но по фигуре одного из басмачей в белой папахе Платонов понял, что идет допрос. О чем спрашивала белая папаха, слышно не было, ответов тоже, но как вел себя пленник Семен вскоре понял. Понял по реакции толпы.

Двое всадников, привязав пленного за руки, пустили лошадей вскачь и вскоре скрылись за барханом. Семену показалось, что басмачи потащили его самого. Он даже ощутил во рту привкус крови, смешанной с землей. Солоновато-горький и терпкий привкус.

* * *

Солнце клонилось к закату. Платонов сидел, облокотившись о мешок с зерном, и с тоскою размышлял о том несчастном, которому устроили такую скорую расправу бас-

мачи, о том, что он и сам на волоске от смерти. Стоит Джумаклычу...

Скрипнула дверь. Платонов вздрогнул и обернулся. Вошел мальчик, тот самый, что помогал отцу “оперировать», с миской плова в руках. Плов был свежий, горячий. Вкусный запах приятными волнами поплыл по каморке.

Мальчик приветливо улыбнулся Семену, поставил перед ним угощение и, опасливо оглянувшись на дверь, торопливо распахнул халат, – на груди у него красовалась небольшая красная звездочка. Он собирался что-то сказать, уже открыл было рот, но тут в дверях появилась коренастая фигура Джумаклыча.

– Кхе-кхе, – откашлялся он. Мальчуган бесшумно выскользнул из каморки.

– Принеси кумган, – напомнил ему Джумаклыч.

– Сейчас...

Джумаклыч подсел к Платонову.

Они ели из одной миски, причем, Джумаклыч подталкивал Платонову лучшие куски мяса. Движения хозяина неторопливы, он спокоен и важен. Так ведут себя люди, чья жизнь протекает в полном достатке, у кого легко на душе.

После обеда он прошептал молитву, провел по лицу ладонями, достал из кармана отполированную до блеска табакерку.

– Будешь? – предложил он Семену.

– Нет. Спасибо, – отказался Платонов.

Джумаклыч сидел некоторое время молча, прикрыв глаза тяжелыми веками. Казалось, он даже задремал. Семен хотел было заговорить, но не решился.

Джумаклыч вскоре поднялся и, не проронив ни слова, вышел. Почти тут же вошла женщина в высоком головном уборе. Она навещала Платонова часто, раза два-три в день, справлялась о его здоровье и поэтому приход ее нисколько не удивил. Удивили слова женщины.

– Уходи, сынок, уходи, – шептала она. – Рука твоя заживет... Да поможет тебе Аллах!..

Платонов встрепенулся. Что-то меняется в окружающем его мире. Так старуха заговорила впервые.

– Прости нас, милый человек, если чем обидели. Будь здоров и счастлив. На очаг наш зла в сердце не держи... – Платонову в этот миг почему-то вспомнилась его родная мать. Ничего, казалось бы, похожего, а вот вспомнилась. Старуха говорила еще что-то, но Семен ее не понял. Вернее, не все понял, так как говорила она скороговоркой, полушепотом.

Джумаклыч пришел, нарушив сон Платонова, поздно ночью. В руках у него была японская пятизарядная винтовка, на поясе – кривой клинок.

Семена бросило в жар – он не на шутку испугался. Ему стало не по себе от того, что вот так глупо оборвется его жизнь. А ведь мог Платонов найти удобный случай и убежать отсюда. Мог, даже подумывал об этом, но промешкал.

Джумаклыч протянул ему узелок, а фуражку его и сапоги

завязал в какие-то лохмотья и сунул под мышку.

– Одевайся...

Семен обнаружил в узелке... женское платье. И он понял все. Понял, что слишком плохо подумал об этих добрых, приветливых людях.

За порогом их ждала мать Джумаклыча.

– Живым дойди до родного дома, – сказала она.

– Спасибо, – ответил Платонов.

Они молча шагали по безлюдной дороге. На одном из барханов мальчик разжигал костер. Вскоре Платонов увидел, что это его старый знакомый. И понял, что селение охраняется, что со всех сторон выставлены сторожевые посты. Понял он еще и то, что сегодня на посту Джумаклыч с сыном, – а это самая благоприятная возможность для Семена уйти незамеченным.

– Вот что, – сказал Джумаклыч сыну, – давай сюда коня. А огонь потуши. В случае чего, если спросят, скажи, что отвязался конь, и отец его пошел искать.

– Хорошо, – сказал мальчуган и торопливо бросился вниз по склону бархана.

Джумаклыч и Семен сели вдвоем на коня. Ехали они молча, размышляя каждый о своем. У Платонова радостно билось сердце, скоро, через день-другой он доберется к своим, попадет домой...

Восток уже вовсе алел, вот-вот должно было взойти солнце, когда Джумаклыч остановил коня.

– Дальше ты пойдешь один, – сказал он. – Держись все время востока, и ты очень скоро выйдешь к аулу. Там большевики.

Джумаклыч достал из хурджуна кувшин с водой, кусок чурека и подал Платонову.

– На. Пригодится, – буркнул он и развернул коня.

– Джумаклыч, – сказал Семен. – Спасибо! Спасибо тебе за все... Ты мне как брат...

– Иди. Иди к своим. Ты меня не видел, я – тебя. Таков закон пустыни! Ты враг, но ты был моим гостем... – сказал Джумаклыч и, развернувшись, пришпорил коня.

* * *

...Поступок Семена Платонова возмутил его боевых товарищей.

Я их понимаю, – размышлял он, засыпая, – они ведь ничего не знали, что было до этого... Я не мог поступить иначе. Да, Джумаклыч сражался в басмаческом стане, он метко разил наших бойцов, но потом, после боя, когда остатки банды ушли в пески, а Джумаклыч остался лежать на песке...»

Коренастое тело Джумаклыча черным пятном выделялось на желтовато-сером бархане. Вокруг, на сколько хватало глаз, простирались Каракумы. И казалось, нет им ни конца, ни края. Папаха Джумаклыча с длинными шелковистыми завитками валялась чуть поодаль и напоминала куст перекасти-поля, рядом покачивалась под ветром воткнутая в песок сабля. Казалось, она не знала, в какую сторону упасть...

Перевод Н.Золотарева. 1980 – 1981 гг.

МАЙОР, ПОХОЖИЙ НА МЕНЯ

Об этом майоре я впервые услышал в госпитале, через несколько дней после операции. Выходит, если бы не это происшествие, никогда бы и не узнал о нем...

В армии я служил в Прибалтике. Наша часть стояла в небольшом городке, окруженном удивительной красоты светлыми сосновыми лесами. Призвали меня весной, а осенью, когда мы отрабатывали технику ночного десантирования, я плохо приземлился, поранился и попал в госпиталь. Впрочем, сам виноват...

Нас выбросили, как говорится, в заданном квадрате. Покачиваясь, опустился я под большой юртой парашюта. Сейчас он был моим домом. Оказавшись в тугих объятиях воздушного потока, я, как всегда, почувствовал нервное радостное волнение. Нет, мне не было страшно. Наоборот. Я летел, и настроение у меня было отличное. Я горланил нашу взводную песню «Об армии, умеющей летать» и был самым сильным, самым смелым, самым счастливым человеком на свете.

В воздухе стоял крепкий смоляной дух сосен. Пролетев уже порядочное расстояние, я, как положено, определил направление ветра и стал готовиться к приземлению. А это дело серьезное. Нам сержант Михалев все уши прожужжал: «Главное – не прыгнуть, главное приземлиться». Плотная чернота была внизу и только прямо подо мной светлела

небольшая такая площадка. Пятачок. Но это только с высоты так кажется. В самом деле там ахалтекинец может на полном скаку развернуться. Я припомнил, что на карте в нашем квадрате было небольшое озеро. Принимать поздней осенью холодные ванны удовольствие, скажу вам, ниже среднего. Я решил взять немного в сторону, подтянул стропы с наветренной стороны – моя юрта стала парусом. Управляя им, я легко изменил направление полета. Скоро светлое озеро внизу уплыло в сторону. Подо мной теперь была сплошная чернота. Она дыбилась, как крепостные стены, надвигалась на меня стремительно и страшно. Я надеялся оказаться над пашней и только теперь сообразил, что внизу лес. Изменить что-либо было уже поздно, я валился прямо на деревья. Острыми пиками целились они в ночное небо, а, значит, и в меня. Я сгруппировался, как нас учили, обхватил голову руками, чтобы защитить лицо и глаза, инстинктивно зажмурился. Сначала я почувствовал легкий удар. Колкая хвоя сразу затормозила падение; с треском ломались ветки, я скользил вниз. И вдруг словно овчарка вцепилась мне в ногу. Жуткая боль пронзила меня. Она возникла в бедре, ожгла меня жарким пламенем, молнией ударила в мозг. На мгновение я приоткрыл глаза – толстая ветка вонзилась мне в ногу, я висел на суку, как лягушонок на шампуре...

Через несколько месяцев, когда я вернулся в свою часть, мне сказали, что внизу было совсем не озеро, а замечательная песчаная пустошь. Опустись я на нее, все закончилось

бы благополучно. Правда, тогда бы я не узнал о похожем на меня майоре.

Мне рассказал о нем Итиль. Молодой солдат родом из Башкирии. Я познакомился с ним на другой день после операции. Что было до этого, помнится смутно. Несколько раз я приходил в себя, когда санитарная машина везла меня в госпиталь. Тускло светила лампочка. Близко, прямо надо мной было испуганное лицо Михалева. Его губы шевелились, но я не слышал ни слова. Потом все затянуло красным туманом. Как проходила операция, я, конечно, не помню. Говорят, она была сложной и тянулась несколько часов. Боялись, что скажется большая потеря крови. Но уже на следующий день после операции я почувствовал себя лучше, даже начал разговаривать с соседями по палате. Кроме Итиля со мной лежало еще двое ребят. Тоже рядовые. Мой сосед слева, Миша Гранкин, оказывается, служил в одной части со мной. Койка возле окна принадлежала долговязому парню в очках. Я с ним толком и не познакомился. Он почти не разговаривал, сидел на кровати, выставив из-под одеяла тощие бледные ноги, и читал, читал, читал. То книгу. То газеты. Читает и почесывает пяткой ногу. С нее гипс сняли, а после гипса кожа, говорят, очень зудит. Через несколько дней парня перевели в палату для выздоравливающих, а я даже имени его не узнал.

В фойе госпиталя стоял телевизор. Его включали по вечерам, и те, кто мог передвигаться, собирались внизу, смотрели все передачи подряд, даже как диктор объявляет про-

грамму на завтра. Я был лишен этого удовольствия. Но ребята меня не забывали. И Миша Гранкин, и Итиль теперь не засиживались у телевизора. Посмотрят кино и возвращаются. Мы болтали вечера напролет. О том, о сем, но чаще всего, конечно, вспоминали девушек, с которыми дружили на гражданке.

Однажды, когда мы вот так трепались, я перехватил внимательный взгляд Итиля. Оглянулся, но Итиль быстро отвел глаза в сторону и почему-то тихонько вздохнул. Я стал исподишка наблюдать за ним и через какое-то время опять почувствовал на себе его взгляд. Я забеспокоился. Всякому не по себе станет, если окажется, что за ним наблюдают тайком. А мне только сложную операцию сделали. Может, Итиль что услышал? Вдруг ногу хотят ампутировать? Внутри у меня все похолодело. Для приличия я время от времени поддакивал Гранкину, но мысли теперь были заняты другим.

Я видел, что Итиль хочет мне о чем-то сказать, но то ли не решается, то ли не найдет подходящего момента. А спросить его напрямик в чем дело, я, честно сказать, не решался. Так и промучился почти сутки. Только на другой день вечером мы остались с Итилем наедине. Гранкин пошел смотреть телевизор, он и Итиля звал с собой, но тот стал поправлять мне постель, сделал вид, что не слышит, и остался в палате. Тогда-то он и рассказал мне об этом майоре.

В поселке неподалеку от части, где служил Итиль, на кладбище есть братская могила. Солдат возили туда, когда празд-

новали День Победы. В этой могиле похоронены бойцы, погибшие в бою за освобождение поселка от фашистов, и их командир, молодой майор, туркмен. Итиль уверял, что мы похожи с ним как две капли воды, как близнецы...

Теперь я почти все время думал об этом майоре. Снова и снова просил Итиля рассказать о нем, описать, как он выглядит. Итиль вскоре выписался, но я и тогда не забыл о своем двойнике. Я так часто думал о нем, что скоро научился по желанию вызывать в воображении его образ. Стоило закрыть глаза, я видел, как выхватив из кобуры пистолет, он бежит, не боясь огня, впереди своего батальона, увлекаая солдат в атаку. Усилием воли я укрупнял картину: горящие глаза, тонкий с горбинкой нос, продолговатое, «лошадиное» – так сказал Итиль – лицо... Я все сильнее верил, что действительно похож на этого майора.

Я поправился, выписался из госпиталя, вернулся в свой полк, а все не мог, не хотел забыть о нем. Я сроднился с этим майором, он стал частью меня. Однажды я рассказал о нем землякам, которые служили со мной, а от них узнали и другие ребята из нашего взвода. Но никто не смеялся. Как любой солдат, я мечтал об отпуске, хотел поехать домой. Но откровенно говоря, не меньше, а может и сильнее мечтал я побывать на могиле майора и его товарищей. Только сделать это было не так-то просто. Поселок, о котором рассказал мне Итиль, находился не в нашем гарнизоне. Чтобы поехать туда, нужно было получить разрешение от самого командира

батальона. Я служил первый год и офицеров, между нами говоря, еще побаивался. Но все-таки мое желание осуществилось.

Мы занимались в спортгородке. Сержант Михалин по очереди вызывал нас к турнику. Надо было десять раз подтянуться, потом оседлать перекладину, сделать переворот и соскок. Мы так увлеклись, что и не заметили майора Олейника, командира нашего батальона, который со стороны наблюдал за нами. Михалин построил взвод, чтобы перейти к другому снаряду, и тут увидел Олейника. «Взвод, смирно!» – приказал Михалин, но майор тут же произнес: «Вольно» и похвалил сержанта: «Этих ребят хоть завтра акробатами в цирк», – улыбаясь произнес он. Майор окинул взглядом строй, объявил всем благодарность, а сержанту, ефрейтору Бугову и мне разрешил увольнение на двое суток. «Служим Советскому Союзу!» – дружно рявкнул наш взвод, так что испуганные птицы сорвались с деревьев и с тревожными криками закружили над плацем. Майор Олейник собирался уйти, но Михалин попросил разрешения обратиться. Я и подумать не мог, что речь пойдет обо мне. Когда-то Михалин, правда, спрашивал, не воевал ни кто из моих родных в этих краях, но я и предположить не мог, что он до сих пор помнит наш разговор. А Михалин обстоятельно доложил все, что знал о похожем на меня майоре, и попросил разрешить поездку в соседний гарнизон на священную для меня могилу. Олейник сказал: «Подумаем». Через несколько дней меня вызвали в

штаб и вручили нужные документы.

До поселка я добрался уже после полудня. Автобус остановился посреди небольшой площади. Возле магазина судачили несколько пожилых женщин. Я спросил у них дорогу и уже через десять-пятнадцать минут подходил к кладбищу. Оно раскинулось на пологом склоне холма сразу за редкой сосновой рощей, которая была словно граница между поселком и кладбищем, между мертвыми и живыми.

Я без труда отыскал братскую могилу и долго стоял перед ней, вглядываясь в фотографию, упрятанную в овальном окошке. Майор и в самом деле был отдаленно похож на меня. Впрочем, судить о сходстве по этой мутной, сильно увеличенной, неумело отретушированной фотографии совсем непросто. Ниже портрета в камне было высечено:

Гвардии-майор Базар Худайбердыев 1912 – 1944

Теперь, когда я своими глазами увидел и поселок, и рощу, и холм, который в те военные годы, наверняка, называли «высотой», бой привиделся мне ярче, чем обычно. Не без труда прогнал я наваждение и снова стал изучать фотографию на памятнике. Мне показалось, что майор тоже пристально вглядывался в мое лицо. Еще мгновение – он узнает меня и окликнет: «Здравствуй, братишка!» От волнения у меня даже стихи сочинились: «Весной все заново рождается на свет. Опять весна в наш стылый край явилась: бойцы, что спят в земле уж столько лет, травой, цветами сквозь гранит пробились».

Я еще немного побродил по кладбищу, потом вернулся в поселок. Пообедал в уютной столовой и отправился искать гостиницу. На этот раз мне не повезло. Прежде, когда поселок был райцентром, имелась тут и гостиница, но несколько лет назад объединили два района и гостиницу закрыли. Теперь чужие совсем редко приезжали в поселок. Я не огорчился. Кончался май, стояла солнечная теплая погода. Все вокруг цвело, щебетало, пело, радовалось... Чем стучаться в чужие двери, беспокоить незнакомых людей, я решил переночевать в роще, рядом с майором и его парнями, ведь ближе и родней их у меня здесь никого нет.

Я вернулся на кладбище и поразился царившему тут покою. Казалось, даже птицы понимают, что торжественное и печальное величие кладбищу придает именно тишина. Буйно цвели черемуха и приторный жасмин. В конце аллеи я заметил высокого, очень худого старика. Против солнца, которое уже клонилось к земле, я не мог разглядеть его лица. Старик был без шапки, ветер трепал седые волосы. Издали казалось, что голова его окружена сиянием. Старик переходил от могилы к могиле, читая надписи на плитах. Читал медленно, словно по слогам. Он, наверное, плохо видел, потому что подойдя к очередной могиле склонился в полупоклоне и сильно вытягивая шею, вглядывался в выбеленные снегом, дождем и ветром надписи. «Ходит на кладбище, как в библиотеку, – подумалось мне. – Что он хочет прочесть в этих каменных книгах? Странный старик...». Я зашел в

заросли черемухи и стал наблюдать за ним. Вскоре он почувствовал мое присутствие, несколько раз оглянулся, потом подошел поближе и окликнул:

– Эй, солдат, ты чего тут прячешься?

Я вышел из своего укрытия.

– Так. Гуляю! – крикнул я в ответ старику, который небыстро шел мне навстречу.

– Смотри, в часть опоздаешь.

– Тебе, дед, какое дело! – огрызнулся я, но тут же пожалел об этом. Чтобы не обидеть старика, я сходу сочинил какую-то невероятную глупую историю. Он мне, конечно, не поверил. Смотрел на меня со снисходительной улыбкой и кривил рот, когда я уж чересчур завирался. Лицо у старика было доброе. И тогда я рассказал все как есть: и о госпитале, и о майоре, и о том, как оказался в поселке. Старик слушал внимательно. Моя история взволновала его. Когда я умолк, он по-приятельски тронул мое плечо.

– Может у меня переночуешь, сынок? – предложил он. Помолчал, ожидая ответа, потом, почувствовав мою нерешительность, сказал: – Просто так. Бесплатно.

– Нет, что вы, не надо беспокоиться...

– Какое беспокойство. Места всем хватит. Мы тут неподалеку живем, – он махнул рукой в сторону поселка. – Идем. Не стесняйся! – подбодрил меня старик, и, подавая пример, зашагал к воротам.

Я поплелся следом. Было неловко идти в незнакомый дом,

но и обижать этого доброго человека отказом не хотелось. Я догнал старика, мы пошли рядом. Не по дороге, а напрямик, через рощу. В лучах закатного солнца стволы сосен горели, как медь, красным тревожным цветом. Я оглянулся, чтобы напоследок увидеть братскую могилу, где покоится похожий на меня майор, но холм был уже черен. Как громадная каменная глыба навис он над поселком, лесом и дорогой.

Дверь открыла невысокая худенькая женщина лет тридцати – тридцати пяти. Лицо у нее было невыразительное, бледное, словно его ни разу не обожгло солнце. Женщина скользнула по мне равнодушным взглядом и отошла в сторону, уступая дорогу. Женщина оказалась дочерью старика. Старик представил меня.

– Меня зовут Мирдза, – сказала она и ушла на кухню.

Из соседней комнаты, волоча за собой пластмассовый грузовик, выбежал белобрысый курносый мальчуган. Увидев меня, он обрадовался, бросил свою игрушку и завладел моим беретом. Убежал, через несколько минут вернулся – грудь его украшали разномастные значки, в руках он, словно ружье, держал какую-то патлу. Громко топая, он промаршировал к трюмо, отдал своему отражению честь и весело залопотал что-то на корявом детском языке.

Старик усадил меня у стола и дал книгу с цветными фотографиями, чтобы я не скучал. Через некоторое время с двумя тяжелыми сумками, полными продуктов, пришла молодая женщина. Она была здорово похожа на старика. Высо-

кая, широкая в кости, шелковистые каштановые волосы красиво ниспадали ей на плечи.

Ужинать мы сели впятером. За столом Мирдза и Марта оживились, были радушны и разговорчивы, даже смеялись. А вообще-то здесь чувствовался неуют, какой бывает, когда в заботу о доме не вкладывают душу и сердце. Мне пришлось опять рассказать, как я попал в поселок. Потом старик стал вспоминать какой-то фронтовой эпизод. Рассказчик он был никудышный. Говорил скучно, долго. Дочери, которых он, наверное, уже не раз терзал этой историей, слушали с показным равнодушием. И мне показалось, что старику не хватает правды. Он рассказывает не так, как было, а так, как, по его разумению должно было быть.

Мне постелили в маленькой комнате. Почти всю ее занимала старая широкая кровать. Стены были голые, с потолка на шнуре свисала неяркая лампочка. Пахло свежей побелкой. По всему было видно, что эту комнату совсем недавно пристроили к дому. За день я сильно устал, но обилие впечатлений прогоняло сон. В доме скоро утихло, а я все лежал, глядя в потолок, и воображал, как завтра расскажу своим ребятам о старике, о том, как ужинал с веселыми красивыми женщинами...

Среди ночи меня разбудил громкий стук в окно. Я еще искал в потемках свои ботинки, когда слышались торопливые шаги одной из сестер, щелкнул дверной замок, звякнула упавшая цепочка.

– Сдохли вы что ли? Чего не открываешь? – раздался в соседней, комнате раздраженный мужской голос.

– Тише, Алик, – взмолилась женщина, я узнал голос Мирдзы. – Все же спят.

– Спят? Да еще и часу нет, – он рассмеялся. – Настоящая женщина в такое время должна знаешь чем заниматься?.. А ты дрыхнешь...

– Тише, Алик, тише. У нас гость.

– Гость? – от неожиданности он словно поперхнулся, наступила короткая тишина. – Что еще за гость? – спросил он, наконец, в его голосе слышались стальные ноты.

– Солдат один. К земляку на могилу приехал...

Я решил, что мне лучше показаться, и вышел в большую комнату. Посреди нее, прижав к себе женщину, стоял здоровый мужик, грузный, как медведь. Мирдза не доставала ему до плеча. Она рассказывала ночному пришельцу обо мне и короткими частыми движениями гладила свитер на груди у этого великана – так усталая мать успокаивает капризного ребенка. Увидев меня, мужик небрежно сдвинул Мирдзу в сторону, словно стул, который мешает пройти.

– А-а-а, защитничек... – он подошел почти вплотную ко мне и ухмыльнулся. – Кого это ты тут... защищаешь?

– Тебе какое дело?!

Он был чуть выше меня ростом и килограммов на двадцать тяжелее, но я знал, ему против меня не устоять. Видно, и он почувствовал это. Мы жгли друг друга свирепыми

взглядами, готовые в любой миг сцепиться, как разъяренные псы. Из своей комнаты в одном нижнем белье выскочил старик. Он бросился между нами и, глотая от волнения слова, затараторил:

– Алгис... Алгис... это я его... того, домой... Ко мне он... не думай. – Голос у старика был противный, испуганный.

Я сообразил, что этот Алгис здесь не просто «свой» человек – хозяин. Еще некоторое время он изучающе разглядывал меня, потом протянул широкую мясистую ладонь.

– Будем пить! – сказал он и пошел к двери.

Только теперь я заметил, что за порогом, в полутьме прихожей топчется еще один гость. Он с готовностью вытащил из карманов две поллитровки, протянул их Алгису. Не прошло и пяти минут, как все взрослые снова собрались за столом. Опять выставили квашеную капусту, остатки малосольной рыбы, картошку в мундире, копченую курицу, домашнее, с тонким чесночным духом сало, моченые яблоки... Водку разлили раз, другой. Ночные гости, не обращая на нас со стариком внимания, заигрывали с женщинами. Сестры сидели за столом в одинаковых простеньких ночнушках, накинув на плечи фабричной вязки кофты. Чуть охмелев, они напрочь забыли о сне, хохотали, строили кавалерам глазки. Аркаша – так все обращались к сидевшему рядом со мной мужчине с до синевы выбритым, но неприятным прыщавым лицом – совсем обалдел от водки. Он облапил Марту и тяжело дыша стал целовать ей шею, плечи, грудь. Женщина мол-

ча сопротивлялась, отталкивала его, но это, похоже, только еще больше распаяло Аркашу. Остальные сидели, словно ничего не происходит. Старик жадно обглаживал куриную ножку. Мне надоело смотреть на это свинство, делать вид, что я ничего не замечаю, что мне все безразлично. Я стиснул Аркаше запястье, рывком вывернул руку. Он ойкнул, выгнулся, сползая со стула чтобы ослабить боль, и, обернувшись ко мне, зашипел:

– Тебе чего? Отпусти руку, скотина, ломаешь...

– Когда ешь – сиди спокойно.

И тут Марта, чье достоинство я пытался защитить, вскочила с искаженным от злости лицом и накинулась на меня.

– Ты чего руки распускаешь, гад? Ревнуешь что ли?! – кричала она. – Тоже бабы захотелось?

Ища поддержки я посмотрел на старика, который сидел напротив меня, но он, чтобы не встретиться со мной взглядом, торопливо отвернулся и трясущейся рукой протянул Алгису пустой стакан. Я понял, что предан. Мне было противно видеть бессилие старика, противно сидеть за этим столом. Я схватил с трюмо свой берет, не глядя ни на кого, крикнул: «Будь здоров, дед!» – и, хлопнув дверью, выскочил на улицу.

Я чувствовал, как горят щеки. Не разбирая дороги, шел я прочь от этого дома. Но вскоре ночная свежесть прогнала раздражение и усталось. Я ощутил приятную легкость, словно очнулся после кошмарного сна. Пружинистым походным

шагом шел я сквозь ночь и не сразу понял, что вновь иду на кладбище к похожему на меня майору и его храбрым солдатам, которые совсем ничего не знают о нас.

Перевод А.Говберга.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Проснувшись утром, Мерген подошел к окну и застыл радостно удивленный. Неожиданно выпавший первый снежок, укрыл землю ослепительно-белой фатой. И она стояла теперь, торжественная и чистая, словно невеста. Сказочно красиво в белом наряде выглядели раскидистые шелковицы, росшие неподалеку от дома. Летом в их тени расстилались кошмы, ставились чайники с зеленым чаем. Теперь же это место облюбовали вороны и резким, пронзительным карканьем прочищали свое, словно простуженное, горло.

Около хлева, опершись о вилы, стоял отец. Он поднялся раньше всех. Бросив скотине сена, сворачивал свою утреннюю самокрутку и, попыхивая махорочным дымом, наблюдал, как мать выдаивает корову. В это утро все было как всегда, кроме первого снега, разумеется.

Мерген отошел от окна и вздрогнул. Опять им овладела мысль об Айпери, мысль, которая не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Она волновала его беспрестанно. Тоненькая, в сизо-голубом, как перья голубки, платьице девушка вновь возникла перед его глазами. На этот раз лицо ее не было сердитым и обиженным, как вчера. Большие глаза приветливо светились. Вот Айпери прошла вдоль реденьких де-

ревцев за клубом и, неспешной плавной походкой, какой ходят уже взрослые девушки, направилась к школе. При входе чуть замедлила шаг и пристально взглянула на Мергена. Задорная усмешка на ее губах, словно говорила: “Эй, парень, если не проглотил язык, то скажи что-нибудь!..».

– Как бы там ни было, Айпери – девушка что надо! – прошептал Мерген и, очнувшись от своих грез, еще больше укрепился в решимости ни за что не менять своего мнения о ней. Даже после вчерашних событий!

С тех пор, как взор Мергена останавливался на Айпери и отметил ее, ей было отведено особое от всех других девушек место в его сердце. Она была теперь постоянно с ним. В сердце – да, а наяву? Дело в том, что она о его чувствах и не подозревала. Открыться же ей Мергену никак не удавалось: девушка никогда не бывала одна, постоянно с подругами.

И вот, наконец, Айпери в классе одна! Когда Мерген приоткрыл дверь, она усердно корпела над учебниками. Это был миг, о котором он давно мечтал. Если сейчас не воспользоваться этой возможностью, то когда же?

Волнуясь, он открыл дверь пошире и вошел.

– Айпери!

– Что? – не поднимая взгляд от книги, отозвалась девушка.

– Ты знаешь, Айпери!.. – начал он, еще больше волнуясь.

Изумленно подняв голову, Айпери увидела перед собой взмокшего от напряжения и смущения Мергена.

– Интересно, что я должна знать? – Мерген прокашлялся.

– Ты, наверное, сочтешь это неприличным и будешь, возможно права... Но ты мне очень нравишься!.. – выпалил он.

Девушка молчала. Выслушав признание Мергена, она растерялась и не нашлась сразу, что ответить. Мерген терпеливо ждал ее приговора. Но вот Айпери, видимо, осознав услышанное, гневно сверкнула глазами и сердито произнесла:

– Вот только домой вернусь!.. Они тебе покажут, кто нравится, кто не нравится!..

Мерген стоял, словно воды в рот набрал. Девушка явно намекала то ли на братьев, то ли на своих родителей. И что ему, мол, достанется! Такого отпора он не ожидал. А тут еще кто-то вошел в класс и нависла угроза раскрытия его тайны. «Вот будут смеяться, когда узнают!» – подумалось ему. Захотелось сию же минуту выскочить пулей и бежать, куда глаза глядят. Но лишь только он устремился к выходу, как бдительный звонок преградил ему путь. Ничего не оставалось, как вернуться и испить до дна чашу своего смятения, а может, и позора.

К действительности его вернул голос учителя:

– Айпери, что с тобой?

Учитель стоял рядом с девушкой. А та пылала и никуда не могла деться от его взгляда.

– Ну, что случилось?

Айпери подняла, наконец, голову и судорожно сглотнула. Мерген ни на шутку струхнул, ожидая, что же она ответит.

– Зуб болит, – пробормотала девушка. Мерген облегченно вздохнул.

– Иди и покажись врачу, – сказал учитель.

– Пока терпимо. Пойду после уроков.

Но и после этого Мерген не успокоился, а все ждал, что вот каким-то образом откроется то, что он хотел скрыть от одноклассников. По его представлению, если они узнают о признании, то он сразу же упадет в их мнению. Почему он так думал, он и сам не знал.

Учитель, проходя вдоль рядов парт и проверяя, как ученики справляются с самостоятельной работой, заметил, что с Мергеном тоже что-то неладно. Он нетерпеливо ерзает, а в тетради не решена ни одна задачка.

– Данаев, где ты сейчас находишься? – недовольно спросил учитель.

– А? Что? – подскочил Мерген.

– Где находишься, спрашиваю. По-моему, где угодно, но только не на уроке. Верно я говорю?

– А? Да-да, верно. – В классе зашевелились. Кто-то хихикнул.

– Мне не нужен ученик, который пребывает где-то в ином мире, – сердито проговорил учитель. – Иди, я тебя отпускаю.

Мерген выходил из класса с лицом, выражающим явную обиду за несправедливое наказание, но, внутренне, он был рад этому. Выйдя во двор, прикинул, что легко может нарваться здесь на законное любопытство директора или ко-

го-то из учителей. Оглянувшись, быстренько юркнул в пролом в заборе.

Каждое лето во время ремонта дыра эта, по указанию руководства школы, тщательно заделывалась. Однако, за считанные деньки сентября ребячьими руками пролом снова приводился в прежнее состояние.

Мерген шел вдоль большого арыка, перебирая в памяти происшедшее, как вдруг увидел мальчишек. Похоже было, что они удили рыбу.

– Эй, что вы там в глине возитесь? – крикнул он рыбакам.

– Рыбу ловим! – отозвался один из них. И показал на ведро. Действительно, там лежало несколько неплохих рыбин.

– Да здесь воды совсем нет, – удивился Мерген. – Откуда же рыба?

– Потому ее и много, что воду отвели в другое русло, а рыбка осталась!

– Значит, рыбы много!

– Это как сказать! Если поймать сумеешь, – много.

– А мне доля будет?

– Ладно, давай!

– А не замерзнем?

– Как рыбой займешься, о холоде сразу забудешь.

Он забыл не только о холоде, но и школьном происшествии. Сначала пытался хватать рыбу, стоя на берегу арыка, но потом, когда, поскользнувшись, ушел в воду всей ногой, засучил штанину повыше и принялся с азартом помогать ры-

бакам.

Перепаханный с ног до головы, посиневший от холода он явился домой с порядочным уловом.

Назавтра Мерген шел в школу, нехотя, в подавленном состоянии. Мысли, одна мрачнее другой одолевали его. «Небось, нажаловалась вчера своим, что я, мол, прохода ей не даю. И, конечно, не успеешь войти в класс, как тут же позовут в учительскую, а там, наверняка, сидят и ждут меня и ее отец, и учителя, а, может, и директор. Вот стой там, и красней!...».

Когда сквозь пролом в стене, он ступил на школьный двор, там уже творилось что-то невероятное: мальчишки и девчонки, звонко окликая друг друга, прыгали и кидались снежками. Радость первого снега взвивалась далеко ввысь.

Мерген, обогнув играющих, без настроения направился к входу. Он уже почти ступил на порог, как вдруг, ловко брошенный снежок, гулко хлопнул в его спину.

Мерген оглянулся. И увидел Айпери, игравшую с подружками в снежки... Она лепила новый снежок и, улыбнувшись, делая вид, что ничего не знает, отвернулась в сторону.

Перевод Т.Курдицкой. 1984 г.

БАЛЛАДА ПУСТЫНИ

I

Первыми стук конских копыт почувствовали окрестные холмы. Равнина, до которой докатилось эхо мощных ударов, приняла их на себя и словно качнулась и задрожала.

Чабдар, чутко стригнув ушами, поднял голову, прислушался. Ему показалось, что звук, из-за дальности скорее похожий на гул, исходил из-под земли.

Легко взбежав на вершину холма, он устремил свой острый взгляд в дальние заросли, смутно синеющие в молчаливой дымке за холмами. Оттуда всегда приходила тревога. Чабдар оглянулся. За его спиной на благодатной равнине Бадхыза пасся табун лошадей. Рассыпавшись отдельными группками, они спокойно выбирали травку посочнее. Изредка матери вскидывали голову и, отметив, что жеребенок где-то рядом, снова погружались в сытое дремотное состояние. Тревожиться за табун надлежало жожаку.

Чабдар был хорошим жожаком. Никогда еще никакой заблудшей лошади не удавалось смешаться с его табуном. По неписанному закону ему принадлежал участок долины, тянувшийся от подножия кряжистых гор до солончаков, раскинувшихся далеко на юг. С одной стороны, она окаймлялась

холмами, за которыми всегда синели таинственные заросли гребенчука. Чабдар никогда там не бывал. Но беда всегда приходила оттуда. И Меле, вожак соседствующего с ними табуна, тоже приходил из-за холмов. Правда, границу владений Чабдара нарушать опасались, ну, а если такое случается, чужака изгоняли с позором. Лишь для Меле Чабдар делал исключение. Хотя и не позволял никогда победить себя. Разгоряченные, дико кося налитыми кровью глазами, они сталкивались потными боками и теснили друг друга, роняя с губ клочья пены. Ни разу, однако, в их поединках дело не доходило до зубов, – сосед все-таки! Померявшись силами и потешив каждый свое тщеславие, они расходились, уводя табуны в разные стороны.

...Тревожный гул приближался. Чабдар отметил, что конь идет налегке; это было ясно из того, что он то замедлял ход, видимо, чтобы ущипнуть травы, то снова брал разгон, мощно ударяя копытами. И звук этих могучих ударов как бы извещал всех о направлении его стремительного бега.

Чабдар напрягся, ожидая появления чужака. Сердце билось ровно, уверенно подрагивали налитые силой ноги. Он уже давно водил табун и знал себе цену. Знал, что красив, особенно в ясную солнечную пору: шерсть его лоснилась и блестела, как рыба чешуя. Пастухи, наезжающие проведать табун, каждый раз любовались красавцем-конем, восклицая при этом и пощелкивая языком, и дарили его разными гордыми именами. Однако, никто из них не осмеливался при-

близиться к нему, держались на солидном расстоянии. Оберегая табун, Чабдар ревниво относился не только к своим соперникам, но и к людям. Ему ничего не стоило, особенно, когда пастухов было один-двое, стремительно прижав уши к затылку, ринуться на того, кого посчитал посягнувшим на его права. И потому, когда предстояло перегнать табуны с одного участка на другой, пастухи сбивали вначале в одну кучу всех и лишь затем присоединяли Чабдара с его гаремом. Только так и удавалось выполнить намеченные перемещения.

Красота всем бросается в глаза. Лучший цветок бывает сорван раньше других. Красивую девушку обязательно уведут первой. Среди десятков пасущихся коней, выберут самого достойного, чтобы заарканить и приручить к работе. С Чабдаром такое не случилось.

Несколько лет назад, задавшись целью выловить понравившегося им коня и взнуздать, пятеро всадников весь день напролет, неотступно преследовали его. Напрасно. Пытаясь выбить его из сил, они сами еле держались в седле, да и лошадей едва не загнали. Чабдар не дался. Чертыхаясь и, вместе с тем, восхищаясь умным и строптивым конем, они довольствовались тем, что увели с собой двух молодых жеребцов, предназначенных для верховой езды.

С тех пор Чабдара не трогали. Он стал полновластным хозяином, наведя свои порядки в табуне и в округе. Никто не смел к нему близко подойти, прежде чем он сам не по-

даст знака. Исключение делал лишь для молодого гнедого жеребенка, родившегося ранней весной. Чабдар испытывал к нему непонятную слабость, хотя даже сам себе не мог этого объяснить. Жеребенок частенько подкрадывался к вожаку и, думая, что тот не видит его, больно кусал в брюхо, а затем принимался ластиться. Чабдар мягко отталкивал шалуна и отходил в сторону. Другим он такой вольности не прощал.

...Опередив звук своих копыт, на равнину неожиданно вылетел серый, с небольшими подпалинами, конь. Маленькая, узкая, изящная, точно у змеи, голова гордо покоилась на длинной гибкой шее. Шерсть на груди и брюхе от долгой скачки покрылась потом и, выделяясь на светлом, темнела расплывшимися пятнами. Завидев Чабдара, Серый резко остановился. Земля вокруг его копыт взбрызнула вверх не меньше, чем на полметра, – так резок и силен был его удар. Поводя дерзкими глазами, он раздумывал: сразу ему ринуться к косяку или схватиться с вожаком?

Чабдар инстинктивно оглянулся. Прежде, чем вступить в бой с чужаком, он должен быть уверен, что в табуне все в порядке. Несколько кобылиц, встревоженные появлением Серого, подозвали жеребят, и теперь те жались к материнскому брюху, тыкались лбами им в пах. Чего испугались эти глупые кобылы? Никогда еще не выказывали вожаку такого недоверия! Хорошо, что остальные пасутся как ни в чем не бывало. Или только делают вид, а сами тревожным взглядом выискивают свое потомство?.. Это взбесило Чабдара. Он резко

повернулся и встретил злобный взгляд пришельца. Мускулы его большого сильного тела напряглись в предчувствии боя. Подобрался и Серый. Тонкие, нервные, такие же как и у Чабдара, уши его запрядали, будто кончики ножниц, стригущих воздух.

Когда же оба, сжавшись, стремительно полетели навстречу друг другу, кобылы бросили пастись и сгрудились в одну кучу. Страх не было в их глазах. Они привыкли к подобным стычкам. На этот раз ими руководило простое любопытство: чем завершится яростный поединок двух равных по своим силам противников?

Двое же, взвившись на дыбы, принялись со злостью кусаться и лягаться. При каждом столкновении головы их издавали такой стук, словно вот-вот расколются. Трава, до недавнего времени зеленевшая нежной дымкой, была вытоптана, раздавлена. Жеребята теснее жались к матерям, в их жизни такое было впервые.

Вдруг Серый опрометью бросился прочь. В пылу схватки Чабдар кинулся его преследовать, но тот летел, как стрела, и достать его не удалось.

Было непонятным неожиданное решение Серого, ведь был он не слабее Чабдара, а может и наоборот. Был он чуть постарше, находился, что называется, в самой поре. И вдруг...

Чабдар возвращался недовольный и исходом битвы, и собой. Походя, лягнул зазевавшуюся двухлетку. Табун при-

смирел.

Вскоре все вошло в свою колею. Восхищение и почтительный трепет, которые чувствовал Чабдар, проходя сквозь табун, успокоили его. Он вновь был предводителем!

Взлетев на холм, властно, по-хозяйски, оглядел он рассыпавшихся по склону кобылиц, жеребят, резвившихся на своих длинных, ломающихся еще ножках, и застыл на вершине, как изваяние, знаменующее силу и власть.

II

Спокойствие Чабдара длилось недолго. Он еще не успел забыть о Сером, как тот снова появился у края долины и принялся спокойно пастись, изредка косясь на табун и нервничающего Чабдара.

Серый держался на расстоянии. Чабдар решил выждать, что же предпримет пришелец, но самообладание покинуло его, и он попытался приблизиться. Не подпуская жожака близко, тот кинулся бежать. Если бы мог, Чабдар расхохотался бы от такого поведения. Никогда еще ему не приходилось сталкиваться со столь явной трусостью! Предыдущие соперники не отступали, а мерились с ним силой, – и один раз, и второй. Бой велся по принципу: кто кого? И большинство, признав несомненное его превосходство, пускались наутек. Больше он их не видел. Встречались и такие, что, заслышав его грозный храп, тут же сдавали позиции и уклонялись от схватки. Лишь первый его бой можно назвать настоящим. Тогда еще находились в окружении такие, которые пытались

оспорить его превосходство. Тот, первый, так и остался навсегда искалеченным. Больше из табуна никто не выделялся. Дальше приходили только чужаки. Как бы там ни было, схватки велись по всем правилам и побеждал он потому, что был сильнее. Но как оценить поведение Серого? Убегает, в бой не вступает. И все-таки приходит опять и опять!.. Пожалуй, то была не трусость, а мудрость. Довести неприятеля до бешенства, а затем воспользоваться, когда он потеряет над собой контроль. Но Чабдар, к сожалению, не мог сделать этого вывода. Он лишь чувствовал, что на сей раз перед ним соперник достойный. Тем более ему не терпелось скорее схватиться с ним.

Ш

Туча, весь вечер и всю ночь висевшая над Бадхызом и набухшая до предела, наконец, пролилась через край. Грохот грозы, секущие струи дождя, ударявшие о землю, создавали иллюзию скачущего косяка лошадей. Вот он затих, переводя дыхание и нервно переступая сотнями копыт, но вот сорвался с места и – галопом по долине, по холмам, по солончикам...

Рассвет земля встретила живительной свежестью и пронзительной синевой, исходящей от умытой зелени. Капельки дождевой пыли, повисшие на травинках, сверкали, переливались, как россыпь драгоценных камней, брошенных на зеленый ковер. Укрывшиеся от непогоды букашки вновь карабкались по стеблям и листьям, радуясь солнечному теплу.

Когда в очередной раз появился Серый, табун почти забыл о нем и мирно, во главе с Чабдаром, пощипывал поднавшуюся после дождя в рост траву. Кобылы разбрелись по всей долине, жеребята носились от одной группы лошадей к другой. Наиболее смелые забегали даже на солончаки. Своей резвостью они напоминали стремительно и беспорядочно взмывающих тут и там ласточек.

Почувяв намерение Серого, Чабдар торжествующе заржал и ринулся по склону вниз...

Они стремились навстречу друг другу, как по предначертанию рока. Если бы сейчас разверзлась земля, это бы их не остановило. Так велико было желание обоих разрешить наконец-то этот спор.

Храп, тяжелое дыхание, удары копыт о землю и о противника на время отодвинули в сторону тишину. Двое схлестнулись в поединке не только на виду у холмов, но и у настороженного табуна. Это была извечная борьба за лидерство, за право повелевать.

Казалось, Чабдар вот-вот накажет пришельца за наглость, но тот каждый раз отбивал атаку, каким-то образом избегая копыт жоака. И здесь он применял свою тактику уклонения. Отскакивал в сторону, затем, переждав и вызвав тем самым ярость Чабдара, снова кидался в бой.

В очередном столкновении Серый сильным ударом головы выбил из ноздрей Чабдара струйку алой крови. Ударяясь о землю, капли сливались с морем тюльпанов, устилавших

окресные холмы. Бой продолжался, тюльпанное море наполнилось, а Чабдар, тем временем, слабел. Он дрожал всем телом. Впервые в жизни ноги не повиновались ему. Неужели так страшен был этот удар Серого? Нет, рано еще сдаваться! Собрав все силы, Чабдар двинулся на соперника. Но что-то неуверенное было в его движении, сломленное. И поняв это, и обрадовавшись близкой победе, Серый с новой яростью кинулся вперед. Его удар со всего маху в грудь потряс Чабдара. Несколько секунд лежал он на земле, не двигаясь, лишь судорожно вздрагивая боками.

Старая кобылица, стоявшая впереди табуна, казалось, сейчас заговорит, – так выразительны были ее глаза. Да, она знала его молодым и сильным, она была свидетельницей его многочисленных триумфов. Да, он ей нравился. Он был настоящим вожаком, но сейчас...

Это был его конец. Растоптано достоинство. Не может он больше предводительствовать табуном... Пренебрежительные взгляды молодых маток, влажный блеск глаз жалеющей его старой лошади, любопытствующие взоры жеребят, подняли и поставили Чабдара на ноги. А ноги предательски дрожали. И все же у него достало сил повернуться и поскакать прочь. Серый вошел в табун. В сторону Чабдара никто не смотрел. И лишь гнедой жеребенок, любивший поиграть с вожаком, кинулся за ним вслед. Сухие щетинки прошлогоднего травостоя кололи его нежное брюшко. Он вскидывался и прыгал дальше.

Когда, раздувая от быстрого хода тонкие розовые ноздри, он взбежал на вершину холма, то его глазам предстала неожиданная картина: Чабдар, не владея больше своим телом, катился вниз по крутому, почти отвесному склону.

Жеребенок содрогнулся и в ужасе попятился. Потом, как бы оценивая ситуацию, посмотрел на табун, потом на темнеющее внизу бездыханное тело, и заржал.

Светило солнце. Разделившись, как всегда на группки, щипал свежую траву табун. И тревожно несло над равниной, над холмами и солончаком жалобно-тоскливое ржание гнедого жеребенка.

Жеребенок плакал...

Перевод Т.Курдицкой.

ЧЕЛОВЕК, УШЕДШИЙ НА ВОЙНУ

Каждую ночь, когда все затихнет, принимаюсь сочинять это письмо. Удивительно, как еще находятся слова? Но им, заветным, видно, нет конца. Однако, одно-единственное письмо пишу, а всякий раз оно новое. Если б ты знал, какое это счастье, писать его. Слова тревожат память, воскрешают твой образ. Ты перед глазами, как живой. Поверь, это уже счастье. В такие мгновения я – самая счастливая женщина на свете.

И улицу нашу вижу, и тебя, как ты утром идешь на работу. Первым, почтительно здороваешься со стариками, а молодые, безусые еще парни тебя приветствуют. Я стою у тамдыра, достаю из его жаркого чрева свежий хлеб – горячая лепешка обжигает ладонь даже через енлик – а взглядом провожаю тебя, слежу до тех самых пор, пока не зайдешь за густые талы, что росли у арыка рядом с домом дедушки Гыджана.

Какое чудо нас соединило? Чудо, чудо, не спорь! Сейчас парни с девушками встречаются, мы даже не знали друг друга до свадьбы. Я лицо твое разглядела только утром после нашей первой ночи, когда ты заснул на заре. Ты мне сразу понравился. А потом я так быстро к тебе привыкла! Ты стал

самым близким, самым родным. Я удивлялась: неужели так бывает? Значит, бывает.

Даже когда уходила погостить к родителям, все время о тебе только думала. Чем ни займусь, на что ни гляну – тебя вижу. Вот ты пришел с работы, бродишь как неприкаянный по дому, не знаешь, чем заняться, как унять тоску. Ведь и тебе без меня было плохо, правда? Представляю это, так только и думаю, как бы перенестись к тебе. Кажется, были бы у меня крылья – улетела! Собираешься в гости на денек-другой, а не пройдет и полдня, уже ищу повод, чтоб домой вернуться. Сноха даже ехидничала:

– Ну и дочка! Замуж выскочила, так родительский дом враз опостылел. Видно, об одном только думаешь... Как это так, прийти домой и ночевать не остаться!? Отца, брата не дожждаться...

Мама ничего не говорила. Обидится, молчит. Но ни упреки, ни мамин осуждающий взгляд – ничего не могло удержать меня вдали от тебя.

Я дарила тебя любовью и богаче становилась. В твоём доме меня все любили. Знаешь, как это приятно, когда чувствуешь ласковую заботу и свекрови, и твоего отца, и маленьких братцев. А уж как твоя бедная мама тревожилась, когда я затяжелела! Так и вьется, так и хлопочет. Хочу за водой сходить – она ведро отнимает: «Без тебя принесут!», соберусь хлеб печь – она за енлик. Наверное, за те десять лун набегала она больше, чем я за всю жизнь. А однажды при-

несла новенькое, только что выстеганное одеяло:

– Возьми, невестушка! Пусть дитя моего сына согревает бабкин подарок...

А в другой раз, вернулась я от соседки, глядь – в нашей комнате резная колыбелька стоит. Свекор ее, оказывается, тайком мастерил. Такая нарядная. Сколько же ему трудиться пришлось, чтобы вырезать ее из тутового дерева да так украсить? Как мечтала я, что будем сидеть вдвоем возле этой колыбели, любоваться нашим первенцем! Не сбылось...

Война. Боюсь я этого слова. Холодная скользкая змея. Проползла между нами и разлучила. Конечно, люди сильней, люди все преодолевают. И лишения, и беды. И война не вечная – кончится! Снова по утрам аромат свежего хлеба небеса согревает, а вот сердце мое отогреть не может. Только ночами приходишь ко мне... Пишу, пишу, а слать-то некому. Но все равно пишу, только бы воскресить в душе твой облик.

Знаешь, я тебя всегда ревновала. И сейчас ревную. Ведь годы с тобой ничего сделать не смогли. Ты все такой же: лицо открытое, прямой взгляд... Не осуждай меня, не могу заставить себя поверить, что человек, который лежит сейчас со мной, – это ты. Да, имя твое, фамилия твоя, а не ты. Не веришь? Смотри, вот дремлет он, а сейчас как закричит: Бата-ре-я!..» – вскочит, глядя по сторонам невидящими глазами, у меня сердце оборвется. А он зайдет в кашле, бухает, бухает – всего его разрывает. Встану, поставлю чайник. Ведь он, пока не глотнет горячего чайку, не успокоится...

Не возвращается, наверное, никто с войны. Мне кажется,
что ты до сих пор воюешь где-то. А я пишу тебе...

Перевод Т.Мельник. 1975 г.

ИНАЯ ЖИЗНЬ

Теперь Сульгун уже два года была студенткой студии при театре оперы и балета. Ее сокурсники, зная ее как воспитанную, серьезную девушку, очень уважали ее. Были и такие ребята, которые при встрече с ней краснели. Но ее творческая деятельность все никак не налаживалась. Исполняемые ею роли всегда оценивались педагогами средне. Она считала, что ее работа не налаживается потому, что ее внешность не соответствовала выражению «красива та, глядя на которую раскроешь рот».

Недавно роль Шасенем из оперы «Шасенем и Гариб» доверили играть не ей, а Бахар, которая считалась самой красивой девушкой в студии. Ожидания Сульгун не оправдались. Тогда она стала завидовать Бахар, она стала считать ее самой счастливой девушкой в мире.

А сегодня она считает, что красивее и счастливее ее самой нет девушки в мире...

Когда Сульгун вечером после занятий возвращалась домой, на безлюдной улице ее догнал сокурсник Данатар. Когда она увидела Данатара, то подумала: «Не оставила ли я что-нибудь на студии?», и стала вспоминать, что она могла оставить.

– Здравствуй...

Вместо того, чтобы ответить на приветствие, Сульгун

удивленно посмотрела на юношу. Она ведь сегодня на студии уже здоровалась с Данатаром. Когда зрочки сосредоточились на одной точке, Данатар переменился в лице.

– Сульгун, ты же знакома со мной?

Сульгун вспомнила, что Данатара приняли на их курс на полгода позже остальных сокурсников и, уже через два-три месяца девушки студии втихую ревновали его друг к дружке. В эфире часто звучали песни, исполненные его приятным голосом. Данатар был гордостью студии. Педагоги особенно ценили его природный дар. Роль Гариба снова доверили играть ему. Вдруг Сульгун почувствовала, что остряк Данатар хочет что-то ей сказать, но что-то ему мешает. Тогда она заговорила первой:

– Ты хочешь проводить меня домой, Данатар?

– Да.

Данатар обрадовался. Он и раньше думал, как бы поближе познакомиться с девушкой, но робел. Теперь не ленился провожать домой Сульгун каждый день. И с этого дня Сульгун стала считать себя самой красивой и счастливой девушкой в мире. Ей было приятно видеть, как подружки завидуют ее счастью. Каждый раз, когда на сцене ставили «Шасанем и Гариб», она совершенно не сомневалась, что это она в роли Шасанем идет своей легкой походкой рядом с Гарибом, прогуливаясь по саду, хотя эту роль исполняла другая. Закончив учебу и начав работать, Данатар добился больших успехов. Он стал популярным певцом.

Газеты и журналы много писали о нем и о его песнях. Сульгун было приятно греться в лучах славы Данатара. Она очень любила слушать его песни. Но с того дня, как бабушка Айна узнала, что ее зять – всенародно любимый певец, она не могла найти себе места от беспокойства, опасаясь сглаза и разговоров.

С того дня, как Данатар и Сульгун поженились, они жили в доме бабушки Айны. Иногда, когда Данатара и Сульгун не было дома, бабушка Айна пекла чурек и раздавала соседям, как жертвенный хлеб во имя Данатара (худаёлы). Она по-своему оберегала его от сглаза и разговоров. А однажды бабушка Айна дала Данатару такой совет:

– Сынок, родной, ты хоть раз выпил бы водки или вина. Иногда хоть попадайся на глаза людей и в плохом виде. Говорят, на плохое сглаз не действует.

Тогда Данатар и Сульгун, взглянув друг на друга, заулыбались: “Вай, какая у нас бабушка наивная, верит всяким небылицам».

...В тот день, когда он явился домой, Сульгун не заметила разницы в том, каким он обычно возвращался с работы. Она только в этот день впервые узнала, что Данатар уже полмесяца ходит к врачу. С этого дня у нее начались беспокойные, тревожные дни. Вместе с Данатаром они ходили от одного врача к другому.

Когда Данатар заходил к врачу, она стояла на улице и мечтала о том, чтобы Данатар быстрее выздоровел и чтобы в

его дом снова возвратилась былая радость. Все врачи, будто сговорившись, давали один и тот же совет – сделать операцию, так как простуда причинила вред его голосовым связкам. Но Данатар никак не мог прийти к определенному решению. Ему не хотелось расставаться со своей гордостью – приятным голосом. Сколько он ни искал, но не нашлось лекаря, который мог бы прогнозировать благоприятный исход операции – восстановление голоса.

Со временем болезнь стала прогрессировать. Сначала он лег в местную больницу, затем, с помощью товарищей поехал в Москву.

Сульгун тоже собиралась поехать с ним, но Данатар, учитывая, что жена ждет ребенка, не согласился.

* * *

...Теперь Данатара нет.

Он завернул за какую-то черную стену и больше не возвращался. А от его песен, которые напоминали цветущие туркменские степи, растянувшиеся от горизонта до горизонта, осталось только эхо.

Через пять-шесть дней после похорон Данатара, Сульгун в почтовом ящике нашла конверт. Торопливо прочитав письмо, она вторично не спеша перечитала его.

“...Моя Сульгун, хотя я тебе перед отъездом дал слово сделать операцию, но здесь я никак не могу прийти к определенному решению. А врачи приводят все те же доводы, что говорили наши врачи.

Вчера чуть было не прооперировали, но так как я был не очень расположен, то решили перенести. Дали время подумать до пятницы следующей недели. В этой больнице есть девушка из Туркменистана, которая проходит практику. Узнав меня, она сообщила обо мне своим товарищам. Они пришли все вместе и, как волосок из теста, вытащили меня из больницы. После чая голос у меня прочистился. Спел, почувствовал, что живу. Сульгун моя, если бы ты могла взглянуть в их глаза, когда они сидели, слушая песни.

Я там увидел благодарность своей земле, гордость, любовь к песням и музыке. Прекрасные ребята, прекрасные девушки, глубоко понимающие литературу и искусство, почитающие прошлое своего края, люди предельно интересующиеся его будущим.

Если поговорить с ними, то каждый из них – профессор нетрудно догадаться, что в Москве они многому научились. Я им позавидовал. Гордился ими. Я стал мечтать о том, что мой сын Сельджук будет учиться в Москве.

Да, как я уже говорил, я до сих пор не могу прийти к определенному решению. А то, что после операции мой голос не будет прежним, это факт. А мне, пусть хоть несколько минут, хочется пожить прежним Данатаром.

Думать об иной жизни тяжело. Потеряв голос, я потеряю мечту, я стану другим Данатаром. Ты меня не проклинай, Сульгун моя! Хоть отруби голову, но я не могу привыкнуть к мысли о другой жизни».

Это письмо было написано Данатором в Москве и по какой-то причине запоздало...

Перевод А. Акиевой 1987 г.

МГНОВЕНИЕ

Если бы я то там, то здесь в селе не обмолвился, что собираюсь ехать в Ашхабад учиться, то, могло стать, сегодня в путь мне пришлось выйти в совершенном одиночестве.

За день до моего отъезда, прослышав, что я собираюсь в Ашхабад, к нам домой явился Таган ага, проживавший на соседнем с нами участке колхоза. Он доверительно сообщил мне, что его дочь хочет поступать в то же самое училище, куда вознамерился и я, но только на отделение, где обучают шитью. И он собирается отправить ее вместе со мной. А потом спросил у меня, как к этому обстоятельству отношусь я. Не мог же я сказать Тагану ага прямо в глаза о чем думал: «Пусть его дочь едет куда угодно, но только не со мной». И, таким образом, мне пришлось отправиться в Ашхабад в обществе незнакомой мне девушки.

На станцию Таган ага доставил нас на своей машине. А на прощанье строго-настрого наказал, обращаясь ко мне, видно, решив, что я побойчее, чем его дочь:

– Как сойдете с поезда, не вздумайте по Ашхабаду искать всякие там гостиницы. “Вот, – вручил он мне бумажку с адресом, – явитесь прямо туда. Там живет мой родственник.”.

Когда поезд тронулся, в купе стало немного прохладнее.

Мы с попутчицей сидели на противоположных скамьях и молчали. Так как дорога предстояла неблизкая, я не торо-

пился с ней познакомиться, а она не стала вступать в разговор первой. Признаться, я не находил предлога, чтобы заговорить. Явился проводник, проверил билеты. И мы опять остались в купе одни. Девушка сидела безучастно, погружившись в какие-то свои сокровенные думы, совершенно ничего вокруг не замечая. Поэтому я осмелел и принялся ее беспрепятственно рассматривать. Мне захотелось угадать, о чем она так сосредоточенно думает. Возможно о тех людях, к которым ей предстоит явиться, а, может быть, и грустит немного об оставленном родном селе.

Я тоже стал вспоминать свое село и свою школу. Там я был не из робкого десятка. Смущала меня только одна девушка по имени Сурай. Она училась на два класса выше меня и была пухленькой, среднего роста, с круглым личиком. Я не мог с ней не то что заговорить, а даже, взглянув в ее сторону, весь менялся в лице и заливался краской. Однако, приняв твердое решение попытать свое счастье, незадолго перед тем, как она закончила школу, я все же написал ей письмо. Но не стал вручать сам, а попросил это сделать своего одноклассника, парня, которому можно довериться. Ответ Сурай не заставил себя долго ждать.

История – мой любимый предмет, и я в большую перемену зашел в читальню, чтобы подобрать интересующий меня материал для внеклассных занятий. Так вот, Сурай, видимо, за мной проследив, зашла сюда следом за мной. Здесь, кроме нас с ней, заведующей-девушки, с которой они очень дружи-

ли, больше никого не было. Подружки, видимо, сразу поняли друг друга или же как-то иначе объяснились. Но, в общем, хозяйка читальни вдруг вышла, заперев нас снаружи, будто забыв о нашем здесь присутствии, да и ушла проводить урок, так как это вела по совместительству. Сурай же, видно, решила поговорить со мной обстоятельно начистоту. Разговор она начала с усиленного подчеркивания своего старшинства надо мной на все три или четыре года. И очень дружески посоветовала: чем заглядываться на девушек, лучше побольше времени уделить учебе.

Не решаясь взглянуть ей в лицо, я сидел и машинально перелистывал книгу, делая вид, что старательно разглядываю картинку. “Молчание – золото», – подумалось мне в этот момент как о единственном выходе из положения. Но окончательно убило и уничтожило меня стихотворение, которое она написала специально по этому случаю и прочла мне:

*Прослышав, что взрослые влюбляются,
Я тоже в свои десять лет решил приударить
за взрослой девушкой,
Подражая взрослым, принялся листать книги
И сочинять стишки, воспевающие девушек.
Я их буквально засыпал
такими любовными письмами,
Они читали и одобряли.
Поскольку с малых лет играл возле них,
“Милой крошкой» меня называли.*

Ну и, конечно, Сурай завершила воспитательное собеседование со мной назидательной параллелью, что я похож на смешного героя ее стиха.

Так вот кого напоминала мне моя спутница, вдруг осенило меня. Я взял да и заговорил напрямик:

– В селе у нас мое имя самое распространенное – это Эсен-покгучи. Когда я зачем-нибудь нужен старшим и они хотят меня улестить, тогда я называюсь сынок Эсен джан. А бывают и такие, что обзывают меня: “Эсен, Эсен!». Так что на любом из этих имен можно остановиться и меня называть таким именем. А как вас зовут?

– Гульнара.

– Ах, Гульнара! Или как поется в знаменитой нашей песенке: “Я маленькая девочка Гульнара», значит.

Вместо ответа Гульнара посмотрела на меня как-то настороженно, будто вопрошая: “И с кем это я связалась?». Но разглядев, что я говорю с усмешкой, тоже чуть улыбнулась. Оказывается, улыбка совершенно меняла облик девушки: глаза засветились темным бархатным блеском, щеки порозовели, лицо округлилось. Я опять взглянул в окно.

Сейчас оно казалось экраном включенного телевизора.

Плавно бежали мимо нас холмы и телеграфные столбы.

Из соседнего купе опять, в который уже раз, послышался взрыв смеха. Там ехали один парень и три девушки, по виду студентки. Две из них, похоже, вот-вот выскочат из своих сильно зауженных и приталенных платьев. Третья, высокая,

с тонким продолговатым лицом, была одета в спортивную форму. Находившийся в их обществе парень держался и вел себя так, будто находился сугубо в обществе своих друзей, ребят. Девушки смеялись от его шуток и острот.

Признаться, я почувствовал зависть при виде такого успеха этого парня у девушек. Мне, наверное, никогда не удастся так держаться в обществе девушек. Спустя некоторое время, из коридора было видно, что бойкий парень уже сидит в купе с той девушкой, что была в спортивной форме, они о чем-то разговаривают. Две другие куда-то исчезли. Взяв у проводника чайник заваренного чая, я вернулся обратно в купе. Весьма кстати вспомнилось: «Вершина благополучия – поесть, затем завалиться поспать, а потом уже глядеть, что там дальше».

– Гульнара, а что если нам чаю попить?

– Давайте поедим!

– Конечно.

Гульнара принялась раскладывать на столике взятую в дорогу провизию. Я пошел сполоснуть запыхавшиеся стаканы. Сначала пили чай с каурмой. Затем, спустя некоторое время, разрежали дыню и дополнили свою трапезу.

Когда к нам присоединились соседи по купе – старенькая русская женщина с внучкой лет четырех-пяти, мы с Гульнарой сидели, оживленно беседуя. Девчушка же, пока не устала и не прикорнула на коленях у бабушки, не давала никому никакой возможности сосредоточиться на своих мыслях.

Она звонко считала свои считалочки, пела песенки. Когда бабушка у нее спросила: “А где у тебя ум?», то на этот вопрос, чрезвычайно мне понравившийся, девочка наивно, с полной серьезностью подняла вверх платице и, показав на свой животик, ответила: “Вот здесь».

Мы были захвачены ее детским лепетом.

... Оказывается, не зря говорится, что все ремесла на свете или родные братья, или двоюродные. На первый взгляд, казалось бы, какая связь может быть между историей родного отечества и электросваркой. А оказалось же, что есть и самая что ни есть прямая. Страстное влечение построить мост через реку Атрек, разделявшую эту землю на два разных мира, у меня возникло после прослушивания захватывающих рассказов учителя истории.

Преподававший нам историю учитель Елмек Шакиров был коренастым невысоким человеком со светлыми волосами с проседью. И что самое странное, в обычное кроме уроков время он говорил очень мало, медленно и с расстановкой, с какой-то ответственностью за каждое произнесенное слово.

Рассказывали, что когда-то его отец прибыл в наше село, чтобы организовать школу и учительствовать здесь. Еще дед мой ходил в открытый им ликбез и учился грамоте. Вот и все, что мне было известно о Елмек-мугаллыме, как прозывался в селе наш любимый учитель истории. Мы никогда не уставали и не шалили на его уроках. Никто не зевал в ожи-

дании, когда прозвенит звонок на перемену, как это бывало на уроках некоторых других учителей. Когда Елмек – мугал-лым входил в класс и приступал к уроку, то спустя минут десять – двенадцать мы успевали позабыть, где находимся, и воображали себя в самом центре исторических событий, являющихся предметом данного урока.

Когда он рассказывал о разгроме армии Наполеона под Москвой, то нашим глазам он виделся не учителем истории, а самым фельдмаршалом Кутузовым. А в другой раз уподоблялся самоотверженным декабристам на Сенатской площади.

Теперь я порою возводимый в своих мечтах мост называю и мостом Дружбы. Я ни капельки не сомневаюсь, что этот мост рано или поздно, но будет построен, а сам там буду при этом работать сварщиком. Очень даже возможно, что мои соотечественники, построившие уже тысячи мостов дружбы, в самом скором времени приступят к строительству и этого моста.

Поезд прибыл в Ашхабад рано утром, когда толком еще и не рассвело. Посадив на такси и проводив в путь нашу спутницу – пожилую женщину с внучкой, мы сами не стали спешить добираться до места. Побродили по улицам, дожидаясь, пока хорошенько рассветет и город проснется. Нам, сельским жителям, было в диковинку наблюдать, как суматошно просыпается город.

Немного покружив по улицам, мы вошли в широко рас-

пахнутые ворота парка культуры и отдыха. Теперь уличный шум машин просачивался и застревал в густой листве и слышался здесь приглушенно. Белевшие повсюду среди опавших на землю листьев брошенные где попало бумажные стаканчики из-под мороженого сообщали о том, что прошлым вечером здесь был большой наплыв публики.

Некоторое время мы посидели на скамейке, наблюдая затем как то и дело срывались с веток и, покружившись замысловато в воздухе, наконец, приземлялись пожелтевшие осенью листья. Это тоже было своего рода чудом. Они были похожи на голубей, которые взлетели в воздух и парят там в свое удовольствие.

Когда рассвело окончательно и наступило утро, в воротах, через которые вошли и мы, появился человек с длинной метлой и принялся с одного края подметать запыленные опавшие листья, лежащие на дорожках парка.

Восхода солнца после этого уже не пришлось долго ожидать. Солнечные лучи прежде всего упали на окна высоких домов и, отливая красным цветом, ослепительно сверкали. Наконец, все обрело свои обычные очертания.

Мы с Гульнаррой опять пустились в путь. Возможно, из-за того, что наезды из села были часты, город не был мне в диковинку. Повсюду высокие многоэтажные дома. Среди них чувствуешь себя будто идущим по горному ущелью.

До обоняния доносится запах размягшего асфальта и жарящегося там шашлыка.

Училище, в которое мы приехали сдавать документы для поступления, мы разыскали в тот день после обеда. В комнате, где принимали документы, сидел облысевший человек и, обливаясь потом, пил чай. Увидев нас, он водрузил на нос лежавшие перед ним очки с толстыми стеклами и потом уже заново уставился на нас.

– Вам кто нужен, молодежь?

– Мы приехали, чтобы поступить учиться в ваше училище, – ответил я, поглядывая на Гульнару.

– Ну-ка, сначала сдайте документы, а как там будет с учебой, будет видно, – отвечивал очкастый человек, поправляя меня. Я вынул свои документы и придвинул их к очкастому:

– Прошу внести меня в список учета монтажников!

– Вот как? Значит, сварщиком будешь?

– Да.

– Ну что ж, если так, то придется принять.

Человек в очках, перебирая и тщательно рассматривая взятые у меня документы, несколько раз повторил: “Вот как, вот как!».

Но когда Гульнара открыла свою сумку, то документов в ней не оказалось. Выяснилось, что документы остались в чемодане, сданном в камеру хранения на вокзале.

Мне расхотелось сдавать свои документы без Гульнары. Я протянул руку и, не говоря ни слова, сгреб свои бумаги обратно.

– Что? – удивленно посмотрел на меня очкарик.

– Я тоже принесу свои документы завтра вместе с Гульнаррой.

Человек в очках с недоумением пожал плечами. А потом закричал мне вслед:

– Эй, сварщик! У тебя там, кстати, нет фотографии. Когда придешь завтра, то помни, что фотокарточку должен принести, слышишь?!..

Мы отправились по адресу, данному нам Таганом ага. Когда при виде нас хозяин дома, куда мы явились, воскликнул: «Опять обычные ласточки!» – то смысл восклицания я понял только через пару дней.

Хозяин был пузатым толстяком и, подшучивая над самим собой, рассказал, что к соседу по левую руку от него ежегодно наезжают кучами абитуриенты из села, и сосед до самого окончания вступительных экзаменов ежедневно со всеми сорока своими гостями – абитуриентами становится на «молитву». После этого он сам же рассмеялся своей шутке от всей души.

Тогда я, понимая, что эти слова относятся и к моей персоне, тоже почувствовал себя не в себе.

До начала занятий в училище теперь от силы осталось дней десять-одиннадцать, и мы намеревались до этого срока, пока не получим общежитие, прожить в этом вот доме. К этому решению я пришел, посоветовавшись с Гульнаррой. Вот поэтому она не захотела пока покидать этот дом.

Если бы мы заблаговременно позаботились о получении общежития, то, возможно, избежали бы скандала. Когда день завершился и с наступлением ночи я заснул крепким, сладким сном, наш хозяин, оказывается, явился за полночь, с трудом переставляя ноги. Я проснулся от его стука в ворота, узнал голос и встал, чтобы ему открыть.

Едва лишь ввалившись во двор, он принялся сварливо чистить свою жену:

– Почему ты до сих пор не выпроводила вон отсюда всех этих охламонов?! – воскликнул он, делая вид, что нацеливается на меня пальцем, чтобы выстрелить. – Что, так они и будут тут у нас кантоваться? Или ты их всех усыновила и поселила у себя навсегда? И по этой причине дом мой делается прибежищем для всякого рода сельских выскочек?!

Я, не издав ни звука, оделся и подошел к Гульнаре, которая тоже проснулась на этот шум и теперь тоже сидела, готовая провалиться от смущения сквозь землю.

– Гульнара, иди в дом и вынеси сюда свой чемодан!

– Куда же мы пойдем среди ночи? – в нерешительности замялась Гульнара.

– Мне отец поручил и доверил тебя. И теперь тебе придется подчиняться мне. Будешь следовать за мной повсюду, куда бы я ни пошел.

С сознанием своей правоты я еще раз повторил эти слова. Тогда Гульнара уже больше не возражала, молча уложила свои вещи и пошла за мной.

За исключением редко проезжающих машин, на городских улицах было совершенно пустынно. Иногда можно увидеть бродячую собаку. Зато за высоченными заборами псы лаяли свирепо и громко, что называется, от души.

Чтобы отвлечься и позабыть о происшедшем, я принялся тихонько напевать первую же вспомнившуюся мне песню об Ашхабаде:

*Зеница ока моих черных глаз,
Накинул на плечи золото холмов,
Ашхабад, радость души моей,
Отрада края моего родного!*

Прошагав почти час, мы достигли холмов на южной окраине города. С пологих холмов сеяло довольно свежим ветерком. На них привольно и тихо. За телевизионной вышкой разноцветными-зелеными и красными огнями переливался лежащий внизу город.

Поскольку мне самому сделалось холодно, я открыл свой чемодан и, достав из него несколько слежавшийся пиджак, набросил его на плечи Гульнаре.

– Не надо, не холодно ведь.

– Здесь ветренно, пусть побудет на плечах!

Гульнара согласилась со мной. Я вновь пропустил в памяти то, что произошло два-три часа назад, и опять, уже в который раз, взвесил все обстоятельства, в которых мы сейчас находились.

Когда мы присели и я невольно залюбовался сверкавшим

в ночном небе месяцем, то внезапно поймал на себе взгляд Гульнары, украдкой разглядывавшей меня. Стараясь не выдать себя, я сделал вид, что этого не заметил.

Продолжил разглядывание месяца и неба, на котором с приближением утра становилось все меньше звезд. Когда же я встал с места и принялся прогуливаться, то увидел какую-то приближающуюся ко мне быстро тень. К этому времени уже стало светать и вокруг все делалось все более различимым. Когда увидел, из какого дома вышел человек, приближающийся ко мне, невольно подумал, что это, наверное, охранник при телевизшке. Порой с той стороны доносился лай собак. Так что кем бы он ни являлся, но сторожем приближающийся ко мне человек был непременно.

Поравнявшись со мной, он, не останавливаясь, спросил: – Поссорились что ли? Я только улыбнулся. – Не относись всерьез, девчоночье кокетство это! – Не понимая ничего, я только пожал плечами.

Откуда мне пришла в голову эта мысль, я не давал себе отчета, но назавтра, после проведенной на лоне природы ночи, я, таща за собой Гульнару, явился опять на милость канцеляриста в очках.

– Ну, сварщик, почему ты пришел теперь? Или опять решил получить документы обратно? Так обычно ведут себя соскучившиеся по родному дому ребята! – вот так он дал понять, что узнал и помнит нас.

– Нет, не нужно документов. Помогите нам с местом в об-

щежитии.

– В общежитии?

– Да, нам нужно место в общежитии.

– О-го-го, у меня, думаете, есть в распоряжении лишние места? Поищите по гостиницам.

– Там ответ один.

– Мест нет?

– Точно так.

– Тогда считай, что тебе пришлось выслушать его еще раз, сварщик. Я тоже ничем не могу вам помочь.

Некоторое время мы все трое постояли в позах игроков проигравшей команды. Посмотрев на выражение наших лиц, очкастый, видимо, пожалел нас. Он принялся названивать куда-то по телефону. Разъяснил невидимому собеседнику, что мы собираемся поступить в училище и, прибыв издалека, не имея здесь знакомых, уже три-четыре дня слоняемся по городу и ночуем, где попало. То и дело он приговаривал:

– Уж вы там постарайтесь, пожалуйста? Им и голову преклонить не у кого. – Видно по всему, он старался нам помочь.

Переговорив же и положив трубку на рычаг, он посмотрел на меня сквозь толстые стекла своих очков и улыбнулся:

– Ну, и повезло же тебе, сварщик лихой! Директор-то дал согласие.

– На что согласие?

– Возьми свою спутницу, и как только выйдете отсюда и свернете увидите трехэтажное здание. Там при входе вас

встретит женщина. Подойдите к ней и скажите, что вы – те самые, о которых звонил директор. А он успеет позвонить до того, как вы подойдете.

Исполнилось самое заветное желание наше с Гульнаррой. Приютившая нас старенькая женщина разместила нас в разных комнатах и словно малых детишек подробно наставляла быть умными, содержать помещение в чистоте.

Бродяжничество вконец измотало, я еле-еле волочил ноги. Ночь я проспал, не шелохнувшись. Когда назавтра Гульнара пришла и разбудила меня, солнце, в эти дни наполнявшее город своим горячим жаром, уже стояло высоко в небе.

Видно, снаружи не было ни ветерка, видневшиеся в окна деревья стояли неподвижно, словно вырубленные из сизого камня. И если не считать голоса кому-то что-то громко втолковывающей вчерашней старушки, то вокруг стояла глубокая тишина.

Вечерами же в этих пустых комнатах была томительная скука.

Взглянув на лицо Гульнары, я понял, что она хорошо отдохнула. Лицо ее, по сравнению со вчерашним днем, прояснилось, глаза были ясные и лучились.

– Как у вас в селе называют человека, который спит по 10-15 часов? – спросила Гульнара, подражая мне самому.

– Во-первых, наша договоренность говорить друг другу «ты» находится в силе. Во-вторых, в нашем селе таких парней, как я, расталкивают своими нежными ручками их моло-

дые жены и поглаживая по волосам, приговаривают: «Пора и тебе вставать!». А старухи на своих стариков ворчат: «Да вставай же, нелегкая тебя возьми! Не валяйся, когда все уже встали. Вон вода твоя, подогретая для омовения».

Очень мне хотелось так сказать. Но, подумав, что могу ненароком смутить Гульнару своим ответом, сказал другое:

– Да. Разве ты не хочешь чего-нибудь поесть?

– Да сколько угодно. Иду!

Увидев в миске жареную колбасу, я понял, что Гульнара наладила контакт с нашей хозяйкой. Мы поели и вышли прогуляться в город. День делался всё жарче. Люди, скопившись у киосков с газированной водой на протяжении всего нашего пути, пили воду. По широким улицам с урчанием мимо нас проносились троллейбусы с душными салонами. То там, то здесь можно было увидеть легковые автомобили, притулившиеся в тени даже небольших деревьев. В магазинах стояла невыразимая духота. Мы в них едва лишь заглядывали. Гульнара было приглядела костюмчик для младшего брата, но видно, по той же самой причине, сославшись, что, возможно, в другом магазине есть еще получше, отложила покупку на другой раз.

У мокрой от пота продавщицы на краю тротуара мы взяли два стаканчика мороженого и отошли в тень деревьев, чтобы перевести дух.

– Ой, какая жара, спасения прямо нет! – призналась Гульнара после того, как мы посидели некоторое время.

– Так нам, туркменам, досталось при распределении.

– И это так в тени. Так каково же сейчас тем, кто трудится в поле? Мне сейчас кажется, что в Ашхабаде даже жарче, чем в селе.

– Не знаю, как в вашем селе, а в нашем селе уже давно решена проблема избавления от жары, – опять принялся шутить я.

– Ну, и как она решена?

– Забираешься в арык и сидишь, высунув из воды только голову. Пищу приготавливают по прохладе и ставят наготове на берегу, а потом, по мере надобности, протягивают из воды руку и едят себе. Сплошное удовольствие.

– Тогда и наши переймут опыт вашего села.

– Лучше перебирайтесь к нам сами, и все!

Гульнара посмотрела на меня, будто говоря: “Вот куда подвел!», – однако не стала ни возражать, ни соглашаться. Я же не стал извиняться и брать свои слова обратно. Возможно, что я рано или поздно должен буду так сказать Гульнаре. Так пусть я немного опередил события. Когда мы побывали в музее изобразительных искусств и вышли из него, то Гульнара пошла немного впереди меня, кажется, она на что-то обиделась. Но виду не показывает. Гуляет и разглядывает все вокруг.

– Хорошая девушка, – думал я, идя за ней следом. – Не задается и не фамильярничает, года через три-четыре станет прелестной невестой. – Я по-своему представил себе, как она

тогда будет выглядеть.

Тут, не знаю отчего, но захотелось мне рассказать Гульнаре легенду о возникновении Ашхабада. Как давным-давно в каком-то дальнем селении жили влюбленные, как им пришлось бежать для того, чтобы соединить свои судьбы. Как они воздвигли в этих местах лачужку, от которой со временем взял свое начало столичный город Ашхабад. Я, может быть, и исполнил бы это свое намерение, но меня остановила мысль, что Гульнара, возможно, давно уже эту легенду слышала. Когда же мы уже вернулись обратно, Гульнара, повернувшись назад, спросила меня:

– Эсен, а примерно в каком месте от Сапар-егенов вы живете? – Только сейчас я понял, что и Гульнара все это время думала обо мне.

Сегодня к нам неожиданно нагрянула в гости тетенька вахтерша. Мы с Гульнаррой отложили книги, по которым занимались, и оба очень обрадовались новому обществу. Что ни говори, а приятно, когда тобой интересуются и специально являются, запросто, по-свойски. Признаться по-честному, первое впечатление от этой женщины у меня было не очень приятным. Оказалось, что я заблуждался, она оказалась общительным, приветливым человеком, общение с которым было приятным.

Быстренько взял зеленый эмалированный чайник, протянутый мне Гульнаррой, и побежал ставить чай. Гульнара привела в порядок стол, убрав наваленные на нем книги и кон-

спекты. Втроем мы сели пить чай.

Вахтерша рассказала нам, что директор училища, куда мы собираемся поступать, очень хороший человек, фронтовик, и что в тот день он и в самом деле лично звонил, чтобы нас разместили здесь.

– А скоро съедутся и остальные ребятки. Вот тогда жизнь начнется, не заметишь, как день пролетает. – Из этих слов старой вахтерши я понял, что она помнит о находящихся на каникулах учениках и скучает по ним. За разговором время летело быстро. Лишь к вечеру, перед сном, мы расстались. Вернувшись в свою комнату, я остался наедине с тишиной. Возможно, оттого, что вчера я слишком много думал о будущем мосте, который собирался строить, но отчего-то ночью мне этот мост приснился. Похожий на сказочную птицу Сумруг он точно своими широко разведенными огромными крыльями соединял два мира.

А то вдруг он начинал принимать обличье моста через Волгу, что возле города Саратова. Этот мост я видел тогда, когда ездил с отцом в Москву. Мост же, который снился мне сейчас, отличался тем, что он недостроен. На каркасе моста щетинящимися лесами сверкали звездочки электросварки. Эти звездочки белыми искрами сыпались на поверхность многоводной реки.

Когда же проснулся, то понял, что нахожусь не на мосту, а в комнате, на третьем этаже общежития.

Начало светать. Беспокойные воробьи суетились, а это

верный признак скорого приближения утра. Один из воров был перепачкан более остальных, видно, побывал в какой-нибудь трубе. Издалека он был похож на оживший темный камешек, скачущий вприпрыжку и чирикающий.

Я умылся, привел себя в порядок и принялся за продолжение чтения купленной книги.

Книга была о воинах сегодняшних. Один из ее героев был туркменский парень. События же происходили вдалеке от Туркменистана на берегах реки Неман. Хотя герой книги находился в далеких краях, однако его сердце оставалось на нашей родине, которую мы считаем такой знойной и суровой. Он тосковал по родному селу, расположенному между отлогих холмов, и скучал по чумазым младшим братьям и сестренкам. Девушки, с песнями проходившие мимо него, когда он стоял на посту, напоминали ему девушек родного села в цветастых шелковых платьях, возвращающихся вечером с поля. Когда солнце поднялось довольно высоко, я вслед за героем книги из далеких краев приехал в Каракумы свидеться с родиной. Читая момент, когда парень, пролетая на самолете, чувствует глубокое волнение, завидев из иллюминатора переливающиеся желто-коричневые пески пустыни, я уверился в переживания героя. Однако, захотелось поспорить с автором.

Весь народ из-за этой несусветной жары старается летом убежать отсюда куда-нибудь на Кавказ или в Россию, а солдат влюблен без памяти даже в наш зной и радуется этой встре-

че, будто завидев родную мать.

Автор завершил рассказ о своем герое в то время, когда он находился в самолете. А если бы он вздумал еще немного проследить за своим героем, то, возможно, что тот, едва лишь самолет приземлится в Красноводске, подобно русскому путешественнику Афанасию Никитину, воскликнул бы: «О, моя родная земля!». И кинулся бы на белый песок, и поцеловал бы его.

Вернувшись из магазина, я увидел сидевшего возле Гульнары человека и не поверил своим глазам – ее отец, Таган ага. Увидев меня, он со словами: – «Вот он и пришел!» – протянул мне обе руки для рукопожатия.

– Все ли благополучно в селе, Таган ага?

– Все хорошо. Перед отъездом и отца твоего в конторе колхоза видел, зашел, оказывается, по какому-то делу. Поздоровались, поговорили. Он сказал, что и у брата твоего все в порядке.

– Что в такой путь далекий выбрались? Или дело какое в Ашхабаде возникло? – спросил я о причине внезапного приезда Таган ага сюда.

– Да ничего. В общем, все в порядке.

С этими словами Таган ага придвинул ко мне лежавшее перед Гульнарой прочитанное письмо и пояснил причину:

– Когда мы получили вот такое письмо, мать ее едва не свихнулась от беспокойства. Сколько ни пытался увещевать ее, объясняя, что с дочкой рядом находится парень из наше-

го села. Но встревожились мы все не на шутку. Вот я и решил приехать. Все, думаю, увидаю и, пользуясь поводом, заодно в Ашхабаде прогуляюсь.

Я взял придвинутое ко мне письмо и пробежал его глазами.

“Привет вам всем! Тагану и всей его семье желаем всякого благополучия. Все ли живы и здоровы, как там ваши детишки?”

Таган джан, брат мой, уж ты меня прости, опозорились мы перед тобой, уж не знаю как. На днях приехала к нам дочь твоя Гульнара с каким-то парнем. Сначала все было хорошо, даже и пожили у нас хорошо дня два-три. Но вот однажды мой муж, ваш зять, явился домой пьяный и испортил все дело. Явившись глубокой ночью, принялся на меня рыкать. Проснулись и дети, и все, кто был вокруг. Ну, что ты на это скажешь? Это же не ребенок, чтобы влечь ему пару оплеух да и погнать спать. Как только отведают зелья поганого, так сразу уподобляется взбесившемуся верблюду и бушует, став неуправляемым.

В тот раз его угораздило начать: “Когда уберутся восво-яси эти твои гости?!». Видно, это задело и Гульнару, и ее спутника, парня, с которым она приехала. Несмотря на то, что я настаивала: “Не уходите среди ночи!», этот парень был решителен и ушел, уведя за собой и вашу Гульнару. Назавтра, сколько бы мы их не ожидали, они с тех пор больше не появлялись. Они, наверное, уже вернулись к вам и обо всем

подробно рассказали. Уж вы меня простите. Я даже уже не знаю, как вам буду в глаза смотреть. До свидания. Гозель»

После прочтения этого письма мне стало ясно, почему приехал Таган ага.

– Как вы нас разыскали? – спросил я у Таган ага, таким образом выяснив второй интересующий меня вопрос.

– Только что, стоило мне прийти туда, где принимаются документы, мне сказали, что ваши документы сданы. Там еще такой человек в очках сидит. Но почему-то пока тоже не прочёл это письмо, все никак не хотел говорить, что вы находитесь здесь. Со странностями, видать, он.

В тот же день к вечеру Таган ага, успокоившись, что по-видал нас, засобиравшись в обратный путь. И, несмотря на его отнекивания и слова, что он и сам уедет, мы с Гульнарой все же пришли на вокзал проводить его и пробыли там до отправления поезда. На прощанье Таган ага сказал нам:

– Помогайте друг другу, будьте во всем единомышленны. Поезд уехал, мы вернулись в общежитие.

В этом году приход осени стал для меня необычным. И для Гульнары, и для меня началась новая, незнакомая жизнь вдали от родного села. Мы влились в ряды мальчишек и девчонок, приехавших постигать тайны профессии.

Перевод Т.Курдицкой. 1985 г.

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Каждый раз, когда мужа подолгу не было дома, Айбелек старалась занять себя домашней работой. Вот и сегодня, уложив детей спать, она пошла в соседнюю комнату и принялась гладить белье, приводить в порядок одежду школьников, платье малышей. Каждая вещь рассказывала ей о характере и привычках её маленького хозяина.

Переглядыв вещи детей, она вспомнила о выстиранных брюках мужа, лежащих в шкафу. “По приезду понадобятся на работу», – подумала она и вновь включила утюг.

Айбелек получала удовольствие от того, что служила мужу и детям. Домашние дела были для нее не в тягость. Даже когда муж бывал дома и предлагал: “Давай поможем!?”», – она все равно все делала сама, кроме тех случаев, когда работы было сверх головы.

Закончив глажку, Айбелек прилегла возле четырехлетнего сынишки. Глядя на хорошенького спящего ребянка, вдыхая сладкий запах его тельца, она не удержалась и поцеловала его в щеку. Ребенок зашевелился, недовольно потер место поцелуя.

Айбелек никак не могла уснуть. Каждый раз накануне приезда Акмурада она несколько дней не могла толком выспаться. Муж должен был вернуться сегодня ночью или завтра. Чем больше сгущалась ночь, тем неуютнее становилось

на душе. Она еще некоторое время лежала в задумчивости, вспоминала о счастливых днях, проведенных с Акмурадом, представила его перед собой. Мысленно она увидела его выходящим из самолета с перекинутым через руку плащом и с дипломатом, проследила весь его путь из аэропорта до дверей дома...

– Ох, не тороплюсь ли я? – застеснялась она своих мыслей, – будто молодая... Хорошо, что сердце запрятано так глубоко и никто его не видит, иначе такие, как я, просто опозорились бы...

Когда она была еще девченкой, то часто замечала, как соседские гелнедже, приготовив ужин и заварив чай, брали на руки своих малышей и выходили на дорогу, приговаривая: «А вон папа наш идет! Где там наш папа?», всматривались в появляющиеся вдалеке силуэты. Тогда она удивлялась этому нетерпению, а теперь сама еле сдерживала тревогу сердца.

Ей послышался легкий стук в дверь и чьи-то шаги. Айбелек, затаив дыхание, прислушалась. Но ничего кроме учащенного стука своего сердца не услышала. И по окну никто не побарабанил, легкими ударами пальцев выбивая знакомый сигнал. Просто на улице начался ветер. Приподнявшись на локте, Айбелек увидела, как от ветра шевелятся ветки растущего под окном абрикоса и поняла, что никого, кроме ветра, во дворе нет.

Ждать и встречать для Айбелек не было новостью. Года не прошло как они поженились, а Акмурада забрали в армию.

Долгих три года она жила со свекровью, свекром, деверями и золовками в ожидании мужа. В одном из своих писем, преодолевая стыдливость, она робко спросила: «Некоторые ребята приезжают в отпуск, а ты когда приедешь?». На это Акмурад ответил: «Я, Айбелек, не могу, как другие, нести службу наполовину и поэтому разъезжать не буду. Как начал службу, так уж до конца и отбуду. Некогда прохлаждаться».

Уже потом, после его возвращения, Айбелек узнала, что это письмо муж написал из госпиталя, куда попал со сломанной ногой после неудачного прыжка с парашютом.

Но и после демобилизации Акмурад в ауле не задержался. Он сказал: «Мои работы прошли конкурс...» – и уехал учиться дальше. Так Айбелек еще пять лет провела в разлуке с ним, обнимая подрастающих малышей. Акмурад возвратился домой подающим надежды художником, и она втайне очень гордилась им. Она никогда ни с кем не откровенничала. Ей казалось, если она раскроет сердце, кто-нибудь сглазит ее счастье, поэтому свои мысли она хранила при себе и радостью своей ни с кем не делилась.

Подумав, что если Акмурад все же приедет этой ночью, то, наверняка, захочет есть, она осторожно вытащила руку из-под головки сынишки, встала и пошла на кухню. Вскипятила чайник, заглянула в холодильник. Там на тарелке лежала копченая рыба. «Не убрать ли ее подальше?» – подумала она, – он же сразу за нее ухватится, потом весь будет пахнуть». Она хотела задвинуть тарелку подальше, но потом пе-

редумала: «Он так любит рыбу, все-таки долго не был дома, пусть стоит...».

Айбелек заварила чай, рядом поставила вверх доньшком две яркие цветастые пиалы, решив составить Акмураду компанию. Посидев немного, прошла в его домашнюю мастерскую. Так все было так, как оставил муж перед отъездом. Акмурад не любил, когда в его мастерской наводили порядок, что-то трогали или переставляли с места на место. Это хорошо усвоили и Айбелек, и дети. Это было святое для нее место. Здесь он сидел наедине со своими мыслями, здесь он был откровенен с собой, и многие его мысли и поступки становились Айбелек понятнее, когда она смотрела на еще неоконченные работы мужа.

Хотя Айбелек много раз видела картины, над которыми он работал, тем не менее она вновь села на рабочий стул Акмурада и огляделась вокруг. Прямо напротив нее стояло большое неоконченное полотно – весело разговаривающие женщины. Каждая из них была ей хорошо знакома. А женщина в центре, обнимая мальчика, обхватившего ее за шею, была она сама. На этой картине она выглядела намного моложе, чем сейчас, и ее седеющие волосы были совершенно черными. «Наверное, он видит меня такой», – думала она и радовалась, что в глазах мужа по-прежнему остается молодой и красивой, как во время первых лет совместной жизни.

Женщины сидели в тени старого большого дерева. Этот тутовник Айбелек увидела на другое утро после свадьбы.

Ветки дерева затеняли окно комнаты, где они остались наедине с Акмурадом.

– Его посадил брат моего отца, дядя Аганазар, перед самой войной. Он взял его у своего приятеля-командира пограничной заставы и вот так, на ладонях, принес его сюда, – сказал муж и показал Айбелек свои ладони. Тогда само собой стало ясно, что это особый тутовник, что в этом доме им дорожат как памятью о погибшем солдате.

Когда Айбелек снова легла в постель, было уже далеко за полночь. Малыш, посапывая, недовольно морщил лоб, словно ссорился с кем-то невидимым. Ей снова захотелось чмокнуть его, но зная, что он недовольно поежится, она лишь погладила его по головке и укрыла легким одеялом. Подумав сквозь дрему, что если не сегодня, то завтра, в крайнем случае послезавтра Акмурад обязательно появится, она успокоилась, все еще прислушиваясь к шорохам, и через некоторое время заснула.

Ночь давно наблюдала за Айбелек. В какую бы комнату та ни входила, ночь тихонько заглядывала в окно, подглядывая за женщиной, которая с нежностью рассматривала и поглаживала вещи детей и мужа, тревожилась в разлуке с любимым, с нетерпением ждала его. Ей это нравилось, так же, как всегда нравилось все доброе. Когда потухли все огни, ночь осталась возле дома, охраняя тайну сердца, доверенную только ей одной.

Перевод Ромэллы Мартиросовой

РАСПЛАТА

Когда я учился во втором или в третьем классе, младшая сестра моего отца Говхер заканчивала десятилетку и была уже совершеннолетней девушкой. Ежедневно, собираясь в школу, она прихорашивалась перед зеркалом с особой тщательностью. Надевала красивое платье с праздничной вышивкой и повязывала на голову яркий цветастый платок, привезенный отцом из Ашхабада.

Прикрепив на грудь брошь и старательно заплетя две косы, она становилась настоящей красавицей – глаз не оторвешь. Впоследствии я понял, что девушки так наряжаются для того, чтобы покрасоваться перед парнями и показать им, что уже готовы к замужеству.

Мы учились в одну смену, и я часто ходил в школу вместе с Говхер. Однажды нас догнал ее одноклассник Сахат, который ездил в нашу школу на велосипеде из соседнего села. Поравнявшись с нами, он притормозил и смущенно сказал:

– Говхер, ты вчера забыла в школе эту тетрадь. – Голос парня почему-то дрожал.

Говхер сначала покраснела, потом побледнела, оглянулась по сторонам и растерянно взяла протянутую тетрадку. Сахат же покатил на своем велосипеде в сторону школы. Теперь-то я знаю, что уже тогда между ними завязались особенные отношения. Но в то время я был еще совсем мальчишкой, ни-

чего не понимал и не догадывался, что в тетради находится любовное послание, которое Сахат писал всю ночь. К тому же в те годы парни и девушки свои отношения до свадьбы держали в строгом секрете.

А вскоре после этого я увидел Говхер и Сахата стоящими рядышком в саду неподалеку от нашего дома. Тогда мне стало ясно, почему этот парень ездит в школу именно мимо нашего дома.

Мне почему-то не нравилось, что какой-то посторонний парень встречается с Говхер и о чем-то с ней секретничает. Видимо, это была детская ревность. Несмотря на юный возраст, я чувствовал себя униженным и оскорбленным.

Я решил отомстить Сахату. На следующий день, когда все разошлись по классам после первой перемены, я незаметно пробрался туда, где ребята обычно оставляли велосипеды, и спустил весь воздух из камер велосипеда Сахата.

После уроков я со злорадством наблюдал, как ненавистный соперник, пыхтя и задыхаясь, накачивает камеры.

Когда это повторилось в третий раз, проходя мимо Сахата, возившегося с насосом, я посмотрел в его сторону, он укоризненно улыбнулся, как бы говоря: «Ну и хулиган же ты!». Мне стало ясно, что он все понял, и я решил, что нужно мстить по-другому.

Пришло лето. Говхер, как все другие, работала на прополке хлопчатника. Каждый день, забравшись на своего ишака, я ездил на поле и собирал траву, которую Говхер оставляла

на грядках – нужно было кормить корову.

В один из таких вояжей я заметил в укромном месте под мостом знакомый велосипед. Опять этот Сахат! Значит он где-то неподалеку встречается с Говхер! Моя утихшая ревность вновь вскипела в груди. Я слез с ишака, схватил велосипед и зашвырнул его в водоворот арыка. Веткой хвоста заметя следы “преступления», я со спокойной совестью отправился дальше.

Когда я подъехал к полю, где работала Говхер, мимо меня прошел Сахат, наряженный в белую рубашку, усиленно делая вид, что не замечает меня. Глядя ему вслед, я с удовольствием подумал: “Посмотрим, найдешь ли ты свой велосипед! Сейчас на нем катаются лягушки!». Мне стало весело, когда я представил, как он ищет его.

...Вскоре в наш дом зачастила пожилая женщина, постоянно намекавшая, что хочет стать нашей родственницей. А перед хлопкоуборочной мы выдали Говхер замуж. Ее нарядили в брачные одежды, посадили в машину, украшенную коврами и яркими тканями, и увезли. Как сейчас помню, как тухлое яйцо, запущенное моей рукой, разбилось о лоб одного человека, приехавшего за невестой, а камень, брошенный мною, попал в какую-то толстую женщину...

Как-то, когда я уже учился на третьем курсе университета, на одном из праздничных вечеров ко мне подошла незнакомая девушка и спросила:

– Вы не Мурад?

– Да, я Мурад.

– А вы меня не узнаете?

– Нет, – недоуменно развел я руками.

– А я вас сразу узнала. Мы с тетушкой Говхер часто бывали у вас дома. Я ее золовка.

Я вспомнил, что, когда Говхер после замужества приезжала домой, ее всегда сопровождала одна девушка. Это и была моя неожиданная собеседница.

С тех пор Дженнет (так звали девушку) стала усиленно внушать мне, что она является нашей родственницей. А вскоре сумела “убедить» меня в том, что она самая красивая и лучшая в мире.

Когда я подсказал ей, какие ключи подходят к сердцу моей матери, давно уже мечтавшей женить меня, Дженнет, прихватив свою соседку, направилась к нам домой.

Через две недели отец, собрав несколько женщин из числа родственниц, отправился свататься. По обычаю в этот же день обговаривался калым за девушку.

Когда прислали список вещей, я не удержался и заглянул в него. В одном из пунктов значился велосипед. Я не смог скрыть удивления.

– Мама, тогда надо было попросить их, чтобы внесли в список и настоящий танк.

– Сынок, когда составляли список, велосипед включил в него Сахат, ответила мать. – А когда мы спросили его, что это значит, сказал с улыбкой: “Если этот озорник спросит,

скажите, что велосипед внес в список я. Он поймет...».

Мне оставалось лишь с улыбкой вспомнить, как я утопил в арыке велосипед Сахата.

Перевод Натальи Семеновой

СЧАСТЬЕ ЕВЫ

Увидев Сону среди девушек, собирающих хлопок, я вначале ее не узнал. Она заметно осунулась, побледнела, словно перенесла тяжелую болезнь. Мне даже показалось, что она стала выше ростом и стройнее. Но лицо ее при этом оставалось удивительно красивым, глаза излучали добро. Чувствовалось, что она пережила трудные времена и теперь бесконечно рада, что все осталось позади. И эта радость переполняла все ее существо, еще больше подчеркивая необычайную внешнюю красоту.

Несколько месяцев назад Сона родила первенца, пройдя путем счастья Евы.

Когда Сона только стала невесткой в новом доме, она тоже немного похудела. Но и тогда, как и сейчас, оставалась красивой и счастливой.

И сегодняшнее ее счастье стало продолжением того счастья, которое она испытала, став молодой невесткой.

Внимательно взглядевшись в Сону, можно было заметить, что она любит своего мужа так же сильно и самоотверженно, как Ева – Адама. И эта любовь делает ее еще прекрасней.

Да-да, все женщины, которым выпало счастье Евы, такие красивые и замечательные!

Перевод Натальи Семеновы 1998 г.